

5-6 / 91

Даугава



# ДАУГАВА

(167-168)

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С 1977 ГОДА

РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОЕ  
ОБЩЕСТВО «ДАУГАВА»

## В НОМЕРЕ:

Проза и поэзия

ОярВАЦИЕТИС. Стихотворения ..... 3

Марк АЛДАНОВ. Бред.  
Романо шпионах. Окончание ..... 9

Георгий АДАМОВИЧ. Мои встречи с Алдановым .. 44

Эдуард АЙВАР. Ситуация. Стихи ..... 49

Мартиньш ЗИВЕРТ. Копенгагенский диалог.  
Пьеса ..... 51

Николай ГУДАНЕЦ. Небесный жернов. Стихи ..... 76

Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ. Год Федора Степановича.  
Роман-размышление ..... 81

Публицистика

Георгий ФЕДОТОВ. Судьба империй ..... 116

Михаил АГУРСКИЙ. Советы: дезинформация и  
подделки ..... 132

(См. на обороте)

5-6  
1991

**В номере (окончание):**

Обзоры, размышления, рецензии

**Вадим ЛИНЕЦКИЙ. Нужен ли мат  
русской прозе? .....** 142

Metologia

**Князь П. П. ЛИВЕН. ...И тени тех, кого уж нет.  
Заметки о прожитых днях .....** 149

**Л. Н. ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА.  
Человек, отрекшийся от трона .....** 178

Почта «Даугавы» ..... 148

---

**Рукописи не возвращаются и не рецензируются**

---

Главный редактор  
Владлен ДОЗОРЦЕВ

Редакционная коллегия:

Юрий АБЫЗОВ, Виктор АВОТИНЬШ, Людмила АЗА-  
РОВА, Астрида АЛЬКЕ, Улдис БЕРЗИНЬШ, Николай  
ГУДАНЕЦ, Юрис ДИМИТЕРС, Вика ДОРОШЕНКО,  
Вячеслав ИВАНОВ, Марина КОСТЕНЕЦКАЯ, Петр  
КРУПНИКОВ, Григорий НИКИФОРОВИЧ, Янис ПЕ-  
ТЕРС, Кнут СКУЕНИЕКС, Ян СТРАДИНЬ, Янис  
СТРЕЙЧ, Роман ТИМЕНЧИК, Леонид ЧЕРЕВИЧНИК  
(зав. отделом), Адольф ШАПИРО, Андрияс ЯКУБАН.

Редакция:

Михаил АФРЕМОВИЧ, зав. отд. писем, Леонид ГУРЕ-  
ВИЧ, редактор-стилист, Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ,  
зав. отд. прозы, Илан ПОЛОЦК, зав. отд. публицисти-  
ки, Борис ПОПОВ, и. о. отв. секретаря, Борис РАВ-  
ДИН, зав. отд. истории.



## СТИХОТВОРЕНИЯ

Перевел Сергей МОРЕЙНО

Ояр ВАЦИЕТИС (1933-1983) — латышский поэт; среди его литературных работ также проза, критические статьи, переводы. В настоящее время выходит Собрание сочинений О.Вациетиса в 10-ти томах. Стихи поэта переводились на английский, немецкий, польский, шведский, украинский, грузинский, литовский, якутский, эстонский и другие языки. Книги в переводе на русский язык: "Часы разной длины" (1977), "Письмена ветвей" (1979), "Избранное" (1979), "Фортепианный концерт" (1984), "Стихи" (1984), "Колодец детства" (1987) и др.

\*\*\*

Не входи ко мне в сердце  
даже на цыпочках —  
у меня там сегодня сыро  
оттого, что жасмин умер.

Смерть цветка  
бывает, как и смерть человека,  
нежданной,  
но обычно мы  
готовимся к ней

и лжем, что нет,  
и верим, что нет,  
и знаем, что — да.

И эта мольба не входить —  
такая же мгновенная смерть,  
когда лжешь, что нет,  
когда знаешь, что нет,  
но веришь, что — да.

\*\*\*

Чем дни становятся дольше,  
тем мы становимся дальше  
от бывших у нас  
ночей.

Случается,  
они еще нас навещают,  
как взрослые дети  
старых родителей.

Еще привязаны  
их игрушки  
к самому небу,  
но вряд ли  
мы ими станем играть.

Звездными именами  
мы теперь называем  
времена года  
и стороны света.

Но это —  
другие игры.

Минувшей ночью  
ко мне приходила  
чужая девушка.

Она смотрела  
прямо в глаза  
с особой доверчивостью  
и ожиданием.

И исчезла.  
И вздрагивала  
оконная занавеска,  
пока я не понял,  
что это след  
твоего дыхания.

\* \* \*

Отапливаемые центральным отоплением  
никогда не бывают согреты,  
как нужно, —

где только можно,  
когда только можно,  
они разводят костры,  
которые идут за ними,  
а они смотрят  
застывшими глазами  
в этот живой огонь,  
с ностальгией,  
с эмиграцией  
в этих застывших глазах.  
Господи, пожалей их. они так красивы.

В разжигании огня  
есть свои первоклассники,  
гимназисты,  
магистры,  
академики,  
мэтры и подмастерья,  
но нет несогревшихся.

Разводят огонь  
чем угодно  
и, в общем-то, всюду,  
он хорош для всего:  
можно варить еду,  
сушить одежду,  
сунуть руку  
и клясться.  
Это уж как когда.

\* \* \*

Как перелетные птицы  
туманной весной  
к руинам  
в несуществующую большую Елгаву  
все же вернулись,

так сегодня,  
вчера  
и завтра куда-то возвращаются  
люди.

Как перелетные птицы —  
с печальными песнями,  
звонкими  
или глухими,  
к руинам возвращаются  
люди.

Сегодня,  
вчера ли,  
завтра —  
стыдясь  
своей птичьей доверчивости,  
возвращаются  
люди.

Я тоже,  
бывает,  
курлычу, как перелетная птица,  
мой крик печален —  
кто знает,  
может, я возвращаюсь  
к руинам?

## ПИСЬМО ИЗ ПРОДЛЕННОСТИ

У меня на дереве  
горят четыре листка,  
и это не всё.

Еще есть время  
до еще одних заморозков,  
но это не долго.

Еще я горю  
четырьмя огнями сразу,  
и это много.

Еще при свете этих огней  
я каждый день наблюдаю тебя,  
и это всё.

После первых заморозков  
на голых ветвях  
останется единственный пламень белки,  
и это надолго.

\* \* \*

Я не знаю, где ты живешь,  
я не знаю, живешь ли ты.  
Такая жара,  
что медленно закипают сирени,  
оплывают свечи каштанов,  
и акация  
вызолотила тротуар.  
И сквозь угар отцветания  
я не улавливаю знака,  
что ты меня слышишь,  
что ощущаешь,  
как некто вглядывается в тебя столь  
пристально, что нужно вскакивать ночью,  
нужно вздрагивать днем  
и нужно бежать к горизонту  
пустому, за которым лишь марево  
и безымянный призыв  
дальше.

## СЕРОГО ЦВЕТА

Я превратился  
в одно-единственное серое око:  
                                  из серых луж  
                                  пьют серые голуби;  
                                  серый дождик  
                                  серые лужи  
                                  вгоняет в серую дрожь;

                  на горизонте  
                  из серых башен  
серая клякса...

Серый туман,  
клубясь, наползает,  
как пепел пожарища...



Я превратился  
в одну-единственную серую ноздрю:  
ворсинки шарфа  
меня щекочут —  
как в двигателях сожженный бензин;  
серые пятна  
на досках лесов —  
как будто плотник прошелся;  
запах гари —  
вчера в этом городе  
день загорался, скроенный наспех,  
и я в это  
серое утро  
вчерашний угар вдыхаю.

Он — старый солдат,  
проснувшийся от одной-единственной  
боли в костях,  
ноющих к перемене погоды  
в местах ранений,  
которые многих на той войне выжгли  
дотла, —  
он тоже чует запах горелого.

Он — мчась по ступенькам —  
еще выстраивает те формулы,  
что заставят шататься фундамент физики,  
скрепляя который  
сгорели многие, —  
и снова воняет гарью.

И по всей квартире,  
по всей улице,  
по всему городу  
паленого серый запах.

Я просыпаюсь  
в час предрассветных сомнений  
и по уши зарываюсь в серый и рыхлый пепел,  
по которому мы ежечасно  
и ежеминутно  
бредем к своим  
собственным радугам.

Мы каждое утро,  
порядком еще не проснувшись,  
влезаем в этот  
вчерашний  
густой серый пепел  
и, почти не задумываясь,  
трамбуем его,  
превращая в асфальт на сегодня.

\* \* \*

Ты прочитаешь меня синей лунной ночью  
и у сосны мне вымолишь прощенье,  
и, как туман, рассеется опасность,  
что между ледяных звенела лезвий,  
как выводок холодных злобных пчел.  
Тебя продует тем же самым ветром  
на бесконечно сером снежном поле,  
что и меня. Мы всюду будем вместе —  
ушедший в ночь останется в отставшем,  
и после нас сквозь васильковый пепел  
взойдет тоски горячей синева,  
в которой любят кувыряться черти,  
когда слепой комочек счастья вдруг  
пытается открыть глаза, как будто  
два василька кладет себе на лоб,  
и видит, что в высоком небе сотни  
отточенных мечей обращены к земле.



## БРЕД

### XXVIII

На следующий день они покинули Венецию. Рамон действительно приехал проводить их на вокзал. Привез Наташе огромную коробку конфет, был чрезвычайно любезен. Шелль весело с ним болтал. Предчувствия у него как рукой сняло еще ночью в гостинице, а особенно утром в их домике на Лидо.

— ...Главное, это здоровье! — сказал Рамон Наташе таким тоном, точно высказывал замечательную мысль. — У вас сегодня очень утомленный вид.

Этого Шелль Наташе не перевел.

До отхода поезда Рамон не остался: он торопился домой. Горячо благодарил Шелля, и было не совсем ясно, благодарит ли он его за праздник или за Эдду.

— Может быть, мы еще с вами увидимся в Берлине. Она сказала мне, что ей надо будет туда съездить, ликвидировать квартиру, взять вещи. Разумеется, я поеду с ней, — сказал он с некоторым замешательством, хотя и не скрывал своих отношений с Эддой. Шелль одобритительно кивал головой и просил кланяться.

— Какая прелестная женщина! — сказал он. — И какая бескорыстная! Представьте

---

Окончание. Начало в № 1-4.

себе, она хотела вернуть вам эту корону! Думала, что вы ее возьмете назад! Я едва ее уверил в том, что это был ваш подарок ей. Зная ваш характер гранпремьера, думаю, что я не ошибся?

— Разумеется! О чем тут говорить! Теперь понимаю, почему она меня за нее не поблагодарила... Вы пользуетесь у нее большой милостью! Она мне говорила, какой вы замечательный человек. ("Тото", — подумал Шелль, впрочем, не сомневавшийся, что и Эдда gentleman agreement выполнит.) — Я это знал и без нее. А каков был праздник?

— Выше всяких похвал. Я уверен, мировая печать будет трубить о Празднике Красоты еще целый месяц. Вы оказали обществу огромную услугу. И все было совершенно так, как у дождей. Но едва ли они могли тратить на праздники столько денег, сколько истратили вы. Секретарша сказала мне, что одного шампанского выпили четыре тысячи бутылок.

— Предположим, что выпили только половину, а остальное досталось секретариату и лакеям, — сказал весело Рамон. — Но это в порядке вещей. Богатый человек должен понимать, что надо при нем жить и бедным людям.

— Бедным, разумеется. Где же вы остановитесь в Берлине? Я хотел бы предложить вам гостеприимство в своем доме. У меня там есть собственный дом, — небрежно вставил Шелль, все же смутно надеясь что Рамон верит в его богатство, — но моя квартира в нем недостаточно велика.

— Что вы! Есть гостиницы. Мы, верно, туда отправимся недели через три-четыре. ("Тогда все в порядке. Наа уже давно там не будет", — подумал Шелль.) — Мы еще совершим небольшое путешествие. Я ей предлагал съездить в Париж, но она почему-то в Париж не хочет. Вероятно, полетим в Севилью. Наконец-то меня будут понимать без переводчика.

Как водится, он сказал, что останется на вокзале до отхода поезда; как водится, Шелль ответил, что это совершенно не нужно — зачем ему терять время, и так слишком мило с его стороны, что он приехал на вокзал. "Одной руки мало, протянем обе. Явно переходим из стадии добрых приятелей в стадию старых друзей. Если б он был русским, пришлось бы и расцеловаться", — подумал Шелль. Рамон поцеловал руку Наташе, которая, скрывая нетерпение, ждала его ухода, еще раз пожелал здоровья и ушел к своей гондоле.

— Он сто раз говорил мне, что очень занят. Мне всегда хотелось его спросить: "Верно, крестословницы решаете?" Но он, право, милый. И не такой obvious, как я прежде думал. Не удивлюсь, если он когда-нибудь покончит с собой.

— Не говори ерунды. Он очень милый, но слава Богу, что он, наконец, уехал! Хотя нехорошо так говорить.

— Это у тебя тоже такая манера: вставишь "нехорошо так говорить" — и говоришь.

— Вовсе нет, все ты выдумываешь, Эудженио... Скажи, как меня зовут?

— Ты не рехнулась ли?

— Меня зовут Наталья Ильинишна Шелль. Повтори!

— Наташка Шелль. Очень глупая Наташка Шелль, но необыкновенно милая. В мире, в этом all-hating world, порядочные люди едва ли составляют значительное большинство, однако есть люди, очень удачно прикидывающиеся порядочными. Некоторые этого даже не замечают, у других это входит в привычку, но ты...

Она смотрела на него, почти не слушая его слов, думая о чем-то своем. Потом расхохоталась.

— Вечный вздор! Я уже от тебя слышала эту цитату. Из какого она дурака?

— Из Шекспира... Так ты довольна, что ты Наташка Шелль?

— Не особенно, — сказала она. С нее тоже, непонятным образом, как рукой сняло печаль.

Поездка была необыкновенная. Собственно, это была их первая поездка вдвоем. Из Неаполя в Венецию они ехали днем, в отделении вагона были и другие люди. Теперь они были одни, никто не потревожит. Кондуктор почтительно попросил отдать ему билеты, чтобы больше их не беспокоить. Все в вагоне было кожаное, бархатное, лакированное, все было так ярко и уютно освещено. Роскошь показалась Наташе удивительной, но теперь не вызвала у нее угрызений совести. На полках были только новенькие, дорогие несессеры, — Шелль в Венеции подарил ей несессер, — остальное было сдано в багаж.

На границе чиновник вошел в купе, сказал: "Passe, meine Herrschaften", — в присутствии Шелля она не боялась и немцев. Они пообедали в вагоне-ресторане — Наташа в первый раз в жизни, — необыкновенная радость, хотя, по ее мнению, надо было жить бедно. Он, как всегда, много выпил и шутил очень весело: дразнил Наташу тем, что мог бы жениться на богатой и очень подумывает о разводе. Она опять залилась смехом.

— "Припадок беспричинного веселья"? — спросил Шелль. Он с неприятным чувством замечал, что эти припадки, так ему нравившиеся, стали происходить с ней гораздо реже со времени их женитьбы.

— Нет, не "беспричинного": причинного! — ответила она.

В купе они вперегонки ели конфеты, съели чуть не половину коробки. Наташа хвалила Рамона.

— ... Ты не думай, что я его не люблю. Во-первых, я всех люблю...

— То есть, никого.

— Тебя меньше всех! А во-вторых, он хороший человек, хоть с недостатками, как мы все.

— Его беда в том, что недостатки у него немного смешные и усиливаются от его огромного богатства. Но он в самом деле недурной человек. На тысячу людей он был бы в первой сотне... Или скорее во вто-

рой. Достоинства у него отчасти от того, что ему нечего для себя желать.

Он встал, взглянул на себя в зеркало и, как всегда, остался доволен. Наташа следила за ним с ласковым любопытством. "Хорош, хорош!" — сказала она насмешливо; прежде так этого не сказала бы. Он усмехнулся и достал из несессера книгу Тургенева. "Мосье надоело со мной разговаривать", — благодушно подумала она. Открыла книгу, но не читала. Они больше почти и не разговаривали, только сидели рядом, изредка брали друг друга за руку, хотя оба были в перчатках, — Наташа уже не в прежних *suedé*. С внезапным, страшным — точно случилось несчастье — шумом, с адской быстротой, еле успев сверкнуть огнями, пронесился встречный поезд, Наташа испуганно вскрикивала. Шелль, смеясь, целовал ее. Подобного ощущения полного счастья она не испытывала с вечера тарантеллы на Капри.

Остановились они в берлинской квартире Шелля. Мебель очень понравилась Наташе. Кабинет и спальная напоминали ей комнаты в фильмах, в которых изображалась жизнь передовых людей с непонятно откуда взявшимися большими средствами.

— Это немецкое *sophisticated*, то есть нечто еще худшее, чем *sophisticated* просто. Не могу понять, зачем я купил такую. Верно я тогда "всякую моду подражал", как говорит у Островского купец.

— А мне, напротив, ужасно нравится! — возразила Наташа и высказывала соображения о том, как можно будет расставить эту мебель на Лидо, в их домике (никогда не говорила "вилла").

— Спальная здесь только одна, — сказала она нерешительно и покраснела. — Кровать широкая, но, если хочешь, я буду спать в кабинете, на диване, он очень удобный...

— Какой вздор!.. Знаешь, ты еще похорошела. Ты теперь похожа на даму бубен.

Его виолончель привела ее в восторг. Она умоляла его поиграть, он отказался, и лицо его дернулось.

— Больше играть не буду, закаялся.

— Отчего "закаялся"?

— Так. Надо будет ее продать. Я когда-то заплатил за нее большие деньги. Говорят, она принадлежала самому Ромбергу.

— Верно, ты после выигрыша купил? — спросила Наташа. Она имени Ромберга не знала. И чтобы не притворяться, будто знает, тотчас спросила: — Кто это Ромберг? Какой-нибудь знаменитый виолончелист?

— Да, после выигрыша купил, — сказал Шелль неохотно. Он купил виолончель после одного из самых тяжелых своих дел.

— И сколько у тебя нот! "Streghe" Паганини... Ведь он был скрипач, а не виолончелист.

— Был гениальный скрипач, но скрипку терпеть не мог. Предпочи-

тал ей гитару! Он и на виолончели играл. Станный и страшный был человек, авантюрист и, говорят, убийца.

— Ты за всем следишь, все знаешь!

— Все, что происходило и происходит в мире, и даже гораздо больше.

— А это что? Ноты написаны твоей рукой! "Presto"... "Animato"... — прочла Наташа. — Неужели ты пишешь музыку! И никогда, ни разу мне не говорил!

— Да нет, я ее переписал. Это "Тарантелла" Шопена.

— "Тарантелла"!

— Не та, которая была на Капри. Ритм, конечно, тот же, но это другая. Та, верно, была местного производства. Есть, кажется, три известные тарантеллы: Шопена, Мендельсона и Чайковского. Все три очень хороши. Я переписал для виолончели шопеновскую, которую Шуман называл безумной.

— Даже ее не сыграешь для меня?

— Ни за что!

— Как хочешь. Ужасно жаль, — сказала Наташа, удивленная его словами и изменившимся выражением его лица.

Он скоро отлучился, надо было зайти на почту, достать через агентство уборщицу, Aufwartefrau. Наташа возражала:

— Я все отлично могу делать сама, всего две комнаты, часа на два работы в день.

Оставшись одна, она опять все осмотрела уже гораздо внимательнее, хозяйским глазом. "Странно, что на стенах нет ни одной фотографии. Неужели у него нет близких людей?.. Какая огромная ванная! — Попробовала воду из горячего крана, через полминуты пошел кипяток. — Как хорошо! Сейчас и выкупаюсь". В большом стенном шкафчике была аптека. Там оказались десятки бутылочек, пузырьков, коробочек. "Это у моего геркулеса-то! У меня ничего, кроме аспирина, нет". К удивлению Наташи, в аптеке было пять или шесть снотворных.

Нашла она и несколько колод карт. Разыскала даму бубен.

Они посещали театры и кинематографы, обедали в лучших ресторанах; Шелль сыпал деньгами еще больше, чем прежде. Он был в хорошем настроении духа. Берлин возбуждал в нем тягостные воспоминания, но это было прошлое, — больше никаких полковников. Все же он, без особой необходимости, побывал в восточной части города. Настроение там показалось ему не совсем таким, какое было прежде. "Еще, пожалуй, готовятся "события". Тогда надо ускорить отъезд. Ненавижу "события" больше всего на свете: довольно их с меня!" Вернулся он с облегчением и сам недоумевал, как мог туда отправиться. "Риска очень мало, но при Наташе я и права не имел идти хотя бы на небольшой риск".

Теперь он жил именно, как "рантье", уже без всяких занятий.

Ежедневно покупал "Фигаро", "Манчестер Гардиан", немецкие газеты, но не очень их читал. О воспоминаниях больше не думал. "Разве я могу рассказать о своей жизни всю правду? Автобиографии — самый лживый и довольно бесстыдный род литературы. Но "перейти в потомство" хочется. Разумеется, в выигрышной позе. Найти позу можно бы, — лениво думал он. — И слава Богу, что никого не видим, что не надо говорить о войне, о намерениях Кремля, о сенаторе Мак-Карти".

Никак не скучала и Наташа. Ей нужно было сделать выписки в библиотеках. Работа заняла не очень много времени. На этом берлинские дела Наташи заканчивались. Она побывала в своем пансионе, с застенчивой гордостью сообщила, что вышла замуж, хозяйка любезно ее поздравила. Наташа перевезла свои вещи и размещала их с улыбкой: так они тут выделялись. Расставила свои книги на полках с книгами мужа, которые еще в первый день рассматривала с любопытством. На средней полке теперь заметила большой, страниц в тысячу, справочник по медицине. Оставшись одна, она долго просматривала эту книгу. Не знала, на каком месяце появляются первые признаки беременности. Пойти к доктору или к акушерке ей было неловко. Ничего не нашла.

Книг у Шелля было больше, чем места для них, кое-что лежало, к его неудовольствию, поверх равных по росту томов. Когда Наташа вдвигала туго входивший справочник, упала объемистая папка, и на пол вывалились гравюры. "Ничего, сейчас все подберу", — подумала она. Гравюры были старинные и хорошие. Первой была "Embarquement pour Cythère". "Эту картину я знаю, это Ватто, знаменитый". Наташа стала просматривать другие гравюры. На большинстве была неизвестная ей подпись: Бодуэн. Она их откладывала в папку, изнанкой вверх. Неприятное чувство у нее все росло. Все гравюры были очень легкомысленного сдержания; строгий человек мог бы даже назвать их порнографическими. "Неожиданно! Должно быть, он собирал их давно, когда был очень молод... Он просто любит искусство. Странно, что собирал только такие. Верно, этот Бодуэн тоже известный, я так мало знаю..." Почему-то, хотя связи не было никакой, Наташа снова вспомнила о листке с цифрами. Она поспешно положила папку на прежнее место.

В контору по перевозке вещей они отправились вместе. Контора взялась перевезти все в Венецию очень скоро.

— Но как мы будем жить здесь, когда вещи от нас увезут, а там их еще не будет? — спросила она по дороге домой. — Придется переехать в гостиницу?

— В Берлине не стоит переезжать. Лучше будем их ждать в Италии.

— В Венеции?

— Что ж все Венеция и Венеция? И я не так жажду опять уви-



деть дон Пантелеймона, — ответил Шелль. Наташа вздохнула свободнее. — Ты еще ведь не видела Рима. Поедем в Рим. А когда вещи будут доставлены, тотчас отправимся на Лидо.

— Отличная мысль! Отличная... Мне везде с тобой хорошо, но всего приятнее будет в нашем домике, после окончателного устройства. Боюсь только, еще кое-что придется купить. У нас постельного белья очень мало. Ничего, что я куплю? Мышка в норку тащит корку.

— Ничего, только хорошую корку тащи, дорогую.

— Все дорогую, дорогую! Что мы за герцоги! А заживем мы отлично! Ты этого не думаешь?

— Думаю и даже уверен, — ответил Шелль.

Все же, вернувшись домой, он вздохнул. "Неужто жалко бросать эту квартиру? Много было здесь пережито. С ней уйдет большая полоса жизни. Скверная, но большая. Все-таки никаких несчастий не было, пока я здесь жил, — думал он. Это имело для него значение. — Но я в ней ни к чему не приложился. Главное для человека — приложиться к чему-нибудь, к семье, к службе, к карьере. Теперь приложился и слава Богу... Вся моя жизнь была бред, с Ололеукви или без Ололеукви, все бред. И то, что в мире происходит, тоже бред, как только они не замечают? И какой скучный".

У него в уме скользнули князь Меттерних, вино Иоганнисбергер, папиросы Честерфильд. Довольно долго не понимал, в чем дело. "Ах да, первый разговор с полковником, он тут сидел. Важный был разговор, я чуть из-за него не отправился на тот свет. Папиросочница с дактилографическими отпечатками... "Тшорт!.." Да, хорошо, что это навсегда кончилось. Теперь тихая пристань, никакая беда и не подкрадется". Он постучал по дереву.

По желанию Наташи, они в этот вечер отправились обедать в Груневальд, в тот самый ресторан. Наташа, очень взволнованная, хотела было занять и тот самый столик, — хорошо его помнила, — но он был занят; это было ей неприятно: их столик заняли чужие люди. Пообедали на террасе, заказали те же блюда, то же вино, — помнила всё. Сидели часов до десяти. На столиках давно зажгли лампочки с цветными абажурами. От этого на террасе стало уютно; но вечер был довольно холодный, подул ветер.

— Ты не простудишься? — спрашивал он.

— Никогда в жизни! — слишком горячо, несоответственно вопросу, отвечала она, точно при нем, под его защитой, и простудиться было невозможно. На обратном пути она стала чихать. Очень этого стыдилась. насморк!

Ночью она закашлялась. Подавляла кашель, чтобы не разбудить мужа, но он проснулся. Наташа рассыпалась в извинениях.

— Помешала тебе спать! Хочешь, я сейчас перейду в кабинет!.. И ведь три месяца ни разу не кашлянула! Надо же было теперь!

— Ведь так у тебя уже бывало и прежде? — тревожно спрашивал он.

— Нет, так нет... Да, бывало... Конечно, бывало, — говорила она, кашляя и стараясь незаметно смахнуть слезы.

Больше в эту ночь оба не спали. Под утро у нее оказался жар. Шелль вызвал того профессора, к которому заставил ее пойти осенью. Наташа умоляла не звать врача, а уж если звать, то какого-нибудь дешёвого из их квартала.

— Лучше бы просто купить чего-нибудь в аптеке. Ведь это совершенный пустяк. Самая простая простуда.

Профессор нашел нужным впрыснуть пенициллин. Он успокоил Наташу, старательно делавшую вид, будто она нисколько не волнуется. Но в кабинете, в разговоре вполголоса с Шеллем, профессор не скрыл, что левое легкое у больной не в очень хорошем состоянии.

— Конечно, пройдет. Все же больной не следовало бы оставаться в Берлине. Вы имеете возможность уехать?

— Когда угодно и куда угодно.

— Вот через неделю и уезжайте.

На беду Наташа оказалась аллергичной к пенициллину, и ей вечером стало хуже. Профессор приехал снова, отменил прежнее лечение, назначил новое и опять посоветовал уехать, уже более настойчиво.

— У нас есть вилла около Венеции, на Лидо. Можно туда?

Профессор поморщился.

— Море, каналы, — сказал он нехотя. — Нет, я вам посоветовал бы сначала пожить в горах. В хорошем санатории.

— В Давосе? — изменившись в лице, спросил Шелль.

— Зачем непременно в Давосе? Туберкулеза пока нет.

— Наверное нет, профессор?

— Наверное. Есть только опасность, что он может появиться. Анализы всё покажут. Не скрою, состояние больной стало хуже, чем было осенью. Но опасности я не вижу. У нее очень усталый организм. Вероятно, жизнь была нелегкая?

— Да, нелегкая! Она в шестнадцать лет оказалась военнопленной! — сказал Шелль. Он вспомнил о подземном заводе, и глаза у него вдруг стали бешеные. Профессор на него взглянул и смущенно, ни о чем больше не спрашивая, протиснулся.

## XXIX

Были сняты две комнаты в швейцарских горах, в санатории, который бодро называл себя домом отдыха. Врач осмотрел Наташу, проделал все исследования и подтвердил диагноз берлинского профессора: туберкулеза нет, есть только склонность к нему, очень ослабел организм, задето левое легкое. Страшных слов, вроде "каверны", сказано не было. Лечение заключалось в отдыхе, чистом горном воздухе, усиленном питании. Наташе было велено проводить большую часть дня в

лежащем положении, либо в большом саду дома, либо на сложно устроенной солнечной террасе. "Что ж, это не так трудно. Часть дня и он будет со мной, будем читать рядом", — думала Наташа. Еще в Берлине ей приходило в голову, что, верно, она недолговечна. "Может быть, и жизнь так люблю из-за болезни: это у всех чахоточных, вот как румянец. Конечно, лучше, несравненно лучше было бы в нашем домике на Лидо, но что ж делать, и тут можно жить".

Вещи Наташа разложила в первый же день, начала вязать, и, как всегда, работа в ее руках кипела. На террасе, когда поблизости никого не было, вполголоса пела "Бублички" или "Уймитесь, волнения страсти" и пела лучше оттого, что ее хвалил. Шелль хотел сказать, что ей петь вредно, но не решился. Скоро она приобрела общие симпатии в доме отдыха.

— Ты любишь людей, это редкая черта даже у добрых, — сказал ей Шелль.

— Совсе не редкая. И мне всех ужасно жалко. Ведь все будут болеть и умрут. Я и книги люблю, и вязанье. Твой pull-over — я правильно говорю: pull-over? — скоро будет готов.

— Правда? Мне он очень пригодится, я так тебе благодарен. Отлично проведем с вами тут лето, Наталья Ильинишна!

— Отлично!

— Вот только есть одно английское выражение: "положить все яйца в одну корзину". Мы с тобой допустили такую неосторожность. Что ты будешь делать, если я вдруг умру, "после непродолжительной, но тяжелой болезни"? Удивительны эти вечные штампы: уж если человек умер, то, казалось бы, ясно, что болезнь была "тяжкая"... А вот я люблю другой штамп: "Приказал долго жить". Выражение хорошее, хотя и странное: умирающий человек едва ли уж так желает долголетия всем другим... Да, смерть... Обычно неизлечимое горе для одного из остающихся, и лишняя согвее для всех других: ну, надо выражать сочувствие, ехать на панихиду, на похороны... Прости, что вообще говорю о таких вещах, но я настолько старше тебя. Кто-т, кажется, сказал, что до сорока лет человек живет на проценты от капитала здоровья, а после сорока на капитал.

— Ради Бога, не говори! — Наташа невольно подумала, что такой богатырь, как он, мог бы этого не говорить, особенно ей. — Во всяком случае, не ты первый... Я тоже умирать не собираюсь, но если б моя болезнь стала опасной, то мне все-таки хотелось бы переехать в наш домик. Я у Гоголя читала, что умирать надо в Италии: в Риме человек целой верстой ближе к Богу. Во всяком случае, не здесь.

— Какую ты чушь несешь! — сказал он. Лицо у него дернулось. — Мы переедем в Италию не для того, чтоб умирать! Стыдно слушать! У тебя "пахондрия", как говорит у Островского Домна Пантелеевна.

— Да ведь я сказала так, на всякий случай. Извини меня, больше не буду. Я знаю, что выздоровлю. Ах, если б только он ясно сказал, сколько именно надо будет прожить в санатории!

— В доме отдыха. Он мне говорил. Правда, тут наши интересы расходятся с их интересами, — сказал Шелль весело. Он теперь обычно говорил с ней очень веселым тоном, и именно это ее немного пугало. — Мы ведь самые лучшие клиенты, им хочется, чтобы мы оставались подольше.

— Но как ты думаешь? Сколько времени мы здесь пробудем?

— Июнь, июль и август, — уверенно ответил он. — В эти месяцы жизнь в горах очень приятна, а в Италии слишком жарко. Осенью же переедем к себе. Будет чемерица. Это, кажется, вреднейшая штука, но все-таки приятно: своя чемерица.

— Что? Ах да, — с радостной улыбкой вспомнила Наташа. — Дай-то Бог! Но как я осложнила твою жизнь! Прямо ее испортила!

— Верно как раз обратное! Ты спасла меня! — сказал Шелль искренне. Наташа вопросительно на него смотрела. — Без тебя я просто не знал бы, что с собой делать. И, верно, проиграл бы в карты все, что имею. Я ведь говорил тебе, что игра была моей страстью.

— Ты говорил, но я не знала, что ты играл так крупно.

— Увы, играл. Кинжал в грудь по самую рукоятку! А больше, верно, никогда карт в руки не возьму. С Рамоном я баловался, да и то редко. Если б я играл с ним по-настоящему, мы были бы теперь много богаче!

"Это правда! — подумала Наташа с облегчением. — Ведь он говорил, что Рамон совершенно не умеет играть... Но теперь, что бы там ни было, я, кажется, все бы ему простила! — сказала она себе, с ужасом вспомнив те свои неясные чувства на представлении марионеток. — И никогда больше об этом и не думать, никогда!"

— Каких денег тебе будет стоить этот дом отдыха! А я ничего не зарабатываю...

— Я уже тебе не раз говорил, что мне было бы неприятно, если б ты зарабатывала. Это было бы неестественно. Вот как если бы в балете не танцор поднимал танцовщицу на вытянутой вверх руке, а она его.

— Я не могла бы поднять тебя на вытянутой руке, — сказала Наташа, засмеявшись. — Но в нашем домике мы жили бы совсем дешево. Я, конечно, сама буду стряпать. Мне еще у нас в России говорили, что никто не умеет варить борщ по-малороссийски так, как я. Ты любишь борщ по-малороссийски?

— Обожаю.

— Буду его тебе готовить. Но когда еще это будет? Я думала, что мы с июня совсем устроимся у себя, прочно, надолго.

— Ну а выйдет только с сентября. Беда невелика. И раз навсегда разделаешься с процессом в легком.

— Ты вправду так думаешь?

— Не я так "думаю", а врачи это утверждают категорически.

— Дай-то Бог! Впрочем, я сама так думаю. Скоро буду так крепка, что просто хоть бычка танцуй!

— Какого бычка? — спросил он, бледнея.

— Разве ты не помнишь? Я тебе на третий день после нашего знакомства читала стихи Державина.

— Какие стихи?

— Неужели не помнишь? "Зрел ли ты, певец тиисский, — Как в лугу весной бычка — Пляшут девушки российски — Под свирелью пастушка? — Как, склонясь главами, ходят, — Башмачками в лад стучат, — Тихо руки, взор поводят — И плечами говорят..."

— Да, да, помню, — перебил ее Шелль.

— А пока что плати этим врачам каждую неделю большие деньги! Они ведь, верно, за все считают отдельно, за каждое исследование!

— "Богатый человек, сознающий свои обязанности перед обществом, не должен жалеть денег". Это любимая фраза дона Пантелеймона. По-испански она звучит еще глупее, чем по-русски... Не тревожься об этом, денег у нас достаточно.

Теперь Шелль был особенно рад тому, что имел состояние. "Хорош бы я сейчас был без денег!" Он снял в доме две лучшие комнаты, купил Наташе в Цюрихе очень дорогой радиоаппарат с граммофоном, выписал из Парижа много русских пластинок и русских книг. При доме отдыха была недурная библиотека, но он запретил Наташе пользоваться ею:

— В этот дом отдыха чахоточных не принимают. Ты видела, на террасе ни у кого нет бумажных мешочков. Но все-таки больные могут быть, и мы еще заразились бы: книги не посуда, их не моют. Скоро придут кучи книг, я выписал для тебя множество советских романов. И о доярках, и о начальниках станции, и о директорах заводов.

— Почему же не писать и о доярках?

— Я решительно ничего не имею против доярок. Только и о них там всё врут. А особенно почему-то о директорах заводов. Об этих товарищах уж ни одного слова правды.

— Не говори: "товарищах". Там точно такие же люди, как везде.

— Боюсь, уже не "точно такие же".

— Вот ведь меня ты любишь! А я такая же, как они.

— Нет, ты белая ворона, я тебе это сто раз говорил, ты таинственное чудо неизвестного происхождения, как летающее блюдечко. Ну, хорошо, беру свои слова обратно. И я тебе нисколько не мешаю читать о товарище Федюхе, читай сколько угодно... А на Лидо мы и знакомых найдем, в Венеции есть русские. Ты очень мила в обществе.

— Прямо княгиня Буйтур-Хвалынцева. Какие там знакомые, мне они и не нужны. Я буду работать. Видишь, уже всё разложила на столе. Но что будешь делать целый день ты?

— Скучать никак не буду. Я и себе купил много романов: английских, американских, французских. Чуть не полное собрание Сименона.

— Это детективные романы? Право, уж тогда лучше читай советские. А книги эмигрантов ты тоже выписал?

— Выписал, кажется, все что есть. Да есть не очень много. Они ведь все умерли, Чан-Кай-Шеки без Формозы.

— Совсе не все! Я и их читаю охотно. Лишь бы было русское! Французский язык я знаю очень плохо и просто не представляю себе, как я стала бы читать немецкий роман! Ученые книги это другое дело.

Иногда по вечерам он читал ей вслух. Тургенева читать решительно отказался; к огорчению Наташи, не любил этого писателя. Но среди ее книг нашелся томик театральных пьес Чехова. Их Шелль читал охотно.

— Лучшая пьеса в русской литературе, по-моему, "Плоды просвещения", особенно первые два действия, — говорил он. — Затем "Ревизор" и одна тонкая, прекрасная пьеса Островского "Не все коту масленица". А уж после этого идут чеховские драмы. Они хороши, особенно "Дядя Ваня". Чехов создал "новый жанр", но эффекты дешевые, такие же милые старые няни, такие же гитары и бубенчики, как в старых пьесах, такие же элементарные люди с "нет, вы подумайте" или с "двадцатью двумя несчастьями". Их, верно, легко писать, и они кажутся живыми именно потому, что пишутся двумя-тремя мазками не очень хорошей краски. А эти чуткие, нежные Сони, Ани, Ирины, Саши. А передовой добродетельный студент Трофимов, — он, кстати, точное повторение передового добродетельного студента Мелузова из "Талантов и поклонников". Никогда таких студентов и не было. И какие провалы: "Проснулся во мне прежний Иванов!" Или Ирина говорит о самой себе: "Душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян!" А тотчас после убийства ее жениха она начинает что-то болтать о страданиях людей, о каких-то тайнах, о зиме, об осени, о труде. Этим вздором в дореволюционной России всего больше и восхищались, да еще офицерами и неофицерами, будто бы мечтавшими о том, что будет "через двести-триста лет". Этому придавалось "общественное значение", вроде как обличению взяточников и купцов-самодуров в пьесах Островского. "Небо в алмазах" тоже было взяткой критикам, брошенной им костю: "жрите". В "Скучной истории" профессор видит главную свою беду в том, что каждая мысль, каждое чувство живут в нем особняком и что нет у него общей идеи, — "а если нет этого, то, значит, нет и ничего". То есть будь он либералом, марксистом или народником, то все было бы в совершенном порядке, история "скучной" не была бы! Критика, разумеется, общественную кость с аппетитом и сожрала. Что ж, теперь у прохвостов в Кремле есть общая идея, кушайте на здоровье... Большой, большой был писатель Чехов. Конечно, он самый правдивый писатель после Толстого, но его мысли... И вышло все совершенно наоборот. Ах, Боже мой! Неужто он жил на капитал этих дешевеньких, скучных идей!

— То есть они были не оригинальные? А зачем непременно нужна оригинальность? Главное, чтобы мысль была хорошая, добрая... Вот у них у всех, у Толстого, у Тургенева, у Чехова, есть и жестокое, но преобладает доброе. Притом надо же делать поправку на его время.

— "Поправку на его время"! Отличное было время. И никто не "вопил"... Терпеть, кстати, не могу это слово, так оно уже надоело в романах Достоевского. Чеховские герои не "вопили", они "тихо грустили", что нет настоящей жизни. А я не знаю, что отдал бы, чтобы жить в их время. С жиру они бесились.

— Да, было тихо, спокойно. Мне было бы хорошо. Но... не разве ты так мог бы жить? Ты никогда не мечтал о бурях? — Он поморщился. — Я глупо выразилась, я хотела сказать: ты никогда не мечтал о славе?

— Нет, не очень мечтал, — ответил он хмуро, почти сердито, как никогда с Наташей не говорил. — Не люблю неоновом света, он верно и жить мешает. Дай Бог тебе прославиться, ты ведь стала писать и здесь.

— Ради Бога, не говори так. Какое там "прославиться"! Умоляю тебя, не шути!.. Вот ты Тургенева не любишь, а он сказал: "Кто знает, сколько каждый живущий на земле оставляет семян, которым суждено взойти только после его смерти?" Да, сколько он таких семян оставил! Я — никто, но даже я, быть может, оставлю одно. В тебе... Если я умру, вспоминай меня...

Он хотел было пошутить, но почувствовал, что может и заплакать.

Она действительно снова начала работу над диссертацией и была очень довольна. Кашляла уже меньше. Гулять ей не рекомендовалось. Шелль гулял один. Говорил, что был в молодости альпинистом, часто ходил над пропастями по тропинкам шириной в аршин, у которых были надписи: "Nur für Schwindelfreie", — она этого без ужаса не могла себе и представить. Взяла с него слово, что он по таким тропинкам гулять не будет. Ему и не очень хотелось: чувствовал, что устал, отяжелел, для альпинизма не годится. Большую часть дня он проводил дома. Свои снадобья окончательно бросил: для новой жизни они не годились и были не нужны. Читал романы или слушал музыку. Граммофон был с автоматически передвигающимися пластинками. Особенно часто он слушал "Патетическую симфонию", хотя Наташа ее боялась и не любила.

"Беспричинное веселье" на нее находило и в санатории. Тогда она становилась особенно мила. Шелль любил ее остроумие, простое, без всяких mots, полное благодушного юмора. Он смеялся, и от этого ее веселье еще увеличивалось.

Все же мысль, что ему с ней скучно, преследовала Наташу. Недели через две она придумала для него развлечение:

— Вот что, наши вещи уже в Венеции. Теперь их надо перевезти в наш домик, — сказала она ему. — Съезди туда на несколько дней и сделай все это. А то еще на вокзале начальство продаст!

— Ничего не продаст. Все найдем в полной сохранности.

— Да хотя бы и не продало, но если ты все перевезешь, расставишь, приведешь в порядок, то у меня в сентябре будет гораздо меньше рабо-

ты. Заодно и немного развлечешься. Где-то теперь твой дон Пантелеймон и его догаресса! — сказала Наташа по не совсем ей ясной и не совсем приятной связи мыслей. — А меня ты теперь отлично можешь оставить одну хотя бы на целую неделю. Я чувствую себя отлично. Даже скучать буду не очень: моя работа идет.

В первый раз Шелль не согласился. Она заговорила во второй, в третий. Он загадал: вышло — ехать.

— Так всегда! Женщины делают с нами, что хотят. Верно, с самим Наполеоном делали. Он, кажется, говорил, что в любви есть только одна победа: бегство.

— Вот ты можешь и воспользоваться случаем: уедешь и не вернешься, а?

— Это очень может быть. Но не бойся, я тогда заплачу из Венеции по счету в этом доме отдыха: я джентльмен.

— Кстати, надо было бы устроиться так, чтобы не платить за твою комнату, пока ты будешь там. Ты думаешь, они согласятся?

— Согласятся, — ответил он холоднее. Теперь, когда деньги были, Наташа еще больше раздражала его своей бережливостью.

— Ты поговорил бы с директором.

— На что похоже это облако? — перебил ее Шелль, по смутным воспоминаниям из Шекспира. — По-моему, на подвал Лубянки, на "Корабль Смерти".

— На что? — изумленно спросила Наташа, взглянув на небо. — Никаких подвалов Лубянки я не видела, да и ты не видел! ("А вот мой брат видел!" — подумал он.) И наверно, ни малейшего сходства. Так, пожалуйста, поговори с директором. Зачем тратить зря деньги?.. Я знаю, ты всегда морщишься, когда я думаю об экономии, но ведь это ради тебя: именно ты не создан для бедности. Я к ней привыкла. Иногда почти жалею о ней.

— Знаю, знаю, "голенький ох, а за голеньким Бог", — сказал Шелль. — Нет, я не желаю быть голеньким, спасибо.

О комнате он с директором не поговорил, зато взял с него и с врача слово, что они будут особенно внимательно следить за его женой. Попросил даже об этом кое-кого из новых знакомых по столовой. Все с радостью обещали.

В Венеции он еще с вокзала позвонил в гостиницу Эдды, не сказав своего имени; узнав, что она уехала в Берлин, вздохнул с облегчением: Эдда ему стала так же противна, как Джиму. Он иногда почти с досадой думал, что благодаря ему она теперь богата.

Остановился он в той же гостинице. Его встретили с почетом. Управляющий, смеясь, рассказывал о Рамоне. Приглашенные на Праздник Красоты остались довольны. Он потратил большие деньги и на подарки.

— Кажется, есть такая восточная поговорка: "Человек уносит с собой в могилу только то, что раздарил при жизни", — сказал управляю-



щий, часто разговаривавший в своей гостинице с писателями. — Тогда ваш друг унесет в могилу много.

— Очень этому рад, хотя он не мой друг, — ответил Шелль и автоматически занес в память "для мемуаров". Он сам часть своей сомнительной эрудиции приобрел таким же способом, как управляющий. "А все-таки он человек не пошлый и почти не смешной, Рамон, скорее уж трагический, хоть не очень", — подумал он.

Работы в домике оказалось немало. Три дня он с рабочими расставлял вещи и книги, вбивал гвозди, кое-что чинил: любил и умел *bricoler*. При этом сам удивлялся, сколько у него оказалось хлама. Многие выбросил, даже картины не все повесил, — кое-что надоело или перестало нравиться. "Как только я мог купить такую дрянь! И статуэтки дрянь, хотя будто бы и "подлинные". Чёрт с ними". Еще больше оказалось совершенно ненужных ему книг. Было многотомное издание "Воспоминаний и писем" князя Меттерниха, — "опять Меттерних!" Ни один том разрезан не был. "Когда же я это купил и зачем? Придется отдать в переплет, не разрезывать же самому. Может быть, и загляну". Поставил на ту полку, на которой им полагалось стоять по формату. Библиотеку в порядок не приво-дил: "Когда-нибудь позднее, а до того пусть постоит так. Работы было бы на неделю". Нашелся огромный конверт с фотографиями женщин, которые его любили. Он пересмотрел и не без удовлетворения подумал, что теперь совершенно к этим женщинам равнодушен. — Даже почти никогда не вспоминаю. Еще хорошо, что этот конверт не попался Наташе. Удивительно и то, что ей добрые люди до сих пор не сообщили об Эдде".

Теперь вилла, залитая июньским солнцем, была чрезвычайно уютна. Он садился в каждой комнате и выкуривал по папиресе, "чтобы ни одной комнаты не обидеть и не навлечь беды. Да, только бы она выздоровела! Неужто придется поселиться совсем в санатории? А этот домик продать, наш домик!" Наташа, к его удовольствию, говорила: наш домик, наши книги, мы проголодались, — только о деньгах всегда говорила: твои деньги. "Нет, не может быть! Это для нее было бы страшным ударом. Для меня еще большим". Он чувствовал, что если с Наташей иногда бывало и скучновато, то без нее было скучно и тяжело. Врачи не очень его успокоили относительно ее здоровья, хотя и не очень пугали. "Да, я правду ей сказал, без нее я пропал бы совершенно. Не выдержал бы того одиночества, в котором проходила моя жизнь! А вот с ней, может, и до глубокой старости дожил бы, чего на свете не бывает! И люди говорили бы со мной восхищенно, как часто говорят с дряхлыми стариками: такой старый и еще не рассыпается! Хочу я этого или нет? Никак не хочу. Странный был бы финал для графа Сен-Жермена. И без того вышло странно. Были в жизни разные комплексы, кончаю же я, очевидно, комплексом Филемона".

Подумал он и об Эдде, — как почти всегда, с отвращением, но теперь еще больше со стыдом. "Поступил с ней бессовестно. Правда, кое-

как исправил..." Теперь Шелль, под влиянием Наташи, старался находить хорошие черты у всех. Особенно трудно было их найти у Эдды. "Сама Наташа — ангел. Полковник № 1 просто хороший человек, советский полковник тоже недурной, хоть полоумный, есть немало привлекательных черт у Рамона; быть может, есть они даже у такого прохвоста, как я. Но у Эдды в лучшем случае, кроме ее глупости, только "смягчающие обстоятельства", ну, безвременье, беспочвенность, ужасная среда, в которой она жила чуть не с детских лет, полное отсутствие средств. Да, смягчающие обстоятельства серьезные. Скорее уж можно удивляться тому, что у нее есть какая-то даровитость, правда небольшая и чисто подражательная. Хорошо было бы больше никогда с ней в жизни не встретиться... Да, так буду жить, верно, до конца дней... Но ничего конкретного Майков мне не посоветовал", — неожиданно подумал он, морщась от ученого слова. — "Сторониться зла", больше ничего? Маловато. Когда отказывают в милостыне, говорят: "Бог подаст"...

Без причины он остался ночевать в домике, хотя это было очень неудобно: ничего с собой не взял, ни пижамы, ни мыла, ни зубной щетки. Просто не хотелось уезжать. "Да вот себя примерю к новой жизни. Впрочем, какая же примерка, когда Наташи нет?" Он снова распределял комнаты и мебель в них. Подумал, что вместо ненужной "комнаты для друзей" устроит гостиную, впрочем, тоже ненужную. "Как же ее обставить? Кое-что здесь до отвращения "новенькое". Разве, как в старых романах из помещицкой жизни, развешать по стенам, над мебелью из карельской березы, пистолеты, старинные ружья, кинжалы? — думал он с улыбкой. — Или это в кабинете? И не поставить ли еще станок? Займусь токарным делом. Времени будет двадцать четыре часа в сутки... День да ночь, сутки прочь. Все-таки другой житейской мудрости никогда не было и не будет".

Он почувствовал голод, подумал, что в этой дыре все, верно, закрывается очень рано, и вышел, заботливо повернув ключ в замке, — "инстинкт нового собственника". Кофейня уже действительно закрывалась. Его, однако, впустили и дали ему холодного мяса и вина. Примеривал себя и к этой кофейне: "Вероятно, буду в ней тысячу раз". А примеривал себя также к этим безлюдным улицам, к слабо раззолоченному звездами небу, к деревьям, облитыми неярким лунным светом. "Теперь мое... Моя "чемерица"... Как несказанно прекрасен мир и тем более жаль, что все неизвестно, почему и зачем!"

Дома он колебался между креслом и кроватью Наташи. Снял туфли, аккуратно, как всегда, повесил на спинку стула пиджак, расстегнул воротник и лег, положив под голову кожаную подушку из кабинета. Почувствовал, что не заснет. Луна отсвечивалась белым пятном на полу спальни. Тишина была такая, будто не было никакой Венеции, никакой Италии, ничего: стратосфера. Вспоминал самое страшное, самое постыдное в своей страшной и постыдной жизни. "Изменилась душа? Это бывает не чаще, чем меняется пол!" — подумал он и, как с

ним бывало прежде, почувствовал, что душа его пуста, пуста, совершенно пуста. Вышел в сад, — теперь это был не его сад, не его земля. "Все чужое, а самой чужой, быть может, оказалась бы нынешняя Россия". Шелль вспомнил, что собирался с Наташей сажать здесь фруктовые деревья. "Не будем сажать", — скользнула у него мысль. Он вернулся в комнаты, испытывая близкое к ужасу чувство. "Неужто все опять! Нет, есть зацепка".

Он развернул газету. Читал ее странно: несколько строк понимал, затем смысл исчезал, точно терялось на минуту сознание; это повторялось довольно долго. "Кажется, понемногу свихнулся от всех этих снадобий, хотя уже давно их не принимаю". Проснулся он на заре. "О таких ночах люди часто врут: "не сомкнул глаз". Часа три-четыре спал. Вернусь на первом пароходике, в гостинице будет телеграмма от Наташи". Они условились, что писем писать друг другу не будут. "Никогда у меня не выходили любовные письма. "Я страстно люблю тебя". Это чистая правда, но если я ей напишу это, то мне самому покажется, что я вру... Как странно, что мне многие слова просто действуют на нервы, особенно слова развязные. "Познакомьтесь" при представлении людей друг другу, или: "Да-с, так вот какие дела", а то в советских романах: "Даешь", "буза" и сотни других, — уж лучше народная брань, обозначавшаяся (чтобы никто не догадался) точками в прежние времена, у еще несоциалистических реалистов", — беспорядочно думал Шелль. От Наташи пока пришла лишь одна телеграмма, написанная по-русски: "Pochti ne kachlaiu. Ostavaisia skolko nuzno. Tzeluiu. Lublu". Он обрадовался, даже умилился, хотя русские слова, написанные латинскими буквами, да еще кое-где искаженные, звучали странно-неестественно, и хотя в последних двух было сходство с телеграммами из юмористических рассказов.

В гостинице новой телеграммы не было. Правда, они забыли условиться, сколько раз будут телеграфировать. Все же это могло означать, что Наташе стало хуже. Не получив телеграммы и на следующий день, он выехал в Швейцарию.

Еще у дверей дома отдыха он с тревогой спросил швейцара, все ли благополучно. — "Mais oui, Monsieur, Madame va très bien". "Ну слава Богу!" — подумал он и почти побежал в их номер. Наташа радостно вскрикнула и бросилась ему на шею. И Шелль, как ни был счастлив, подумал, что они "слились в долгом поцелуе", немного похожем на тот кинематографический долгий поцелуй, которым заканчиваются фильмы.

— ... Прибавила в весе на два фунта, даже скорее на два с половиной! И не кашляю!.. Я сейчас попрошу, чтобы нам дали наш кофе... Твой pull-over готов... Мой Эудженио, мой собственный Эудженио!.. А как наш домик?.. Бедный, ты верно очень устал!..

Вечером Наташа сидела у письменного стола и с пером в руке читала "Шестый помысел Уньиня" Нила Сорского. Обычно она чи-

тала у окна в кресле и пометки делала карандашом; но теперь на столе был расставлен привезенный им ей в подарок великолепный прибор. "Твоим пером, на твоём бюваре, я и писать буду лучше!" — говорила она. Шелль, без пиджака, в pull-over'e, лежал на кушетке, задрав на спинку пододвинутого кресла свои не помещавшиеся на кушетке длинные ноги. Он опять — теперь как-то агрессивно — слушал "Патетическую симфонию" и думал о своем, о том, что "никогда не поздно", о Наташе.

"Лют сей дух и тяжчайши есть, съпряжен сушь и споспеваючи духу скорбному, — читала об унынии Наташа. — В безмолвии сущем сиа рать зелне належит. Егда волны оны жестокия встанут на душу, не мнит человек в той час забывление от сих приати когда... Яко же бо и той злолютный час не мнит человек, яко претерпеть ему в подвизе жительства благаго, но вся благаа мерзостна показывает ему враг..." "Как верно, как хорошо! Так и буду жить, не поддаваясь, и не будет злолутного часа, — думала она, вспоминая о своей болезни, о подземном заводе, о гравюрах, о листочке с цифрами и отгоняя от себя эти воспоминания. — О чем я думала? Да, что я теперь для себя ничего не могу желать и не желаю: лишь бы все было так, как теперь, только совсем выздороветь, больше ничего. И людям, всем людям, желаю того же: чтобы никто не знал нужды, чтобы не было неизлечимо больных, чтобы никто из-под кнута не работал на подземных заводах, чтобы везде были сады и вот такие дома отдыха, книги, добрый труд и, главное, чтобы у каждого был любимый, нежно любимый человек, как у меня. Это и будет житьельство благае..."

— У каждого из нас есть, конечно, сумасшедшинка. Я знаю, какая у тебя: у тебя патологическая, но не злокачественная правдивость, — сказал Шелль. Наташа оторвалась от книги, взглянула на него и восстановила мысленно его слова. "Обычный его вздор!.." Прежде не решилась бы и подумать о нем такое. — Главное в жизни: это к чему-нибудь "приложиться". Ты приложились к отзывистам.

— Я знаю, к чему я приложились. Ах, если б ты мог говорить не в этом тоне! Но я страшно люблю тебя, страшно! И лицо у тебя необыкновенное!

— "Чем не бесподобная партия? Чем не капидон?" — сказал Шелль и подумал, что она права: ему самому очень надоел этот тон, от которого отделаться было трудно. Он продолжал слушать музыку.

"И проживем с ней до конца дней. Если не на Лидо, то хотя бы здесь, и это не так плохо", — думал он. — "Нет, все это не так, Петр Ильич! — мысленно отвечал он Чайковскому. — Через все авантюры прошел граф Сен-Жермен и попал в тихую пристань... Вы ошибаетесь, Петр Ильич, есть в жизни радости, и большие, и малые. Быть может, есть даже и счастье".

В Берлине у Эдды, как у Наташи, была только комната в пансионе. Почти все вещи она взяла с собой в Венецию. Теперь перевезла в огромный номер, снятый Рамонем в лучшей гостинице, то, что у нее оставалось. Нашлась фотография Шелля в халате, с не очень пристойной надписью. Обычно она, обзаведясь новым любовником, сжигала фотографии прежнего, — приписывала этому мистическое значение... Но эту ей сжигать не хотелось: "Вдруг с ним еще не все кончено? Вдобавок и камина нет. Не требовать же спиртовку!" Она спрятала фотографию в ящик и ключ положила в сумку.

Рамон был несколько удивлен ее предложением съездить в Берлин. — "Зачем? Скучный город". Эдда не без труда его убедила. Не очень желала отправиться туда и сама, но считала необходимым побывать у советского полковника и получить от него увольнение, окончательное, навсегда, по-хорошему: слова Шелля ее напугали.

Переходить в восточную часть города ей теперь особенно не хотелось, хотя десятка тысяч людей ежедневно туда переезжали и беспрепятственно возвращались. На этот раз и времени было еще гораздо меньше, чем прежде: она покупала и заказывала все, что только можно было купить и заказать. Счета посылались Рамону, он их оплачивал без возражений. "Как только он не боится, что подделают его подпись! — думала Эдда, не имевшая привычки к чекам. — Впрочем, подпись у него замысловатая, такой росчерк не легко подделать". Денег он ей не предлагал. "Если попросить, то, наверное, даст, но напоследок получу больше".

Сама еще не очень понимала, что означает "напоследок". Иногда нерешительно подумывала, не выйти ли за него замуж. "Правда, он говорил, что никогда ни на ком не женится. Ну, они все это говорят! Да еще стоит ли? Есть pro, но есть и contra". "Pro" было достаточно очевидно, "contra" же были разные. Он совершенно ей не нравился, ей было с ним скучно, она хотела сохранить свободу. "Вдруг он еще пожелает увезти меня на Филиппинские острова? Ни за что не поеду так далеко, в такую глушь! Во всяком случае поживем и здесь, и в его севильском дворце. А там он должен будет отвалить сумму". Какой именно суммы требовать, Эдда тоже не знала. "Разве положиться на его щедрость, а то еще продешевлю?"

На нее в Берлине нашел припадок истерического глганья. Она рассказывала Рамону о своих сказочных успехах и похождениях. Когда ей было четырнадцать лет, ей предсказал огромное сценическое будущее сам Джон Барримор. Позднее в Риме ею чрезвычайно интересовался Муссолини. "Но я слышать о нем не хотела, не буду же я какой-нибудь из этих Петаччин! Я тотчас с мамой бежала из Италии, он был в отчаянии!" Рамон слушал рассеянно и кисло.

По вечерам они ездили в дорогие притоны с элегантными и несколько загадочными названиями. — "Будем танцевать до рассвета!"

— говорила она. Ей нравились эти слова, в них было нечто удалое. Возила его Эдда и в театры. В драме он не понимал ни слова, музыку же не так любил. Зато балетный спектакль очень ему понравился.

— Балет может спасти мир! — с силой сказал он, выходя из театра.

— Балет был дивный! — подтвердила она. — Особенно "Слава герою", где Наполеон под музыку Бетховена танцует в паре с орлом. Это очень глубоко! Но отчего ты все спасаешь мир? От коммунистов? Да ведь у них-то самый лучший балет.

— Ты не могла бы стать балериной?

— Я чудно танцую, но быть балериной не хотела бы.

— Я создал бы для тебя лучшую труппу в мире... Если мой венецианский праздник пока не имеет исторических результатов, то просто потому, что он неповторим. Красота могучее орудие, но надо пускать его в ход часто. Балет это выход. Он мог бы показать трагедию, которую переживает мир. Коммунисты говорят, что личность ничто, а коллектив все, так? А мы покажем обратное: коллектив ничто, личность все! Мы покажем в балете страдания личности!

— Все-таки балет невысокий сорт искусства, — сказала Эдда, вспомнив, что ей что-то такое говорил Шелль: "Легкая, запоминающаяся музыка, живописные декорации, пляска, голые тела, как это могло бы не завоевать мир?" — Но об этом мы как-нибудь подумаем. "Надоел он мне, Рамон! Скучает, так пусть и скучает. Все равно скоро его брошу", — подумала она. Как и Шелль, она почти решила, что начнет новую жизнь. "Вот только обзаведусь деньгами и брошу их всех, и его, и полковника. Буду писать стихи и печатать на свои деньги, если этот заговор молчания будет в печати продолжаться. Не надо больше играть жизнью, а то совсем расстроятся нервы... И картежника, с его остротами, мне больше не надо. Перееду куда-нибудь в Мюнхен, уж если в Париж нельзя. Устрою у себя литературный салон, буду жить, как порядочные люди".

Рамон действительно скучал. В Венеции он был занят праздником, в Берлине же были свободны двадцать четыре часа в сутки. Знакомых не было. Интервьюеры и фотографы не являлись. Газеты даже не сообщили об его приезде. Он не очень интересовался рекламой, но то, что не было никакой рекламы, было ему не совсем приятно. Вдобавок Рамон не понимал, зачем они здесь сидят: везде было скучно, все же в Париже, а особенно в Севилье, было бы веселее. Эдда старались ему угождать, придумывала развлечения, за обедом рассказывала анекдоты. Они еще теряли в переводе на плохой испанский язык. Попробовала она как-то рассказать и непристойный анекдот, хотя не знала по-испански нужных слов. Вышло нехорошо: Рамон вспылил и сказал, что таких анекдотов вообще не любит и что уж дамам они совсем непозволительны.

— Поэтессам разрешается многое из того, что другие дамы, конечно, делать не должны, — сказала смущенно Эдда.

Это соображение и ее замешательство его смягчили. Он успокоился и даже попросил извинить его горячность.

— Ты не должна протитуировать такими словами твою личность! — сказал он значительно. У Эдды тотчас на лице появилось такое выражение, какое должно быть у членов парламента, покрикивающих "Hear, hear" во время речи главы партии. — Вот что! Напиши балет на тему "Советская революция". Я найму самых знаменитых артистов и буду возить его по всему миру! Покажем неслыханную историческую трагедию.

— Я никогда не писала либретто, да еще для балета, — ответила Эдда. Его предложение показалось ей несколько обидным, но интересным. "Говорят, авторы получают двенадцать процентов валового сбора".

— Я плохо знаю, что собственно ты пишешь. Прочти мне что-нибудь твое.

— Охотно, — ответила Эдда с радостью. Она любила читать стихи, читала всем своим любовникам. Тотчас принесла записную книжку.

— Стихи, впрочем, не совсем мои. Я в Париже на набережной купила книгу одной старой поэтессы. Заинтересовалась эпитафией из Гете: "Liebe sey von allen Dingen — Unser Thema, wenn wir Singen", "пусть темой наших песен будет любовь". Поэтесса была неважная, мне все пришлось исправить, так что собственно можно сказать, что это мое. Я тебе потом переведу, а ты в моем чтении оценишь музыку, ритм, напев, — сказала Эдда. Читала она так, как читают плохие актеры: тщательно скрывая рифму, прилагая все усилия к тому, чтобы стихи казались прозой, но иногда вдруг без причины повышая голос до восторженного крика и так же внезапно и беспричинно возвращаясь к обыкновенному тону:

La trompette a sonné. Des tombes entr'ouvertes  
Les pâles habitants ont tout à coup frémi,  
Ils se lèvent, laissant ces demeures désertes  
Ou dans l'ombre et la paix leur poussière a dormi.  
Quelques morts cependant sont restés immobiles;  
Ils ont tout entendu, mais le divin clairon  
Ni l'ange les presse à ces derniers asiles  
Ne les arracheront.

Он слушал внимательно, думая, что в стихах говорится о любви. Но когда Эдда перевела, мысли стихов очень ему не понравились. Рамон не любил разговоров о смерти: "Достаточно того, что человек умирает, так еще говорить об этом!" Здесь же были все могилы и мертвецы. Особенно ему не понравились объяснения мертвецов, — почему именно они не желают выходить из могил. Эти объяснения были совершенно не удовлетворительны: с ним никогда не случалось того, на что мертвецы жаловались. "А если она так ненавидит жизнь, то зачем накупает

себе столько всякой дряни!" — Он подумал, что Эдда успела ему надоесть. Одна пышная женщина типа хищницы стояла другой пышной женщины типа хищницы.

"Хорошо было бы, если б он хоть читать стал. Тогда и мне было бы свободнее", — решила Эдда. В книжном магазине поблизости от их гостиницы оказались две книги на испанском языке: "Дон Кихот" и "Четыре всадника Апокалипсиса". Она купила роман Бласко Ибаньеса, очень ей нравившийся. Находила в себе сходство с Маргаритой Ложье, которая была одновременно и шикарной, и идейной женщиной. Сказала Рамону небольшое вводное слово:

— Обрати особенное внимание на видение этого русского социалиста Чернова! Оно может считаться пророческим!

Рамон прочел роман с удовольствием. Ему особенно понравилась Шиши, тоже очень пышная женщина. От сравнения с ней Эдда потеряла, никак не могла думать, что подарила книгу на собственную беду. Ему пришла мысль, что и он мог бы кое-что сделать для борьбы с всадниками Апокалипсиса. "Но что именно? Купить яхту и отправиться в голодные страны, встать во главе помощи голодающим?"

Новая идея его заняла. "Продать венецианский и севильский дворцы, на все деньги закупить хлеба? Нет, хлеб все-таки есть и у голодающих, нужны вещи получше. Надо доставить и радость бедным, несчастным людям. Консервы! Всякие, но особенно ананасные. Пусть и бедняки едят ананасы! Это тоже полезно в борьбе с коммунизмом. Если денег от продажи дворцов не хватит, я доложу, сколько бы ни потребовалось!" Рамон был увлечен так, как в тот день, когда у него впервые явилась мысль о Празднике Красоты.

Вечером он получил письмо. Оно было адресовано в Венецию, с "please forward" на конверте. Не подписавшийся добрый человек прислал ему газетную заметку об его празднике. Секретариата больше не было, заметка через цензуру не прошла. Эдда переводила со все росшим смущением. Рамон, без аллегорий, назывался дураком, говорилось о бесстыдных, невежественных богачах, очевидно думающих, что им все позволено, и издевающихся — в такое время! — над нуждой и горем девяти десятых человечества: "Эти господа, очевидно, даже не способны понять, что их нелепые затеи оказывают большую услугу врагам культуры и свободы, коммунистам".

Рамон был в ярости. Не привык к издевательскому тону; двадцать лет его осыпали похвалами. Кроме того, было ясно, что идея Праздника Красоты осталась совершенно не понятой. — "Стоит ли обращать внимание на дураков и негодяев!" — говорила Эдда возмущенно. Но странным образом его раздражение перенеслось на нее, точно она написала эту заметку.

— Верно, этот подлец хотел что-нибудь с меня сорвать! Как все, — сказал он.

— Конечно! Разумеется! Шантажисты! — говорила Эдда.

За обедом он был гневен и, против своего обыкновения, выпил целую бутылку вина. Затем объявил, что пора ехать в Севилью.



— С меня совершенно достаточно Берлина! Очень сожалею, что сюда приехал. Мне нигде не было так скучно, как здесь.

— Мне тоже... Я именно это хотела предложить: ведем, — поспешно согласилась Эдда. — В Севилью есть отсюда прямой аэроплан?

— Вероятно, есть. А если нет, пересядем в Париже.

— Нет, тогда лучше в Мадриде. Я никогда не видела Мадрида. Я поеду в общество и спрошу.

— Зачем? Это сделает швейцар гостиницы. Назначь день.

— Но, может быть, на этот день не будет билетов.

— Для меня будут билеты на любой день!

— Тогда, скажем, в четверг или пятницу... Как фантастична была наша встреча! Ты просто моя судьба! — желая его утешить, сказала она то, что говорила всем своим любовникам.

— Не знаю, почему я твоя судьба, — мрачно ответил Рамон. Он принял решение расстаться с ней в Испании. "Откупиться от нее будет нетрудно. В Севилье скажу, что еду в кругосветное путешествие. Может быть, и в самом деле поехать? Бесплезно работать на людей, они ничего не понимают или не хотят понять! Конечно, не стоит обращать внимание на шантажистов!" — говорил он себе. Но думал, что, быть может, мертвецы Эдды не так уж неправы.

### XXXI

Катастрофа постигла полковника №2 так неожиданно.

После ответа, полученного им из Москвы, он имел все основания ждать наград. Был почти обеспечен генеральский чин, могли дать орден, денежное пособие. Все это было чрезвычайно приятно, но вопроса о работе не решало. Оставаться на Западе ему больше не хотелось: все здесь было ему чуждо и почти все неприятно. Строевой должности он получить не мог, да и в самом деле для нее больше не годился. На должность в штабах было мало шансов. В том же ведомстве, в котором он служил, еще более высокий пост означал еще более грязную работу. "Все-таки остался боевым офицером, к полиции не принадлежал", — в сотый раз повторял он себе. Сам чувствовал, что это у него становится навязчивой идеей: как бы не смешали с чекистами! Смешать было очень легко: люди типа чекистов все больше переполняли его ведомство, и он с каждым днем яснее чувствовал себя в этом ведомстве белой вороной. Думал, что, пожалуй, лучше всего уйти в отставку.

Перед ним был тот же вопрос, несчастный вопрос пожилых и старых людей: что делать в остающиеся годы жизни? Полковник перебирал все. На обычной, банальной мысли о воспоминаниях он почти не остановился. "В России воспоминаний не пишут, разве те, у кого есть сейф за границей, да и для них рискованно. И ничего я на войне особенно важного не видел, видел то, что видели все. А о теперешней моей службе и думать лучше поменьше, не то что писать". В свое время он хотел заняться биографией Суворова, но отказался и от этого: "Было бы пересказом старых книг, с расшаркиваниями в сторону начальства

и с экономическим материализмом". К тому же, он чувствовал, что, несмотря на орден имени Суворова, правительство не так уж расположено к царскому фельдмаршалу: "Следовательно издать правдивую книгу будет не просто: Суворов экономическим материалистом не был. Можно, пожалуй, написать историю какой-либо важной операции времен великой войны? Теперь, после смерти Сталина, восхвалять на каждой странице его военный гений незачем, но все наше командование восхвалять было бы необходимо, то есть опять-таки бессовестно врать: никаких промахов, мол, не было, все происходило по заранее разработанному плану". Об этом полковник имел определенное мнение: план был плохой, да он в начале войны и не осуществлялся, точно никакого плана вообще не было. Было сделано множество тяжелых ошибок, проявилась полная растерянность начальства, и всё спасли храбрость русских войск, самоотверженная выносливость русского народа.

В свободное время полковник иногда заходил в книжный магазин. Покупал преимущественно военные книги, иногда исторические. Зашел он в магазин и в июне. Новых военных книг не оказалось. Ему попала старая книга Сергея Аксакова. Она привлекла его внимание переплетом, очень хорошим и превосходно сохранившимся. Переплет был желтый, с очень широким кожаным корешком, с такими же углами. Полковник раскрыл книгу, ему попала фраза: "Кроме описанных мною трех пород, в Оренбургской губернии изредка попадаются черные зайцы, обыкновенного склада и величины, мне никогда не удалось их убить". Эти слова поразили полковника: он должен убить черного зайца!

Настоящим охотником он считаться не мог. Стрелял в лет не очень хорошо, гончих и борзых собак не любил (как, впрочем, не любил их и Аксаков). В молодости охотился в свободное время, которого у него и тогда было не много. Но эта книга была для него откровением: вот что осталось в жизни! Он тут же себе возразил, что с раненой ногой не мог бы ходить по полю, по болотам, по лесу. Книга была следовательно ему практически не очень нужна. Однако он почувствовал, что непременно ее купит, сколько бы она ни стоила. Увидел в оглавлении главы о ловле шатром и о капканном промысле. Для такой, не слишком утомительной, охоты он еще годился. Попался ему и эпиграф из какого-то древнего охотничьего руководства: "Будите охочи, забавляйтесь, утешайтесь сею доброю потехою, зело потешно и угодно и весело, да не одолеют вас кручины и печали всякие... О славные мои советники и достоверные и премудрые охотники! Радуйтесь и веселитесь, утешайтесь и наслаждайтесь сердцами своими, добрым и веселым сим утешением в предыдущие лета! — "Точно для меня сказано!" — подумал он и купил книгу, хотя она была напечатана по резавшей ему глаз старой орфографии.

Вернувшись домой вечером, он заварил кофе, сел за стол и сначала перелистал всю книгу. Под одним переплетом в ней были два тома: "Записки об уженьи рыбы" и "Рассказы и воспоминания охотника о

разных охотах". На первом томе он долго не останавливался. В юности пробовал и удить рыбу, но это дело показалось ему скучноватым и грязноватым: надо было на крючок насаживать живых навозных червей, — на хлебные шарики у него ничего не ловилось. Теперь только пробежал кое-что из "Записок". Ему нравился чудесный, столь простой, бесхитростный слог, — "да, наши так писать не умеют!" — нравились технические и вместе с тем чисто русские, без "измов", слова, "перекаты", "снулая", "паводки", "верхоплавка", "хребтуг", нравились изумительная наблюдательность, необычайная зрительная память писателя, — он писал о нравах и обычаях рыб, как если б сам прожил всю жизнь под водой.

Скоро полковник перешел к шатрам и капканам. Его поразило сходство этого рода охоты с тем, чем он сам занимался в последние годы. Волков и лисиц ловили так, как он ловил шпионов. "Выбор приманки, правдоподобие, незаметность, все как у нас!" Охотник искусно подделывал рукояткой лопаточки на снегу волчьи следы для обмана волков и заматал свои собственные. Он должен был даже ходить в свежих незаношенных лаптях, так как запах кожи или ваксы мог спугнуть волка. "Все это надо так мастерски устроить, чтобы острое зрение зверя ничего не могло заметить и тонкое его чутье ничего не могло уловить", — советовал Аксаков. "Может быть, настоящий разведчик охотником и должен быть. Шелль, кажется, говорил, что тот американец охотник", — думал полковник, радостно вспомнив о документах из печи в Роканкуре. В капкан мог попасть матерый волк или, еще лучше, черный заяц. "Да, описано на ять, что и говорить. Правда, хорошо ему было описывать, — только с юности и делал, что удил рыбу и охотился, а я был босопляс, питался сеном с хреном", — говорил он себе, борясь с влиянием Аксакова. Но все больше чувствовал, что его навсегда очаровал этот барин, замечавший то, чего другие не видят.

Книга определила его планы. "Если и предложат новую должность, то стоит ли ее брать? У нас, правда, не предлагают должностей, а назначают на них. Все же отделаться можно, сославшись на хромоту и увечья. Объясню, что стал неработоспособным. Настаивать не будут. И вот отставным генералом можно бы поселиться в этих местах, тогда уж по-настоящему на родине. Родина, конечно, Россия, а все-таки настоящая родина это для кого Москва, для кого Киев, а для меня Верхнее Заволжье. Да, как в старину, нечем платить долгу, так пойду за Волгу. Лошадь куплю, ездить верхом еще могу, старого леса кочерга. Может, домик удастся выстроить?.. Буду вставать в пять часов утра, буду брать с собой термос с кофе, бутылку крымского вина, беззубому на орехи... Он пишет, что старые, усталые, не очень здоровые охотники караулят зверя неподалеку в шалаше, где сидят в креслах и курят сигары. Ну, я без кресел обойдусь, а вот можно будет брать с собой карманную шахматную доску. Аксаков любил охотиться в одиночку, так буду делать и я. Знакомство буду водить только с крестьянами, из них вышел, к ним и вернусь. Они наши лучшие люди. Примут ли они меня? Кто их души разберет? Может быть, они больше всего хотят, чтобы

иностранцы в русские дела не вмешивались, а может быть, именно жаждут, чтобы кто угодно, хотя бы сам чёрт, свернул шею большевикам? Они главная надежда России, они и еще больше офицерство..."

Он читал до поздней ночи и восхищался все больше. "Знал разных травников, гаршнепов, чернозобиков, курухтанов, широконосок, вяхирей, клинтухов еще лучше, чем линей, окуней, сомов и налимов!" Полковника приводило в восторг, что собаки бывают вежливые и невежливые, а волки обыкновенные и озорники, что стрельба диких гусей дело не охотничье, что стрелок благородной болотной дичи не может уважать такую стрельбу, что утка, желая усыпить селезня, долго ласково щекочет ему шею, что народ не признает французских или немецких названий дичи и называет бекаса диким барашком, вальдшнепа лесным куликом, что все-таки, вопреки общему мнению, первая болотная дичь бекас, а не дупельшнеп, который неправильно называется дупелем, что на севере Оренбургской губернии зимой мерзнет ртуть, а у ее южной границы растут самые нежные сорта винограда. — "Это в одной-то губернии! Поистине необъятна Россия!" Он кончил книгу на рассвете.

Благодаря принятому решению и своему огромному служебному успеху, он стал гораздо веселее, чем был прежде. Стал и снисходительнее к людям; сослуживцы и подчиненные обратили внимание на некоторую перемену в нем и не знали, чему ее приписать. Им был хорошо известен его тяжелый характер. Прежде чуть не половина его труда и времени уходила на расстраивание интриг, подвохов, козней сослуживцев. Теперь уходило несколько меньше.

А затем стряслось несчастье.

В полученной им от начальства новой бумаге грозно сообщалось, что он доставил дезинформацию, которая уже повлекла за собой вредные, дорого стоившие распоряжения военных властей!

Дезинформация была составлена так искусно, что и начальство в Москве сначала ей поверило. Не сразу и там было замечено одно обстоятельство, которого не заметил полковник. Оно не оставляло сомнений, — все документы были сфабрикованы для введения в заблуждение советского военного ведомства: главный присланный им документ, содержащий сведения об атомных бомбах, был помечен 18 марта. Между тем его шпионка, столь удачно добывшая этот документ прямо из американской печи в Роканкуре, доставила их 17-го. Улика была неотразимая. Полковник остолбенел.

Вместо блестящего дела оказалось дело постыдное и вредное. Вместо ордена, чина, пособия надо было ждать большой беды. В самом лучшем случае он теперь мог рассчитывать на чистую отставку с последствиями немилости. О том, каков может быть худший случай, были допустимы лишь мрачные догадки. "Чему быть, того не миновать", — сказал себе полковник. Это изречение, часто губившее русских людей, ему помогало. "Широк путь в концлагери, узок путь из концлагеря... И подумать только, что судить меня будет по одной ошибке! Все труды, все достижения, все заслуги мгно-

венно забудут, помнить будут лишь об одном промахе! А невежды скажут: в этом ошибся как дурак, значит и все дело твое дурацкое!"

Ему было всего лет десять, когда произошел октябрьский переворот. Тридцать пять лет советской пропаганды не прошли для него даром. Полковник считал всех иностранных правителей фашистами и империалистами, впрочем не вкладывая особенно обидного смысла в эти принятые обозначения. Он по-прежнему не понимал, зачем нужны еще другие партии, когда и от одной ничего нет, кроме вреда. По-прежнему считал безнравственным все, что было вредно его делу, т.е. России. По-прежнему нерешительно считал Сталина гениальным человеком — или же думал, что признание его гениальности очень делу полезно. Прежде говорил себе: "Сталин умрет, а Россия останется". Об его смерти сожалел, тем более, что ждал перехода власти к Берии: "Уж если опять грузин, то лучше бы остался Сталин".

Теперь он думал, что все эти люди губят мир. "Их цель будто бы в том, чтобы облагодетельствовать человечество. Но человечество теперь из-за них — конечно, из-за них, кому и знать? — тратит непроизводительно сотни миллиардов в год. На такие деньги можно было бы переделать жизнь на земле без всяких революций, в два счета положить всему конец, и они этому препятствуют". Полковник не мог искренне желать полного разоружения мира. Но ему хотелось бы, чтобы было как в старину: чтобы существовали армии, гвардии, знамена, чины, отличия, ордена с другими, более приятными, названиями. Ордена Ленина или Красного Знамени очень ценились, однако их названия ему слуха не ласкали. Гораздо приятнее звучали св.Георгий, св.Владимир, св.Александр Невский, с их вековой традицией. Так было и кое в чем другом. Он, например, был очень рад уничтожению "сиятельств", но про себя иногда сожалел, что больше не было "превосходительств" и "высокопревосходительств". А главное, прежде не существовало ни атомных бомб, ни холодной войны. Когда были войны, то горячие и не очень долгие; в остальное же время был мир. Хотя полковник недолго любил иностранцев, ему было бы приятно поддерживать добрые товарищеские отношения с союзными офицерами. Он отдавал должное их верховному командованию и особенно почитал Эйзенхауэра, который так необычайно быстро из подполковников стал главнокомандующим.

Как-то раз к концу войны, за ужином, его приятель капитан, много выпив, сказал, что без революции он был бы "слуга царю, отец солдатам". Это на ужине вызвало смущенный смех, однако никаких последствий для капитана не имело: в полку люди друг на друга не доносили. Теперь полковник про себя думал, что эти стишки, быть может, относились бы и к нему самому. Он говорил себе, что было бы очень хорошо, если бы пошла ко всем чертям и единственная партия, еще существовавшая в России. "А при ней что-то еще с нами будет? Неизвестно, куда идет Россия и чем все это кончится. Темна вода во облацех небесных!"

— Сегодня утром я буду занята, — сказала Эдда. — Если мы послезавтра улетаем, то надо уложить вещи.

— Для этого есть лакеи и горничные.

— Могут кое-что стащить. В Севилье заметим, так изволь оттуда писать жалобу в берлинскую полицию!

Рамон пожал плечами.

— Как тебе угодно, — сказал он. Ему становилось с ней все скучнее. Разговаривать было не о чем: в отличие от Шелля, она его идей не оценила, да и понимала его все-таки не вполне хорошо, хотя быстро сделала большие успехи в испанском языке. Теперь разговоры у них были однообразные: — "Вечером пойдем в театр". — "Хорошо, но куда?" — "Как жаль, что ты не знаешь по-немецки! С одним испанским языком далеко не уедешь". — "Как видишь, я живу с одним испанским языком и недурно живу". — "Ты жил бы еще гораздо лучше, если б знал, например, хоть французский язык. Я говорю по-французски как парижанка... Значит, в драматические театры идти не стоит". — "Ты могла бы пойти одна". — "Одна я не хочу. Опера тоже отпадает, я люблю только музыку Антона Веберна, а он опер не писал. Тогда пойдем в оперетку?" — "Хорошо, пойдем в оперетку". — "Какая сегодня погода?" — "Отвратительная. Это ты выбрала Берлин". — "Вчера была прекрасная погода. А где ты хочешь обедать?" — "Мне все равно. Может быть, здесь в гостинице? Я что-то устал". — "Почему устал? Я, напротив, горю жизнью. Я закажу сальми из какой-нибудь редкой дичи. И сегодня выпью много шампанского. Мне что-то хочется забыться". "Все в жизни трын-трава", — добавила бы Эдда, но не знала, как перевести трын-траву на испанский язык.

Все чаще случались размолвки. Как-то он купил ей браслет. Она была довольна, но браслет ей не понравился, и она его переменяла на серьги, — на длинных подвязках, огромные, рубиновые, почти страшные. — "Они идут к моему стилю, в них есть что-то фатальное. Это немного дороже твоего браслета, ты пошлешь им чек, правда?" Он послал чек, но рассердился, не из-за доплаты, а потому, что она должна была сохранить выбранный им подарок. Однако и размолвки казались Эдде благородными; с небогатыми любовниками они тотчас у нее сбивались на денежный спор и переходили в брань.

— Завтра я с утра уйду. Нужно сделать последние покупки, помнишь, я тебе говорила.

— Покупай что хочешь.

Она поблагодарила, не очень горячо, тоже по своему правилу: слишком будешь благодарить, меньше будет давать.

— К завтраку я, вероятно, вернусь. Если же нет, то позавтракай один. Будешь скучать? Зато вечером пойдем куда тебе угодно! Я на все согласна.

Вещи, впрочем, под ее наблюдением, укладывала горничная. Она

очень старалась для богачей. Эдда хотела было подарить ей старое недорогое платьё, но передумала: "Завтра как раз такое понадобится". Подарила что-то из старого белья.

По Берлину уже ходили тревожные слухи об ожидавшихся будто бы волнениях в восточной части города, но она о них ничего не знала: знакомых у них не было, с прислугой она не разговаривала, а с портнихами и модистками говорила о вещах, гораздо более интересных. Газет Эдда не читала; Рамон раза два в неделю просматривал испанскую газету, приходившую в Берлин с немалым опозданием.

Вышла она на следующий день очень рано, надела то старое платьё, запечатала в конвертик свою визитную карточку, — так в свое время указал Шелль. Велела шоферу остановиться довольно далеко от рубежа. Опять увидела мрачное предупреждение: "Achtung. Sie verlassen nach 80 M. West-Berlin", опять подумала, что, может быть, лучше бы не переходить, опять перешла и дальше направилась пешком. Возбудила в себе мрачные предчувствия, — считала, что это помогает: если заранее ждешь плохого, то выходит хорошее.

Она отдала конвертик дежурному офицеру. Приняли ее тотчас, это ее успокоило. Но войдя в кабинет полковника, она почувствовала: что-то неладно! Выражение его глаз, испугавшее ее еще при их первом знакомстве, теперь было просто страшно. Он не сделал вида, будто привстает, не подал ей руки, не ответил на ее заискивающую улыбку, только кивнул головой, да и кивнул не как люди, а быстро и резко опустил и тотчас поднял голову, причем угол рта у него дернулся.

— В какой день вы получили бумаги от американского лейтенанта? — не дав ей сказать слова, спросил он ледяным голосом. Эдда очень испугалась. Не сразу могла вспомнить; все же вспомнила и ответила точно.

— В какой день вы их передали куда вам было сказано?

— В тот же вечер, — ответила она и затряслась: вспомнила, что Джим велел передать пакет 18-го, а она передала днем раньше, из-за примерок.

Полковник смотрел на нее змеиным взглядом. Вид Эдды не оставлял сомнений в том, что уж она-то ни о какой дезинформации не думала. "Арестовать ее и отправить в Москву!" — подумал он в первую минуту. Но его безвинная вина стала бы в этом случае еще более тяжелой: начальство увидело бы, какой дуре он поручил важнейшее дело.

— Сказал ли вам этот лейтенант, когда надо передать пакет?

— Нет... Да, сказал... Кажется, он сказал, чтобы на следующий день, 18-го, — пролепетала Эдда, трясая все больше. — Но я думала... Я решила: чем раньше, тем будет вернее.

Теперь дело было вполне ясно. "Идиотка!" — подумал полковник. Лицо у него стало почти бешеным. На этот раз ему с особенной ясностью представилась нелепость того, что они делали. "Все ни к чему, все гадко, скверно, подло. Затягиваем людей в кровавое болото, даже таких дур, как эта... Вот уж именно убил черного зайца! Расставил капкан, надел свежие лапти!.." Он с некоторым облегчением подумал, что

зато не убил черного зайца и американец. "Тоже попался, как болван! Я сел в калошу, но и он со мной, хотя и не так, меньше. Конечно, это было его дело, это его стиль. Хитро, проклятый, затеял и еще не знает, что сорвался! Ничего, скоро узнает!.. Ему, впрочем, за это не покажут кузькину мать, не то что мне..."

Он страшным взглядом смотрел на трясущуюся Эдду. И неожиданно полковник сказал себе, что если б его агентка не была идиоткой, то именно в этом случае американцу удался бы дезинформационный замысел. "Конечно, так! Только из-за ее глупости нам удалось заметить обман, — Он вдруг подумал, что незачем губить эту женщину. — Мне пропадать, а она пусть уносит ноги. Никто не может знать, что она опять меня навестила. Карточка была в конвертике, сейчас ее уничтожу. Пользы делу от ареста никакой, мне скорее вред. Пусть она идет к..."

— Я вас прогоняю со службы! Убирайтесь вон! Не смейте показываться мне на глаза! — сказал полковник.

### XXXIII

В этот день 17 июня в обеих частях Берлина стали исчезать надписи "Ami go home", которыми берлинцы старались дразнить американцев довольно unsuccessfully: "Ami" к этому привыкли в разных европейских столицах и почти не обращали внимания: понимали, что люди всегда благодетелей не любят и тут ничего не поделаешь. Зато с утра в восточной части города мальчишки, и не одни мальчишки, орали "Uhri! Uhri!" Так грабители в 1945 году кричали берлинцам, срывая с них часы.

Граница между двумя мирами проходила у Бранденбургских ворот, по улице Эберта, по Постадамской площади. К ним стекались люди с разных концов Западного Берлина. Говорили, что в восточной части города идут манифестации, что их расстреливают, что пущены в ход советские танки, что повсюду горят дома, что убиты тысячи людей: Где-то вдали поднимался дым. У рубежа было ранено и несколько жителей западных кварталов. Молодые люди перебежали через Бранденбургские ворота и швыряли камнями в Воро: Volks polizei; она отвечала выстрелами. В толпе ахали и спорили: — "Да ведь это бессмысленно! Чем могут помочь камни!" — говорили одни. — "А по-вашему, ничего не делать и смотреть в бинокли!" — возмущенно отвечали другие. — "Союзники не могут этого так оставить! Они сегодня же двинут войска!" — "Какие войска? У них и войск нет!" — "Если здесь нет, то есть в других местах!" Никто в Западном Берлине войны не хотел; напротив, все ее смертельно боялись. Но в этот день почти у всех было смутное желание, чтобы события приняли "грандиозный характер", о котором зловеще-неясно писали газеты.

По ту сторону Бранденбургских ворот, симметрично, на одинаковом расстоянии один от другого стояли советские танки и грузовики. Вид у советских солдат был очень мрачный. Какой-то смельчак взбрался на верхушку ворот, держа что-то в руке. За ним следили с волне-



нием: "Сейчас убьют! Сейчас начнут стрельбу!" Красный флаг упал, вместо него появился черно-красно-золотой. Толпа разразилась рукоплесканиями.

Эдда сидела в кофейне и тряслась всем телом, как никогда в жизни до того не тряслась.

Выйдя от полковника, она спешила к станции подземной дороги чуть не бегом, хотя это было неблагоразумно. Держалась обеими руками за сердце, прижала к нему и сумку. "Что такое? Господи! Что я сделала? Просто непонятно! Отчего он взбесился?.. Арестуют! Увезут!.. Но он арестовал бы там же? Передумает! Пошлет погоню!"

Станция была закрыта. "Забастовали!" — радостно сказал кто-то. "Только этого не хватало! Такси? Опасно! Да и нет их! Как быть? Господи, лишь бы дойти домой!"

Кто-то пробежал мимо нее, быстро поставил у решетки огромную фотографию Карла Маркса со срезанной бородой и понесся дальше. Эдда из последних сил бросилась бежать. Недалеко от площади была кофейня. "Нет, опасно, здесь меня его люди отыщут! Надо замести следы". Вбежала в другую кофейню, подальше, там было много людей. Повалилась на стул у первого свободного столика, в темноватом углу, далеко от окна. "Здесь не найдут, не могут знать, куда я зашла..."

К ней долго никто не подходил. Она немного отдышалась. Прислушалась, не поворачиваясь, к разговорам за соседними столиками. До нее доходили слова: "Schluss!.. Schlimm!" "Что такое происходит? Они говорят о восстании! Здесь восстание? Господи! Зачем только я пошла!" Старалась понять, за что рассердился полковник, и не могла. "Ну, сдала на день раньше. Если б еще рассердился Джим, было бы понятно, а ему-то что, проклятому!"

Подошел лакей и мрачно спросил, чего она хочет. Эдда подумала, что надо бы спросить пива или кофе, так будет беднее, социалистичнее. — "Нет, выпить чего-либо очень крепкого". Она без воды проглотила пилюлю. Угрюмый лакей принес ей двойную рюмку Weinbrand'a. "Дать ему на чай марку, а то выдаст!.. Нет, марку нельзя, это вызовет подозрения! И те увидят!" Опять прислушалась к разговорам. "Да, так и есть, восстание! Будь они прокляты! Не могли отложить на два дня! Мы были бы уже в Испании... У Франко порядок, он молодец, он их знает!"

Кофейня была старая, когда-то под что-то подделывавшаяся, с огромным очагом, с пивными кружками и фарфоровыми тарелками по стенам и на полках, одна из тех разбросанных по всей Германии бесчисленных кофеен, где в свое время уютно пылали и трещали дрова, где бывали Амедей Гофман или Захарий Вернер, если не Альбрехт Дюрер и не Ульрих фон Гуттен. К концу войны кофейня захирела. Эдда, тяжело дыша, думала, что будет, если ее задержат у Железного занавеса. "Через день Рамон заявит западной полиции, она примет меры, при его деньгах везде все можно сделать! Но ведь полиция вскроет ящик в столе и найдет фотографию — ту фотографию! Господи, Рамон

тогда ничего для меня не сделает. Он просто уедет один! И денег не оставит ни гроша! И увезет все свои подарки!.. Я пропала!"

Она решила пробраться пешком домой. На улицах как будто ничего страшного не происходило, только вид у людей был необычайно мрачный и злой. Вдруг издали послышались выстрелы. Эдда ахнула. Хотела было побежать назад в кофейню. "Да ведь и там могут убить! Кажется, именно с той стороны и стреляют!" Она побежала в прежнем направлении. "Уже не очень далеко... Лишь бы перейти!.. Лишь бы перейти!.. А там я от него потребую, чтобы сегодня, непременно сегодня же, улететь в Испанию или куда угодно! Куда будет аэроплан, туда и улетим!" — думала она. И вдруг ей пришло в голову, что вся ее жизнь была ошибкой, что везде, в самом безопасном месте, с деньгами или без денег, ее существование будет, как всегда было, жалким и постыдным.

Из боковой аллеи на площадь выходила толпа. Манифестанты шли в порядке, чуть ли не в ногу, шли с флагами и с пением. Эдда прислушивалась и могла кое-как разобрать слова: "Ulbricht, Pick und Grotewohl, — Wir haben von euch die Schnauze voll!" "Значит, это не коммунисты? Разве за ними и пойти?" Толпа с тротуаров бешено аплодировала манифестантам. Вслед за ними медленно выехали грузовики с немецкими полицейскими. У них в руках были пулеметы. Вид у полицейских был тоже очень хмурый, как будто и очень смущенный. Сразу наступила тишина.

— Свины! — вдруг истерическим голосом закричала женщина с метлой, стоявшая недалеко от Эдды. И точно этого крика все ждали — толпу прорвало бешенством:

— Подлецы!.. Убиваете братьев!.. Перевешивайте их на фонарях!..

Женщина с отчаянным визгом сорвалась с тротуара и, высоко подняв метлу, бросилась к последнему грузовику. Полицейский, побледнев, навел на нее ручной пулемет. — "А-а-а! — бешено завизжала женщина, — стреляй, подлец, стреляй!" Рев стал диким. Какой-то молодой человек в куртке выбежал из подворотни, визко изогнулся, откинувшись на бок, и швырнул камнем в грузовик. В ту же секунду послышались выстрелы. Женщина выронила метлу и, схватившись за живот, продолжала стоя кричать. Позади нее на тротуаре, еле ахнув, повалилась Эдда. Она была убита наповал.

### XXXIV

С раннего утра полковник №1 получал в своем кабинете донесение за донесением. Он был гораздо лучше осведомлен, чем другие, но и он знал немного. Ему было во всяком случае ясно, что "грандиозного характера" эти события сами по себе никак принять не могут: как только вошли в город советские танки, успешное восстание стало совершенно невозможным. "Вооруженные восстания могут теперь удаваться разве только в Азии или в Южной Америке, а это вдобавок не вооруженное, а безоружное восстание". Ему приходили в голову разные соображения, — как, например, события отразятся на положении правительств

ва Аденауэра? Усилятся ли социал-демократы или, напротив, христианские демократы? Он предпочитал вторых, но ничего не имел и против первых. Большого значения это, по его мнению, не имело. "А обвинять будут все равно администрацию: она ничего не предвидела. Так, когда умирает больной, то всегда говорят, что его плохо лечили, что можно было вылечить".

Важнее было другое. "Конечно, коммунисты объявят, что беспорядки устроены нами. Само по себе, и это неважно, но вдруг они хотят предлога для войны?" Несмотря на свою осведомленность, полковник не имел твердого мнения о том, хочет ли советское правительство войны в ближайшее время или нет. Многие говорили в пользу каждого из двух предположений. "Правда, предлог им не очень нужен, могут хватиться за что-либо другое. Но если выбрали это? Перевес в силах у них сейчас еще велик. Что бы ни случилось, он будет понемногу уменьшаться, рискуют упустить момент. Может быть, сегодня, сейчас, в эту самую минуту, у них в Кремле идет бурный спор: воспользоваться ли этим предлогом? Будь Сталин жив, вероятно, воспользовался бы. Нынешние скорее не решатся: еще не утвердились, еще не свели счетов между собой. Все же возможность не исключается: соблазн велик, fifty-fifty. И от этого зависит судьба человечества! Да, кошмарная вещь холодная война. Хуже, чем она, только война настоящая".

В середине дня ему стало известно, что убитые исчисляются десятками, а раненые сотнями. Полковник сождел о погибших людях, считал дело безнадежным, но и он не мог отделаться все от того же смутного, страшного и радостного чувства: что-то сдвинулось! "Восстание! Первое у них восстание!" Это мирило его с немцами. Не понимал, каким образом народ, показавший такую храбрость в двух войнах, без выстрела сдался Гитлеру. "Быть может, и война. То, что происходит, это лишь эпизод — кровавый эпизод — в холодной войне. Не мы холодную войну начали, мы готовы прекратить ее в любую минуту, лишь бы ее прекратили те. И если даже это восстание окажется как бы предисловием к мировой войне, то ответственность несем не мы".

Дела у него было не так уж много. Он принимал донесения, сопоставлял и группировал сведения, отправлял доклады по начальству. Для всего этого лучше было не выходить из своего кабинета. "На месте" никто ничего или почти ничего не видит. Здесь картина много яснее. Но ему в кабинете не сиделось. "Туда теперь и не пропустят". Поездка в восточную часть города, да еще на американском автомобиле, была связана с немалым риском. Это не было доводом ни против поездки, ни в пользу ее: как Шелль, полковник знал, что упрека в трусости он может не опасаться. "Но если б и пустили, то именно с провокационной целью: чтобы скомпрометировать и наше правительство, и меня, и восставших".

Проехать же к Железному занавесу, к Бранденбургским воротам или к Постдамской площади, можно было. Полковник велел подать автомобиль. Обычно он правил сам, на этот раз взял с собой шофера. Еще издали он увидел дым, стоявший в разных местах над восточным

Берлином. Стрельба была не очень сильна: все же это была давно не слышанная им стрельба, в былые времена его оживлявшая. К Бранденбургским воротам валили люди. Вид у них был очень угрюмый и вместе с тем тревожно-радостный.

Оставить автомобиль пришлось на довольно большом расстоянии от ворот: сплошной стеной стояла многотысячная толпа. Другому человеку и не удалось бы пробраться вперед, но полковник был в мундире, перед ним все расступались, он прошел довольно быстро. Видел, что все на него смотрят, точно он сейчас сделает что-то очень важное. "Не хотят же они, чтобы я объявил войну России!" Он ясно чувствовал и то, что ожидание грандиозного понемногу ослабевает, к вечеру ничего не останется.

Полковник думал о положении в мире не иногда в свободное время или за чтением газет, как громадное большинство людей: он думал об этом беспрестанно, в течение долгих лет, с этим была тесно связана его профессия, об этом говорили получавшиеся им ежедневно многочисленные донесения. Но именно теперь, в гневной, бурлившей, несколько стихавшей при его приближении, толпе ему точно впервые стала совершенно ясна трагедия, которую переживал мир. Справа затрещал пулемет. "Расстреливают безоружных, дело нетрудное. Да и вооруженное восстание не имело бы никаких шансов на успех. Люди пошли на безнадежное дело просто от отчаяния... Все зло в мире от них! Когда же и как положить конец их делам? И не только их делам, но и им самим? — думал полковник. Им овладела ненависть, вообще мало ему свойственная. — Много у нас было ошибок, но от них все зло в мире, от них и почти исключительно от них! В чем другом я могу со временем и переменить мнение, но не в этом: они, именно они несут миру зло и гибель! Так я буду думать до конца моих дней, и ни один честный и неглупый человек не может с этим не согласиться!"

Он остановился у пролета и заглянул в другой мир. На площади стояли хорошо ему известные танки Т-34, грузовики с советскими солдатами и немецкими полицейскими. К воротам с той стороны подъехал открытый автомобиль. Из него вышел советский полковник.

Он тоже в течение всего утра получал сообщения с разных сторон Берлина. Распоряжения и от него зависели мало, этим ведали другие должностные лица. Тем не менее его ответственность была велика: он отвечал за действия иностранных агентов, отвечал даже в случае, если никаких действий не было, но признавалось необходимым, чтобы они были. Полковник пробовал себе говорить: "Семь бед, один ответ", однако понимал, что эта седьмая беда окончательно его погубит. Он вышел из своего служебного кабинета почти в отчаянии, тщательно скрывая его от подчиненных. Многие от него отворачивались. Слухи об его опале уже ходили в этом здании, хотя причины были толком никому неизвестны.

То, что происходило в Берлине, можно было назвать и "народным восстанием", и "уличными беспорядками". Он знал, что официально

будут говорить о беспорядках, вызванных иностранными агентами. Предполагал, что беду наделало кукольное правительство восточной Германии. По распоряжению разных Ульбрихтов и Гротевелей, которых он уж совершенно презирал, была вдвое понижена заработная плата аристократии труда, называвшейся по-ученому квалифицированными рабочими. "Забавно, что эти олухи действовали "из демократизма": они хотели, чтобы квалифицированные получали столько же, сколько неквалифицированные. Было бы в нынешней конъюнктуре демократичнее не понижать плату первым, а повысить ее вторым. Так было и у наших: уравниловка по низшему уровню. Дорого обошлось и нашим, очень дорого платит Россия за все, что они делают! А немцам, верно, забыли сказать, или они решили проявить независимость, вдруг на этом сойдет. Ан не сошло, будет крепкий нагоняй, если не что-либо гораздо хуже". В другое время полковник очень порадовался бы нагоняю Москвы ее немецким лакеям. Но теперь ему было не до того. Помимо грозившей ему личной опасности, он, при своих менявшихся взглядах, испытывал и чувство, сходное с чувствами американского полковника: это был какой-то реванш немцев. У них восстание. "Но и у нас были восстания! — отвечал он себе. — И восстания, неизмеримо более кровопролитные, только их скрывали, и происходили они не в Берлине, на виду у всего мира, а в нашей никому не видной глуши. А эти свободоловцы своего Гитлера приняли с полным удовольствием, им неприятен только иностранный деспотизм..."

Его самого удивляло, что он теперь ставил чуть не в заслугу немцам восстание против той власти, которой он служил. "Что ж делать, так оно и есть... Да, моя песенка спета. Буду сир, наг, гладен и хладен... Уж к этому делу меня пришьют наверное: не предупредил, не сообщил, не схватил иностранных агентов. Они ведь сами иногда начинают верить хоть части того, что сами же и выдумают. Не убью черного зайца! Мои наглыши будут в восторге... "Кури Хара сделал себе хакакири", — вспомнил он глупую шутку, веселившую людей на Потсдамской конференции, когда покончил собой Кури Хара, японский посол в Анкаре. — "Чему быть, того не миновать... У каждого из нас есть мечта о черном зайце, а убивает своего один человек из ста".

Его автомобиль пронесся по улицам, на которых не было стычек, и остановился у Бранденбургских ворот. Полковник еще издали увидел другой флаг и громадную толпу, собравшуюся на окраине того мира. Несмотря на свои новые мысли, он к ней чувствовал только злобу. "Глазеее, господа демократы, в бинокли смотрите? Ну и смотрите. Уж вас-то мне никак не жаль, слишком вы глупы!" — подумал он, выходя из автомобиля, и неторопливо направился к воротам. Он заглянул в пролет и узнал стоявшего прямо против него американского полковника.

С минуту они смотрели друг на друга. Хотели было отвернуться и не отвернулись. Подумали, не отдать ли честь, но не отдали. Да и значились в одном чине.

Конец

# МОИ ВСТРЕЧИ С АЛДАНОВЫМ

Эти свои заметки я хотел назвать "Мой друг Алданов". Но слово "друг" требует обоюдного согласия, требует разрешения, и хотя я уверен, что такое разрешение Марк Александрович мне дал бы, — а может быть, даже удивился бы, что я его прошу, — все же не решаюсь словом этим в печати пользоваться. Друзей у Алданова после его смерти неожиданно оказалось много, и едва ли все они действительно были ими прежде. А кто действительно имел право считать себя его другом, и кто сам себя в друзья возвел, разбирать теперь не к чему, как и не к чему сомнительный список этой увеличивать.

Впрочем, у друзей "самозванных" есть оправдание. Алданов был в обращении со всеми так естественно-приветлив, так внимателен, что у человека, встретившегося с ним в первый раз и беседовавшего полчаса, могла возникнуть иллюзия, будто наладилась отношения прочные и действительно дружеские. Я знаю такие примеры и знаю, что Марк Александрович бывал в этих случаях сам слегка удивлен. Он по-видимому не отдавал себе отчета в том, насколько его доброжелательность редка и как она располагает к нему людей, порой искавших встречи с ним только для помощи в каком-нибудь литературном деле или для отзыва о рукописи.

Да, это был редкий человек, и даже больше чем редкий: это был человек в своем роде единственный. За всю свою жизнь я не могу вспомнить никого, кто в памяти моей оставил бы след... нет, не то, чтобы исключительно яркий, ослепительный, резкий, нет, тут нужны другие определения: след светлый и ровный, без всплеск, но и без неверного мерцания, т.е. воспоминание о человеке, которому хотелось бы в последний раз, на прощание, крепко пожать руку, поблагодарить за встречу с ним, за образ, от него оставшийся. Я ничего не преувеличиваю, не впадаю в

стиль и склад "похвального надгробного слова", да и слишком уж много времени прошло со смерти Марка Александровича, чтобы стиль этот был теперь еще нужен. Пишу я то, что думаю и чувствую. Для меня близкое знакомство с Алдановым было и остается одной из радостей, в жизни испытанных, и я убежден в обоснованности, в правоте этой радости. Нелегко ее объяснить. Алданов был человеком, в котором ни разу не пришлось ощутить ничего, что искажало бы представление о человеке: подчеркиваю — "ощутить", а уж о том, чтобы заметить, не могло быть и речи. Ни разу за все мои встречи с ним он не сказал ничего злобного, ничего мелкого или мелочного, не проявил ни к кому зависти, никого не высмеял, ничем не похвастался. — ничем, ни о ком, никогда. Конечно, мне могу возразить, — и наверно возразит: ну что же, ничего плохого, значит ничего и хорошего, ни жара, ни холода, сплошная теплота, а помните, как старик Верховенский перед смертью с содроганием цитировал Апокалипсис. "О, если бы ты был холоден или горяч, но поелику ты тепл?" Найдутся люди, которые что-нибудь в этом роде непременно скажут, не сомневаюсь.

Скажут люди и другое, — и это, кстати, говорил Ремизов, в числе многих иных: Алданов боялся дурного отношения к себе, был болезненно чувствителен ко всякой критике и будто бы только поэтому старался всех к себе расположить. В порядке самозащиты, в порядке "собаки дворника".

Не буду спорить, Алданов был действительно к критике чувствителен, действительно огорчался и даже волновался, если слышал не вполне одобрительные о своих писаниях отзывы. Бессмысленно было бы это отрицать. Но на каком основании устанавливается связь между этим его свойством и обращением его с людьми? Чем внушено соответствующее, вполне произвольное

---

*Георгий Викторович Адамович (1894-1972), поэт, литературный критик, эмигрант с 1923 года.*

умозаключение, хитрая, насмешливая догадка, делаемая с видом "меня-то ты не проведешь, я-то тебя, голубчик, насквозь вижу?" Исключительно тем, конечно, что люди судят о других по себе. Никогда Алданов не дал ни малейшего повода к тому, чтобы считать такие догадки верными. Да если даже допустить, — только допустить, — что в какой-то мере он действительно себя "оберегал", то выдержать такую манеру в течение долгих лет, создать и поддерживать в течение долгих лет впечатление совершенного душевного "джентльменства", ни разу себе не изменив, можно было бы только при наличии таких черт в действительности. Алданов действительно с досадой и недоумением смотрел на "человеческую комедию" во всех ее проявлениях. Интриги, ссоры, соперничество, самолюбование, счеты, игра локтями, — все это в его поведении и его словах полностью отсутствовало, а что же скрывать, все это в умирительной неприкосновенности сохранилось и в нашем эмигрантском быту, где делить, казалось бы, уже почти нечего, в частности сохранилось в нашем все скудеющем силами литературном мире, где поистине должно было бы приобрести оттенок комический, если бы только это "не было так грустно". Надеюсь, мне никто не припишет лицемерного желания отмежеваться от большинства литераторов, выделить себя, выставить себя каким-то душевным чистилькой или святошей: нет, я выделяю одного Алданова, и оттого-то и говорю о нем с удивлением, что, проверяя себя, нахожу в себе то же, что в разных дозах вижу у других. "Il ne suffit pas d'être heureux, il faut que les autres ne le soient pas". — "Недостаточно быть счастливым, надо, чтобы другие не были счастливы", — и, к сожалению, приходится признать, что Жюль Ренар, сдавший в своем дневнике эту ужасную запись, знал людей очень хорошо. Даже до этого все мы дошли: случается, чужая удача скорей огорчит, чем обрадует.

Бывали ли, мелькали ли у Алданова, наедине с собой, чувства, хотя бы отдаленно похожие на это? Не знаю. Но преодоления этих чувств в такой полноте, такого неподдельного отвращения к ним я не видел ни у кого.

\* \* \*

У него в нашей литературе было меньше сторонников, или, как сам Марк Александрович нередко выражался,

"почитателей", чем это принято думать. В особенности среди писателей сравнительно молодых, принадлежащих к тому поколению, которое с легкой руки В.Варшавского повелось у нас теперь называть "незамеченным". К этим "незамеченным" я был близок и знаю, от чего он остался им чужд. Но кое в чем соглашаясь с критиками Алданова, признавая отдельные их упреки справедливыми, я все же любил и ценил в нем многое, что их смущало: в частности, его скептицизм в отношении поэзии, и даже самую "анти-поэтичность" его писаний, отсутствие лжи.

К сожалению, мне пришлось бы говорить о себе, чтобы это объяснить. Ограничусь лишь несколькими словами. Давно уже, с самой ранней юности, занимаюсь стихами — и шире, поэзией, я вынужден признавать, что осадок остался у меня в уме и душе довольно горький. Это — не пересмотр сделанного в жизни выбора, не отречение от поэзии, а наоборот — потребность остаться ей верным. Поэзия не может и не должна быть мечтой, капризом, сновидением, прихотью, экзотической фантазией, словесной игрой, — иначе ей грош цена. Сколько жульничества вокруг нее, сколько самодовольства, самоупоения, кокетства, какая беззаботность в отношении единого, общего человеческого дела, той "работы Господней", о "трудности" которой вздохнул перед смертью Владимир Соловьев! В нашем темном и бедном мире мало подлинных поводов к поэзии, мало топлива для ее пламени, и оттого многое, что к ней причисляется, похоже скорей на те ослепительно вспыхивающие и потрескивающие звезды, без малейшего тепла, которые под рождественской елкой вертят в руках дети. Несколько секунд блеска — и конец, никакого следа... Нет, не стоит здесь обо всем этом говорить, добавлю только, что замечания мои вызваны не нашими здешними, эмигрантскими стихами, а поэзией "вообще", включая и многих иностранцев, порой с громкими именами. Платон рекомендовал правительствам идеальной республики отводить поэтов на границу государства с почетельной просьбой больше не возвращаться. При теперешних государственных нравах отсюда недалеко было бы и до концентрационных лагерей! Лучше поступить иначе: не обращать внимания. Пишите, если хочется, пожалуйста, никто вам не мешает, но не считайте себя существами высшего порядка и не принимайте "легкости в

мыслях необыкновенную" за отличительный признак вдохновения.

Меня подкупала в Алданове его трезвость, — и грусть, как вывод из трезвости или как результат ее. Трезвый взгляд на мир, пренебрежение к декорациям, к мишуре. Есть у него страница о старике-писателе, французе Вермандуа, на ночь читающем Гете: страница, которую ради простоты и человечности сказанного, ради чувства круговой поруки, ее внушившего, следовало бы помнить поэтам, склонным вслед за Бальмонтом воскликнуть: "Я зову мечтателей, вас я не зову", — хотя бы по заблуждению своему они теперь Бальмонта союзником и не считали. У Алданова замечательно то, что Вермандуа ничуть не прикрашен: нет, он — сибарит, он — слабоволен и готов на любой компромисс, он — светский, усталый человек, но очень счастливый, но очень несчастный, в сущности самый обыкновенный человек. Но мужество автора именно в том, что от имени обыкновенного человека он говорит о вещах тоже обыкновенных — и при этом неотвратимых. К ним бы должна сначала обратиться и поэзия, — чтобы пройти через них, а не мимо них. Чтобы их "преобразить", как говорили символисты. Если блеска и взлетов после этого окажется в ней мало, то жалеть не о чем: значит, и обмана меньше.

\* \* \*

Алданов постоянно и настойчиво говорил, что ничего в стихах не понимает. Он не любил Блока, а когда после какого-нибудь особенно резкого о нем отзыва, будто спохватившись, добавлял, что "конечно, талант был огромный", или что-нибудь в этом роде, то делал это несомненно из уважения к блоковской славе и престижу: Блок — знаменитый поэт, следовательно, и в высшей степени талантливый поэт. "А в стихах я ведь разбираюсь плохо".

Однажды он мне сказал, однако, что больше всего в русской поэзии любит стихи Пушкина последних лет его жизни, — т.е. те именно удивительные, сухие, ясные, мало мелодические и будто окончательно зрелые, "взрослые" пушкинские стихи, в которых Белинский, — прости ему это, Господи, — усмотрел упадок таланта.

В другой раз он вспомнил, что по мнению Ходасевича лучшее русское стихотворение — песня председателя в "Пире во время чумы":

*Все, все, что гибелью грозит...*

Спорить было трудно: стихи действительно гениальные. Но я промолчал, и это по-видимому его заинтересовало: вы, кажется, не согласны? Нет, я был согласен, хоть и с оговоркой, что лучшего русского стихотворения или лучшего русского поэта вообще нет и быть не может, — как не может быть лучшего растения в поле или лучшей звезды на небе. Есть "самое любимое стихотворение", и в этой плоскости я с Ходасевичем, пожалуй, разошелся бы. У Пушкина я выбрал бы последний монолог Татьяны, "сегодня очередь моя", и в особенности строфу:

*А мне, Онегин, пыши сть эта...*

Это действительно чудо скромности, глубины, правдивости ума, сдержанности и вместе с тем длительности в отзвуках, и если есть русские стихи, над которыми можно без стыда почувствовать на глазах слезы художественного восторга, то по-моему именно эти. Песнь председателя все-таки чуть-чуть опера, чуть-чуть ходули, в какой-то мельчайшей доле — "литература". Здесь внутренний тон ничуть не ниже, а какая непринужденность и простота! Если Пушкин был когда-либо действительно греком, то именно здесь, вложив в речь Татьяны нечто неизмеримо большее, чем точный смысл ее слов: это противостоит всему романтизму, выдерживает натиск всех позднейших, после греков поднявшихся, бурь, тоски, безбрежных порывов, это отвечает Паскалю, средневековым соборам, "Тристану"... Ну, насколько помню, Марку Александровичу, по складу наших с ним разговоров я того, что сейчас крайне сбивчиво, в уступку давним своим декадентским склонностям, написал, — этого я ему не говорил. Я всегда отчетливо чувствовал, о чем, и в особенности как, с ним говорить можно и на какой черте следует остановиться. Одно дело было разговаривать в три часа ночи на Монпарнасе, например, с Поплавским, только в такого рода беседах чудесно и расцветавшим, или со Штейгером в бесконечных моих с ним вечерних блужданиях по Ницце, другое, совсем другое — днем, при ярком солнечном свете, за чашкой "трезвого" кофе с Алдановым. Но что-то о монологе Татьяны я сказал ему неверно.

А через день-два встретил его, и он сразу, с необычным для себя волнени-



ем, заговорил о последней главе "Онегина", которую, очевидно, дома перечел. "Да, да, изумительно, совершенно изумительно!" — повторял он, и добавил: "Кажется и Льву Николаевичу это очень нравилось". Не знаю, на чем была основана его ссылка на Толстого, — ни в одной известной мне книге такого указания нет, — но само по себе его обращение к Толстому за поддержкой своего восхищения было характерно: он произносил эти два слова "Лев Николаевич" почти так, как люди верующие говорят "Господь Бог".

\* \* \*

Воспоминания мои о Марке Александровиче связаны главным образом с Ниццей, чудной и милой Ниццей, где он жил после войны постоянно и где я проводил летние месяцы. Ницца должна бы остаться в русской литературе как город почти что "свой" после того, что сказал о ней Тютчев, да позже и другие, вплоть до Ахматовой. Гоголь, впервые туда попав, лаконически отозвался: "Ницца — это рай" (в письме к Жуковскому). Правда, Салтыков-Щедрин сказал несколько иначе: "Ницца — это международный б.....", — но о ком и о чем Щедрин говорил без раздращения?

Алданов Ниццу любил чрезвычайно. Мы встречались раза два или три в неделю в маленьком кафе на площади Моцарта, — "Мозар" по-французски, — с квадратным садиком напротив и высокими пальмами в парке соседнего дорогого отеля. Ничего особенно привлекательного, по крайней мере по ниццским мерилам, на площади этой не было. Но Марк Александрович, прикрывая ладонью глаза от солнца, повторял: "Где же еще можно найти такой вид!" В эти годы ему уже тяжело становилось ходить, он редко добирался до моря, но и здесь было небо, "нетленно синее" по Тютчеву, была особенная, темная, будто лакированная южная зелень, и ему этого было достаточно.

Неизменно приходил третий собеседник, Леонид Леонидович Сабанеев, — и не только никогда не бывало скучно, но теперь, с прекращением этих встреч, они остались одним из тех редких воспоминаний, к которым не примешано ничего досадного или сколько-нибудь омрачающего. Было бы, конечно, преувеличением сказать, что разговор держался сплошь на высоком, отвлеченном уровне, — нет, были и

пустяки, и сплетни, было все то, без чего при частом общении обойтись трудно, да и не к чему. Иногда Алданов все же с улыбкой говорил: "Позвольте, как же так, мы с вами еще не выяснили, кто больше, Толстой или Достоевский!" В самом деле, литературные наши разговоры почти всегда кончались Толстым и Достоевским, — как, вероятно, будут на них и ими кончаться русские разговоры еще долго, лет сто, если не больше. Это завещанный нам, всей русской судьбой очерченный нам круг, из которого не выйдешь. Алданову, впрочем, малейшее сомнение насчет того, кто "больше", представлялось нелепостью и даже кощунством, — хотя о Достоевском он говорил если и с холодком, то без бунинского, с каждым годом усиливавшегося пренебрежения. К стати, когда-то в присутствии Бунина он сказал, — по моему, очень верно, — что великая русская литература началась лицейскими стихами Пушкина и кончилась на "Хаджи-Мурате".

Бунин полушутливо, полуворчливо возразил:

— Ну, Марк Александрович, зачем же такие крайности? Были и после Толстого недурные писатели!

Но задет он не был, очевидно сразу согласившись, что теперь вопрос только в том, как бы не слишком стремительно с больших высот скатиться.

Повторяю, что я не пишу "похвального слова", а вспоминаю, перебираю в памяти накопившиеся впечатления, пытаюсь свести их в одно, с уверенностью, что не вспомню ничего, о чем хотелось бы промолчать. Были в облике Алданова и черты, над которыми люди недостаточно к нему доброжелательные, подтрунивали: подчеркнутая корректность, внимание к установившимся приличиям и традициям, способность вежливо и терпеливо слушать даже явные глупости, полное отсутствие всякой "богемности" в манере держаться и жить. В России, в дореволюционные времена, таких людей называли "европейцами", — хотя теперь, ближе к европейцам присмотревшись, мы убедились, что далеко не все они таковы. Но в прежнем русском значении слова Алданов был именно "европейцем", и как будто даже был озабочен тем, чтобы своей репутации ничем не повредить. Над этим посмеивались, более или менее добродушно. Но нет на свете человека, у которого при желании нельзя было бы найти ничего могущего вызвать улыбку, и алданов-

ские свойства, в сущности, недостатком не были. Они совпадали с его общим отношением к жизни и им нетрудно было бы найти оправдание. А когда кто-нибудь упоминал о "человеке в футляре", хотелось ответить, что у нас, в нашей матушке-России, хваленая наша национальная "бесфутлярность" доходит порой до таких пределов, что правильнее было бы охарактеризовать ее совсем другим словом. К сожалению и к стыду нашему, это теперь обнаружилось и в высокой международной политике.

У Алданова не было в этом смысле ничего такого, чем лубочно-русский стиль испокон веков отличается. Как-то, лет десять тому назад, в Париже я был в русском театре. В том же ряду, что и я, несколько в стороне, сидел пожилой драматург, автор нескольких пьес, в том числе одной, давшей ему всероссийскую известность, — хотя это и плохая пьеса. Увидев знакомую молодую даму, тремя рядами позади, он зычно, во всеулышание к ней обратился:

— Мамочка! А, мамочка! Был я вчера у таких-то на блинах. Слышите, а? На блинах! Ну, доложу я вам, и блинки! Умереть!

По одной фразе судить человека нельзя. Вполне возможно, что это был прекрасный человек, — как знать? Но надо было родиться в России, надо было усвоить снобизм, улавливая все то несносно-развязное, демонстративно-"широкое", вызывающе-напористое, неискоренимо-"рассейское" — "знай наших", "рубаха-парень", "душа нараспашку", — да, все то, что за одной такой фразой может таиться, чтобы от мамочки и блинчиков тебя передернуло. Это мелочь, а ведь вот удержалась в памяти, и едва ли случайно. Спасибо Алданову, что память о нем не только от таких мелочей чиста, но и остается как будто плотной, защитой от них.

\* \* \*

В последние годы он часто говорил о смерти, почти всегда иронически. "Вот увидите, скоро вам придется писать:

— Телеграф принес печальное известие..."

Смерти он, кажется, не боялся и был убежден, — впрочем, это тоже мне только "кажется", — что после нее нет ничего, базаровский лопух на могиле. Он верил — насколько удавалось

мне догадываться, — только в случай: все, решительно все происходит в мире случайно, ничего нельзя предвидеть, ничего нельзя ждать, и самая жизнь, возникающая на какой-то ничтожной пылинке в необозримой и непостижимой вселенной есть тоже приблизительно такая же случайность, как выигрыш в лотерее с миллиардами и квадриллионами билетов.

Но он боялся "кондрашки", — его выражение, а не мое, и характерно, что, вообще-то таких слов избегая, он тут им пользовался, несомненно с тем, чтобы не слишком тяготить собеседника, серьезно и печально тона не вызывая неловкости, — боялся "кондрашки", т.е. удара, после которого человек иногда превращается в живой труп. Судьба оказалась к нему милостива и умер он скоропостижно.

Почти всегда после смерти близкого человека возникает чувство, что многого не успел ему сказать, — из того, что сказать хотелось бы, — или даже не "не успел", а не решился, не подумал, отложил на "когда-нибудь". Но, пожалуй, мне и трудно было бы сказать Марку Александровичу то, о чем я сейчас пишу.

Надо, значит, сказать другим. У Шамфора, одного из тех глубокомысленных французских остроумцев, к которым он чувствовал пристрастие, есть изречение, в оригинальном тексте необыкновенно отточенное по форме:

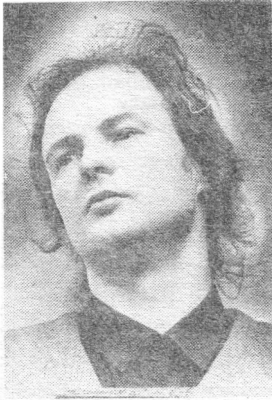
"Кто долго жил, долго всматривался в людей, у того сердце должно или разбиться, или окаменеть".

У всех нас сердца в результате долгого жизненного опыта окаменевают, а разбиваются — у избранных. Но я рад, что знал человека, в общении с которым можно было обойтись без этого рокового "или-или". Даже и в воспоминании.

В царстве случая, без посторонних судов, без воздаяний, без наград как будто "все позволено": прямой логический вывод. Но если "там" ничего нет, то "здесь" наверное, несомненно есть жизнь, а в ней и без нашего добровольного сотрудничества — достаточно бедствий, боли, невзгод. Не будем же её еще ухудшать, — как бы говорил Алданов. И прожил в согласии с тем, что о жизни думал.

"НОВЫЙ ЖУРНАЛ" (Нью-Йорк),  
1960, №60.

# СИТУАЦИЯ



Латышский поэт  
ЭДУАРД АЙВАР (Айвар  
Эялурс) родился в  
1958г. в Саулкрасты.  
Учился на  
филологическом  
факультете Латвийского  
университета. Работает  
заместителем  
редактора детской  
газеты "ЛаБА". Издал  
книгу стихов "Танцы"  
(1990)

Перевел Дмитрий КУДРЯ

\* \* \*

По плотно утрамбованному тракту  
Мы уходили к беззаботным дням.  
Гурьбой валили в славные края,  
По одному чужие шли обратно.

\* \* \*

Гадает жизнь — где ставить точку  
(Хоть и не сделал я все, что мог).  
И двое вновь поодиночке.  
И никого. И — никого...

\* \* \*

Весь мир за тебя заходит  
Как солнце за край земли на закате,  
Когда ты лежишь вот так —  
Руки раскинув смешно.

\* \* \*

Сосны привстали на цыпочки  
Под голубым небом  
И нагнулись вперед немного,  
Как женщины, чтобы лучше идущего разглядеть.  
Идущего нет и нет,  
А сосны уже распрямиться не могут.

## БОГЕМА

Он швырнул в меня  
Головой умного человека  
(Это была его лучшая скульптура).  
А рядом, на фоне окна  
Стояла Она.  
Чахоточная, обнаженная.

Тончайшие платьица на ветру.  
Вдруг начинается лето.

\* \* \*

— Смотрите, смотрите, лечу! —  
Захлебываясь, кричу.  
Как неприятно потом вспоминать,  
Что не умею я тихо летать.  
(Полет, конечно, короткий).

\* \* \*

За мной — муравейники.  
Я медленно умираю, их охраняя.  
Под муравейниками — родники  
Так чертовски чисто звучат.

\* \* \*

Приглядимся к игре горизонта.  
Это одна моя старая идея.  
Сами останемся на месте.  
Есть только одно условие:  
Участвуют те, кто ощущает  
присутствие  
(Желание, которое ищет само себя).

## КАРТИНКА

Гарцующий конь.  
Это я могу представить легко.  
Однако на нем всадник.  
Сейчас меня интересует  
Именно всадник.

## СИТУАЦИЯ

Меня спросили: "Который час?"  
Я наклоняю клюв.  
"Будьте любезны, который час?"  
Я наклоняю клюв.  
"Вот идиот", — бурчание.  
"Не идиот, — отвечаю. — Я птица".

\* \* \*

Я был Никто.  
Я есть Никто.  
И буду еще долго...  
Я выдержу.

# КОПЕНГАГЕНСКИЙ ДИАЛОГ

Перевел Леон ГВИН

Участвуют:  
Анни М.  
Вальтер Г.  
Кристиан Б.  
Петра Кс.

Имена действующих лиц изменены.  
Анни 66 лет, Вальтеру — 43, Кристиану — 59,  
Петре — 25.

Действие происходит в конце сентября или в  
начале октября 1941 года в Копенгагене.

*Сам Бог не в состоянии превратить  
то, что уже свершилось, в никогда  
не бывшее.*  
ГАЛИЛЕЙ

За столиком Анни М. делает выписки из книги. Перед ней кофейник и чашка.  
В дверях появляется Петра Кс., молчит.

Анни. Петра...

Петра. Доброе утро.

Анни. Подойди поближе.

Петра. Что вам угодно?

Анни. Ты манкируешь обязанностями прислуги.

Петра. Отнюдь нет. Я как раз собиралась спросить, вскипел ли кофе?

**Анна.** И вы позволите предложить вам чашечку?

**Петра.** Целых две. Спасибо.

**Анна.** Не трожь кофейник! У тебя дрожат руки. Я сама налью.

**Петра.** Премного благодарствуем.

**Анни.** Ну? Как тебе это поило?

**Петра.** Нет слов.

**Анни.** А теперь, арийская беспутница, скажи, где ты пропала этой ночью.

**Петра.** Прожигала жизнь.

**Анни.** Все там же?

**Петра.** Мгм.

**Анни.** И много вас было?

**Петра.** Чергова дюжина. Как всегда.

**Анни.** Видать, прикладывались?

**Петра.** Потому руки и трясутся.

**Анни.** Фуй.

**Петра.** Что же нам, ждать прикажете, пока немецкие солдаты вылакают все запасы из датских погребов?

**Анни.** Конечно, конечно, надо спасать закрома родины. Патриотическая акция.

**Петра.** Ну, я-то, наверное, никогда не стану настоящей патриоткой. Мой желудок просто не принимает эту ольборгскую водичку. Сгораю от стыда, но это так.

**Анни.** Есть выход — уменьшить патриотическую дозу.

**Петра.** От ребят отставать нельзя. Я просто не имею права подрывать их боевой дух. Вчера еще один к нам присоединился. Солдат. Между прочим, немецкий.

**Анни.** Напоить его хотела?

**Петра.** Не стоило и начинать. На нем живого места нет.

**Анни.** Не обольщайся, инвалид тоже может быть опасен.

**Петра.** В каком смысле?

**Анни.** А вот дойдут слухи о ваших вечеринках до немецкого командования. Время военное, на разные там гулянки смотрят косо.

**Петра.** Чепуха! Господа немцы в полном восторге от того, что в Дании все пьют и веселятся. Мы же радуемся избавлению от своей национал-шовинистической клики, которая внушала нам, подумать только, что датчане не немцы. Ишь, что себе позволяли! Разве мы не говорим по-немецки, ладно, пускай на уродливом диалекте? Разве мы не белокурые арийцы? А вернуться в лоно могучей германской нации — разве это не благо и не величайшая честь для нас?

**Анни.** Говоришь как по писаному. "Фёлькишер беобахтер". За какое число?

**Петра.** За любое — ошибиться невозможно. И почему это датчане обходят эту газету стороной? А если и возьмут в руки — не понимают, что там написано. Ведь все предельно ясно изложено — белым по черному.

**Анни.** Ты, кажется, оговорила.

**Петра.** А вот и нет. У нас теперь все шиворот-навыворот. Черное — это белое, доброе — это дурное. Еврей — не человек.

---

*МАРТИНЬШ ЗИВЕРТ (1903-1990) — латышский драматург. С 1944 г. жил в Швеции, где и умер. Урна с прахом писателя была перевезена в Ригу.*

*Среди пьес М. Зиверта — "Шут", "Китайская ваза", "Женитьба Мюнхгаузена", "Нефть" и др.*

*В основе пьесы "Копенгагенский диалог" (1980) — действительная встреча в датской столице во время войны гениальных физиков, обсуждавших проблему атомного оружия. Несмотря на то, что автор замаскировал своих персонажей, они узнаваемы: Нильс Бор (1885-1962), Вернер Гейзенберг (1901-1976), Лизе Майтнер (1878-1968)\*. В диалоге еще упоминаются Отто Ган (1879-1968), Фриц Габер (1868-1934), Энрико Ферми (1901-1954), Роберт Оппенгеймер (1904-1967), Эдвард Теллер (р. 1908). Перевод выполнен по тексту, опубликованному в журнале "Карогс" (1982, №2).*

\* Указано академиком Я.П.Страдынем.

**Анни.** Эт сэтэра. Спасибо, это мне без тебя известно. Ну, а что твой немец? Что за птица?

**Петра.** Я же сказала, солдатик. В самом начале войны его как следует тряхануло, был ранен. Лечился в Риге, в госпитале, потом перевели к нам в Данию на поправку. Скоро отправят назад на фронт — откормили на убой.

**Анни.** Петра! Нехорошо подтрунивать над ближним, даже если это немец.

**Петра.** Он сам трунит.

**Анни.** Кем он был в цивиливной жизни?

**Петра.** Журналистом. Да с арийским паспортом, видать, заковывка вышла. Вот и угодил на передовую. Но вообще он многое знает. И читает запоем. Даже газеты.

**Анни.** Газеты — врут.

**Петра.** В каждой лжи есть крупица правды. Цитата. Его слова. Надо только уметь выковырять ее оттуда. Он умеет. Кому как не газетчикам знать, как стряпается ложь.

**Анни.** И что же он тебе поведал?

**Петра.** Ничего особенного...

**Анни.** Пожалуйста, не лги!

**Петра.** Да, как же. Станет он распускать язык перед незнакомой девушкой, да еще датчанкой. Так, с пятое на десятое.

**Анни.** А именно?

**Петра.** Сказал, что... (Умолкает, сомневаясь — продолжать или нет).

**Анни.** Ну?

**Петра.** молчит.

**Анни.** Что ты пялишься на меня как дура!

**Петра.** Анни, дорогая... тебе нельзя тут дольше оставаться. Тебе надо испариться...

**Анни.** Это еще почему?

**Петра.** Ты и так в Дании подзадержалась... Соседи, верно, обратили на тебя внимание.

**Анни.** Жители соседних домов отлично знают, кто я такая, — все это мои друзья! Чего мне бояться? Датской полиции? Меньше всего!

**Петра.** Да, соседи — наши друзья, это так. Но шпиков тоже хватает. Пойми, Анни, Дания оккупирована. Мы больше не хозяева на своей земле. Случись что, и датская полиция не уберезет тебя от немецких жандармов. А у них лапы длинные. Всюду шныряют филеры, следят за каждым подозрительным человеком. Говорят, что...

**Анни.** Что — говорят?

**Петра.** Что составляются списки датских евреев.

**Анни.** Сплетни.

**Петра.** Может быть, не знаю. Но когда мы узнаем, слухи это или нет, будет поздно. И поэтому я...

**Анни.** Что ты надумала?

**Петра.** Поговорю с профессором, когда он вернется из лаборатории.

**Анни.** Он уже вернулся. Возится у себя в кабинете.

**Петра.** Надо бы его позвать. Я не могу начинать дело без его ведома.

**Анни.** Какое еще дело?

**Петра.** С рыбаком, который переправит тебя в Швецию. Ночью.

**Анни.** Ночью? Почему ночью?

**Петра.** Потому что на пароме нельзя. В порту немецкие патрули.

**Анни.** У меня шведский паспорт.

**Петра.** Это тебя не спасет. Но ты согласна с моим планом?

**Анни.** Нет.

**Петра.** У профессора и так забот хватает. Не надо его обременять. Сами справимся. Анни, прошу тебя...

**Анни.** Я бе-жать не собираюсь.

**Петра.** Учти, я на тебя наябедничаю.

**Анни.** Ты? Ты не посмеешь сказать ему ни слова.

**Петра.** А вот и скажу — и прямо сейчас!

**Анни.** Замолчи — и сию же минуту. Профессор идет.

На ходу читая письмо, появляется Кристиан Б.

Анни. Доброе утро, профессор!

Кристиан. Доброе утро, милые дамы. Ранехонько же вы поднялись, судя по кофейнику.

Анни. Присоединяйтесь, профессор. Кофе хватит и на вашу долю.

Петра. Присаживайтесь, пожалуйста. Наверное, встали спозаранку и ничего с утра не ели. Я приготовлю вам бутерброд.

Кристиан. Не надо бутербродов. От чашечки кофе действительно не откажусь.

Анни. Неужели приходил почтальон? Я вижу, у вас в руках письмо.

Кристиан. Это? Оно пришло со вчерашней почтой. Просто я забыл вам показать.

Анни. Добрые вести?

Кристиан. К сожалению, наши почтальоны приносят все больше худые вести.

Анни. Тогда ни к чему и показывать. Кофе стынет. Может, все-таки бутербродец, а?

Кристиан. Нет, нет! Полнею не по дням, а по часам. А ведь недавно был едва ли не лучшим лыжником среди физиков.

Анни. А я, между прочим, слышала, что лучшим был Гейзенберг.

Кристиан. Ерунда! Может, Гейзенберг и числился лучшим, зато я был первым!

Анни. Разве это не одно и то же — лучший и первый?

Кристиан. Конечно нет! Превзойти лучшего всегда возможно, а первого — никогда, первой его уж не будет.

Анни. Профессор! Стоило нам заговорить о физкультуре, как вы тут же переключились на физику!

Кристиан. Это одно и то же.

Анни. Что-то не пойму. Одни работают ногами, другие — головой.

Кристиан. Чемпионы умственного спорта напрасно тешатся своим превосходством. Конечности у людей более развиты, чем голова. Но кое-кто из нас сообразил, что голова без ног — это не то, что ноги без головы. Да. Взять нашего друга Отто Гана. Считает себя первым глупцом среди германских физиков. А сам впервые расщепил урановое ядро, и ведь умником это представлялось невозможным. Да. Понятно, появятся физики и лучше Гана, но он навсегда останется первым. Да. С катанием на лыжах дело вот какое. В этом физколлективе лучший тот, кто первым спустится с горы, а в нашем физколлективе тот, кто первым вскарабкается наверх. Вот и вся разница. Физкультура и физика. Кстати, в последней мне слегка повезло.

Анни. Слегка?

Кристиан. Взобрался я первым, да, но всего лишь на холм. А впереди горные вершины — и кому-то улыбнется удача.

Анни. С вами, профессор, положительно невозможно беседовать. Физика, физкультура — все вперемешку. Поговорим лучше об искусстве.

Кристиан. Это значит, у вас опять одни шалости на уме, Анни? И какого же рода, позволите узнать?

Анни. А не махнуть ли нам в кино на вечерний сеанс? Мощный фильм, говорят. Ковбойский!

Кристиан. Неужели? Ковбойский — и мощный?

Анни. Не верите? Вот газета, почитайте. Герой палит без промаха из двух револьверов зараз. И даже пиф-паф из-под коня!

Кристиан. С ума сойти! Грешно не посмотреть. Только сначала заглянем в записную книжечку — что у нас на сегодня. Сколько на ваших золотых, Петра?

Петра. Девять тридцать.

Кристиан. Совпадает.

Петра. А что, ваши барахлят?

Кристиан. Ходят как часы. Но с тех пор как Эйнштейн искривил время, нельзя полагаться на одну пару, для сверки нужна вторая.

Анни. Что там в расписании?

Кристиан. Так-так: в десять вечера встреча с Черным Петером. Много времени это не займет, через полчаса вернусь. Завтрак в десять тридцать на кухне. Возражений нет, Петра?

Петра. Нет. А дальше?

Кристиан. С двенадцати до четырнадцати — семинар по теорфизике. Обед, значит, в пятнадцать.



**Анни.** А вечером?

**Кристиан.** Вечером? Ничего. Ах, извиняюсь! Совсем забыл. Сейчас занесем в святцы.

**Анни.** Что занесете?

**Кристиан.** Подкову.

**Анни.** Какую еще подкову?

**Кристиан.** Вот. Нашел утром на дороге.

**Анни.** И в карман!

**Кристиан.** Для того и существуют карманы, чтобы руки были свободны.

**Анни.** И притащили грязную железяку в дом!

**Кристиан.** Но Анни! Подкова приносит счастье.

**Анни.** Что вы с ней намерены делать?

**Кристиан.** Вы плохо подкованы в этом вопросе. Что же, по-вашему, делают с подковами на счастье? Прибивают гвоздями над входной дверью, чтобы отвести беду.

**Анни.** И вы туда же?

**Кристиан.** О да! Прибьем, прибьем. Петра разыщет стремянку и поможет мне.

**Анни.** Вы мракобес, профессор! Слыхала, Петра: подкова на счастье! Знаменитый ученый — к тому же физик... и верит в приметы!

**Кристиан.** Я не верю, Анни, ни в какие приметы, нет, не верю! Но... эта штука помогает и в том случае, если ни во что не веришь.

**Анни.** Господи помилуй! В этом доме все слегка помешались — даже Петра...

**Кристиан.** Ах да, прекрасно, что вы о ней упомянули. У меня к ней разговор, только забыл, о чем. Нет, вспомнил. Ведь она тут как-то интенсивно флиртowała с каким-то немцем. Да! Они забились в угол и перешептывались. Отчего в углу, к чему шепотом? Нет, тут что-то не так.

**Петра.** Подгнило что-то в Датском королевстве.

**Кристиан.** Попрошу без демагогии. Расскажите нам, пожалуйста, о чем вы переговаривались.

**Петра.** Ну, этот немецкий солдат...

**Кристиан.** ...бывший журналист, получил ранение — и так далее: эти басни я уже слышал. Но что он вам рассказывал?

**Петра.** Да так, пустяки. Не знаю, с чего и начать.

**Кристиан.** С фюрера, разумеется, — как и положено достойному гражданину.

**Петра.** Ладно, с фюрера так с фюрера. Но это все тот журналист говорил, а не я, учитите...

**Кристиан.** У него знакомства в высоких сферах?

**Петра.** Газетчики — они, знаете ли, не выдают источник своей информации. Дело ваше. Хотите верить — хотите нет.

**Кристиан.** Мы поверим. Вперед!

**Петра.** Значит, так: в своем личном кинозале Гитлер просматривает разные-всякие фильмы. Присутствуют генералы и чины службы безопасности, все как обычно. И среди них один человек, которого никак не назовешь немцем.

**Кристиан.** Да ну? Есть там еще и такие?

**Петра.** Допустим, нет — мы бы так никогда и не узнали, что таких там нет... Словом, крутили жуткий фильм с трюками — туманный Альбион, вид сверху. Вдруг над островом зависает немецкий супербомлет с супербомбой. Чудовищный взрыв — и Британский остров разлетается на куски, которые падают в море и погружаются в пучину. Дым рассеивается — и Англии больше нет, на ее месте плещутся волны...

**Анни.** Дурацкая фантазия.

**Петра.** Ясно дело, дурацкая. Но Гитлер бил себя по ляжкам от восторга и вопил: здорово, так им и надо — мы им еще покажем!

**Анни.** Просто безумец.

**Кристиан.** Нет, Анни, он куда опаснее безумца. Это маньяк. Слабоумного индивида распознать нетрудно, и его тотчас помещают в соответствующее заведение. А маньяк — он сам помещает туда весь народ, запирает ворота и прячет ключ в карман. Боясь, за торжествующими воплями фюрера кроется истина. Может, то самое новое оружие, о котором все вокруг судачат. Что же думает об этом ваш солдат?

**Петра.** Он думает, что чудо-оружия у них нет. Пока нет.

**Кристиан.** Но будет.

**Петра.** Возможно. Со временем.

**Кристиан.** Он не упоминал об атомах — или не говорил что-нибудь в этом роде?

**Петра.** Нет, профессор, он ведь не ученый. Другое дело — штука, о которой я сейчас скажу.

**Анни.** Можешь не стараться, Петра. Я сама скажу, если найду нужным.

**Кристиан.** Так говорите, прошу вас. Что вас беспокоит?

**Анни.** Несносная девочка!

**Кристиан.** Почему же несносная?

**Анни.** Она прогоняет меня.

**Кристиан.** Ах, вот как. Гм.

**Анни.** Я приехала сюда повидаться с людьми, поболтать со старыми друзьями, попить за чашечкой кофе... а мне указывают на дверь. И мой профессор только неопределенно хмыкает по этому поводу.

**Кристиан.** Да, кофе отменный. Налейте мне еще, Петра. Так, значит, вот о чем она заговорила с вами.

**Анни.** Наслушалась сплетен про какие-то списки датских евреев.

**Кристиан.** Нет дыма без огня.

**Анни.** Слухи, слухи.

**Кристиан.** До меня тоже кое-что доходило. По-видимому, не совсем беспочвенные слухи.

**Анни.** В Польше — да, там, возможно, и творятся всякие ужасы. Польша — наглухо закрытая страна, а миру невдомек, что в ней происходит. Но чтобы в Дании, на виду у всего света — нет, никогда! Совершенно невозможно.

**Петра.** Не когда-нибудь, Анни, а сейчас. Не здесь еще, но поблизости — за нашим заборчиком, в соседнем загоне. И никакие это не сплетни. Есть свидетельство человека, который видел все своими глазами...

**Кристиан.** Что видел? Где и когда? И это все тот же немец, о котором ты нам уже все уши прожужжала?

**Петра.** Да. И я знаю наверняка — ему можно верить.

**Кристиан.** Чему верить? Что он говорит?

**Петра.** Тебе, Анни, я боялась сказать. Но если профессор настаивает... ладно. Хотя все это кошмар, однако ты должна знать правду. Этот раненый лечился в рижском военном госпитале. Однажды ему разрешили прогуляться в город, и он решил поглядеть, что творится за пределами госпиталя. Вышел на улицу — навстречу бегут перепуганные люди, а другие сломя голову несутся туда, откуда мчатся первые. Это настолько его озадачило, что в нем проснулся журналист. Он прибавил шагу и вскоре очутился у синагоги, обнесенной железной оградой. Там стреляли. В людей. В синагоге укрывались люди...

**Кристиан.** Какие люди? Конкретно?

**Петра.** Евреи — местные и беженцы из Польши.

**Кристиан.** Откуда ему было знать, что они из Польши?

**Петра.** Это он потом выяснил. Под конец убийцы прикончили и тех, кто пытался спастись во дворе.

**Анни.** Прекрати!..

**Петра.** Их расстреливали среди бела дня, на виду у всего света, как ты изволила заметить.

**Кристиан.** Кто стрелял? Люди в форме?

**Петра.** Да. Но не в немецкой форме. В другой.

**Кристиан.** Постановка Гиммлера. Первое публичное представление маскарада. Божью, нам недолго ждать второго.

**Анни.** Но ведь мир не допустит...

**Кристиан.** Мир? Будет стоять за оградой и вежливо протестовать. Но вам, Анни, от этого ни холодно, ни жарко. Суда с беженцами — немецкими евреями — уже давно бороздят моря и океаны, и ни одна страна их не принимает. Ведь все их имущество и капиталы остались в Германии, они разорены, а кому нужны нищие. Бедняки, спасайтесь сами. Я тоже не смогу долго оставаться в Дании. Немецкие шпики установили за мной наблюдение. Петра уже собрала мой чемодан, он стоит наготове в лаборатории. Но я не имею права бежать, пока нужен здесь. Для вас, Анни, препятствий нет.

**Петра.** Ты можешь вернуться в Швецию. Будешь там в безопасности, по крайней мере на время.

**Анни.** Проклятые датчане, что вам до меня!

**Кристиан.** Пока вы живете в моем доме, я за вас отвечаю.

**Анни.** Моя жизнь принадлежит мне самой. Я не боюсь.

**Петра.** А вот я боюсь — за всех нас. Ты думаешь только о себе. А что случится с профессором, если немцы узнают, что ты у него гостила? Что будет с его семьей? И со мной, раз уж я на тебя не донесла? Протри глаза, или ты не видишь, на каком ты свете? Ты рискуешь не только своей жизнью, ты играешь чужими головами. Нашими.

**Кристиан.** Петра знает, что говорит. К сожалению, это так.

**Анни.** Господи помилуй! Мне и в голову не приходило, что я вас всех ставлю под удар...

**Кристиан.** Сегодня нам еще ничего не грозит, Анни. У Петры нервы шалют, но ее можно понять. Она думает о том, что будет завтра. Ситуация начала приобретать угрожающие очертания. В Париже, к вашему сведению, всех евреев согнали в гетто. Если французы не в состоянии защитить своих сограждан, смогут ли это сделать датчане? Вот почему вы не можете дольше здесь оставаться.

**Анни.** Да-да, понимаю. Пускай Петра договорится с этим рыбаком.

**Петра.** Сегодня же пойду подходящего человека.

**Кристиан.** Нам всем надо быть начеку. Анни, прошу вас, не выходите из дому. Это мера предосторожности. Не подходите к телефону, трубку пусть снимает Петра — она знает, как отвечать на звонки.

**Петра.** Вам пора, профессор.

**Кристиан.** Да, Значит, договорились. Через полчаса я вернусь, может, что-то прояснится. До свидания, милые дамы.

**Петра.** Профессор!..

**Кристиан.** Ау?

**Петра.** В другие двери.

**Кристиан.** Да, лучше через черный ход.

Удаляется.

Анни в раздумье присаживается за столик.

Петра, проводив профессора, возвращается в комнату.

Анни. Петра...

Петра. Да?

Анни. Убери посуду. И принеси мне, пожалуйста, книгу, она у профессора на столе.

Петра. Какую книгу?

Анни. Стихотворения Гейне.

Петра. Сейчас. Да вот же она.

Анни. Открой.

Петра. Что я должна найти?

Анни. Ничего. Просто открой наугад и прочти три строчки, куда ткнешь пальцем. Читай же. Что говорит поэт?

Петра. Поэт говорит:

Uns alle hat es belogen,

Uns alle hat es betrogen —  
das sonnige Märchen vom Glück.

Анни. Спасибо. Дальше я сама.

Петра собирает и уносит посуду.

Анни на какое-то время погружается в чтение. Звонок. Она поднимает голову и ждет, чтобы появилась Петра. Но та не появляется.

Анни. Петра! (Никто не отвечает. Анни подходит к дверям, потом к окну, отодвигает краешек занавески. Увидев кого-то, отшатывается, бежит к черному ходу, но вдруг останавливается. Пауза. Потом она подкрадывается к окну и снова глядит в щелку. Не-

терпеливый звонок.)

Анни отворяет дверь.

Анни. Прошу.

В дверном проеме стоит немецкий офицер в чине майора — это Вальтер Г., — прикладывает руку к козырьку.

Анни. Проходите, пожалуйста...

Вальтер входит и снимает фуражку.

Анни. Чем могу служить?

Вальтер. Мне нужен господин профессор.

Анни. Господина профессора нет дома.

Вальтер. Жаль. Уехал? Надолго?

Анни. Вышел. Будет через полчаса. Не угодно ли подождать...

Вальтер стягивает перчатки.

Вальтер. Я подожду.

Анни. Извольте. Вам будет удобнее за столом. Чтобы не было скучно, может, чашечку кофе?

Вальтер. Нет, спасибо.

Анни. Почитать что-нибудь не хотите?..

Вальтер. Охотно. Вот, кстати, и книга.

Анни. Сборничек Гейне. Нет, нет — я понимаю, несколько неподходящее чтение. Есть свежие немецкие газеты...

Вальтер. Уже прочел в поезде. А вот Гейне что-то долго не попадался. Пожалуй, его мне хватит.

Анни. Как вам угодно. Не стану мешать, пойду в другую комнату. Если что-нибудь понадобится, постучите вон в ту дверь. В общем... (кивает и собирается уходить).

Вальтер. Минуточку!..

Анни. Да? Я вас слушаю. (Вальтер молчит). Наверное, хотите кофе?..

Вальтер. Но... ведь это вы, Анни!

Анни. Да, Вальтер, это все еще я — и пока на этом свете...

Вальтер. Сколько лет, сколько зим!

Анни. Не то пять, не то шесть.

Вальтер. Но вас не узнать, вы очень постарели...

Анни. Вальтер!

Вальтер. Простите, ради бога, я хотел сказать — поседели.

Анни. И вы, знаете ли, не сделались моложе. Что ж тут удивляться..

Вальтер. А я и не удивляюсь. Я все понимаю. Времена не сахар, а для вас особенно. Но у нас в Берлине считают, что вы очутились в Голландии, оттуда удрали в Швецию. И вдруг я вижу вас в Копенгагене. В чем дело?

Анни. Вам это не нравится?

Вальтер. Совсем не нравится.

Анни. Отчего же?

Вальтер. Датский климат вам вреден.

Анни. Значит, и вы так думаете?

Вальтер. Кое-кто думает точно так же, не правда ли?

Анни. Правда. Но я тут долго не задержусь. Теперь не задержусь. Может, уже сегодня отправлюсь назад, в Швецию. Вот везуха — ко всему и вас встретила. Ну, расскажите мне, как там в Берлине. Как поживают наши друзья?

Вальтер. Без перемен. Работаем. Над прежними темами. Разница только в том, что все наши нынче в мундирах щеголяют.

Анни. Их мобилизовали — как и вас?

Вальтер. А что, разве у меня не бравый вид?

**Анни.** Даже очень. В первый момент я вас не узнала. И струхнула не на шутку.

**Вальтер.** Думали, за вами пришли?

**Анни.** Что-то вроде этого. И тогда у профессора были бы неприятности из-за меня.

**Вальтер.** Вы мне не ответили насчет Копенгагена.

**Анни.** Гощу у друзей, вспоминаем старые добрые времена.

**Вальтер.** А среди шведов у вас друзей нет?

**Анни.** Друзья что вино: многолетней выдержки вино пробуешь без опаски, а от молодого голова болит. Я права?

**Вальтер.** Что-то вроде этого.

**Анни.** А вас какими ветрами сюда занесло?

**Вальтер.** Появилась возможность навестить своего профессора. И друга.

**Анни.** У ж он-то обрадуется!

**Вальтер.** Еще бы! Десять лет не виделись. Боюсь, он меня уже не помнит.

**Анни.** Ну что вы! Ведь вы были его самым способным студентом, потом сотрудником, другом.

**Вальтер.** Да. Самое прекрасное время в моей жизни. Работали вместе, ковырялись в физических проблемах. Я ведь был ассистентом, и мне приходилось часто варить кофе — вон там, на кухне.

**Анни.** Как видите, прошлое возвращается.

**Вальтер.** Это мы возвращаемся в прошлое.

**Анни.** Поговорим лучше о настоящем. Так как поживает наша берлинская компания? Что поделявает мой старый приятель Отто Ган? Его случаем не того — из-за меня?

**Вальтер.** Вовсе нет! Правда, Эдиту Ган пришлось поместить в клинику нервных больных, а он сам ничего, более-менее.

**Анни.** Как это — ничего?

**Вальтер.** Над ним не каплет, никто ему не указ. Может спокойно продолжать свой исследования. По собственному усмотрению.

**Анни.** Разве это привилегия?

**Вальтер.** Еще какая! Ведь его имя внесено в списки политически неблагонадежных.

**Анни.** Господи помилуй! Значит, он подвергается преследованиям?

**Вальтер.** Нет. Нет. Будь Ган ничтожной букашкой, его давно раздавили бы. Но сегодня, сегодня это невозможно — что скажет мир! Ведь Ган уже обгоняет Эйнштейна. Нет, с Отто Ганом режим не может поступить так, как с другими физиками, у нас в Германии физиков и без того мало осталось, раз-два и обчелся!

**Анни.** И тем не менее его имя в списке неблагонадежных.

**Вальтер.** Временно. Потому что — как знать: может, его мозги еще пригодятся. Некоторые генералы догадываются, что с открытием Гана мир приобрел новое качество — открылись необозримые возможности.

**Анни.** Урановая бомба! И для этой цели они намереваются использовать честного ученого!

**Вальтер.** У вас, Анни, светлый ум: вы мгновенно схватываете самые простые вещи. И про урановую бомбу знаете.

**Анни.** Спасибо за комплимент. О бомбе теперь всюду говорят, даже в газетах пишут. У Гитлера будет чудо-оружие, и вся планета падет к его ногам. А вы, Вальтер, тоже помогаете создавать это оружие?

**Вальтер.** Будто вы не знаете.

**Анни.** Да-да, вы изменились. Из вас слова не вытянешь. Что у вас там творится в Германии?

**Вальтер.** Бродит молодое вино.

**Анни.** Химические процессы. Порой они очень длительные. А я не могу ждать. Расскажите-ка еще что-нибудь... Значит, Гана они решили использовать повторно. Дьявольский план.

**Вальтер.** Но очень практичный.

**Анни.** А Ган не может эмигрировать?

**Вальтер.** Коли вам не разрешили, где уж Гану.

**Анни.** Он может бежать — как я.

**Вальтер.** Ган не станет бежать, даже если и сможет.

**Анни.** Почему?

**Вальтер.** Потому что он немец — как я. Бежать, вы говорите? Куда, позвольте вас спросить? Из одной тюрьмы в другую? Живи я сегодня в Америке, мне все равно пришлось бы проектировать урановую бомбу — точь-в-точь как в Германии. Физики перестали быть честными учеными — сегодня это подмастерья на всемирной бойне. Не у всех хватит духу, как у Гана, сказать: "Нет, над бомбой смерти трудиться не буду!"

**Анни.** Как я рада, что у него все хорошо!

**Вальтер.** Хорошо?

**Анни.** Вы так сказали.

**Вальтер.** Я сказал, что он может спокойно работать, но я не говорил, что у него все хорошо.

**Анни.** Но его не преследуют?..

**Вальтер.** Он сам себя преследует.

**Анни.** Господи помилуй!

**Вальтер.** С тех пор как президенты и генералы затеяли суету вокруг урановой бомбы. Ган живет в постоянном страхе, что эта идея в самом деле станет реальностью. Тогда истребят миллионы, и это, думает он, будет моя вина. Вещь это он первый высвободил из узда нейтрон. Вот почему ваш старый приятель Ган с каждым днем впадает во все более глубокую депрессию. Пожалуй, добром это не кончится. Абсурдные фантазии опасны, Анни.

**Анни.** Опасны. Но у Гана, знаете ли, это не фантазия, и прошлое уж не абсурдная. Это его прошлое.

**Вальтер.** Вы говорите загадками.

**Анни.** Разве профессор вам ничего не рассказывал?..

**Вальтер.** Мы всегда обсуждали только то, что видели своими глазами. В лаборатории. Копаться в прошлом у нас не было ни времени, ни желания.

**Анни.** А сейчас у вас есть время? Немножечко?

**Вальтер.** Неполных полчаса, как вы сами заметили, до возвращения профессора.

**Анни.** И с ним вы опять будете толковать о зримом настоящем?

**Вальтер.** Скорее о будущем. Ну, а пока мы можем вернуться в прошлое. Так что вы хотели сказать о Гане?

**Анни.** Особого секрета тут нет, хотя сам он упоминает об этом крайне неохотно. И все прочие тоже как воды в рот набрали. Хотя чужая беда — это наука, как убеждать от своей. Вы еще молоды, Вальтер, вы всегда были на коне, ваше горе-злосчастье вам еще не повстречалось, но не зарекайтесь. Думаю, вам нелишне будет знать, как оно повстречалось Отто Гану. В прошлую войну его взяли по мобилизации — вот как вас, например. Поскольку он был химик, его включили в газовую команду. И велели подготовить емкости для хлора. Ведь предстояла первая газовая атака. Это было под Ипром.

**Вальтер.** Разве Ган не знал, что применение отравляющих веществ запрещено Гаагской конвенцией?

**Анни.** Знал. И сказал об этом без обиняков командиру специального соединения Габеру. Но тот не отменил приказа, поскольку и у французов были наготове газовые снаряды. Только немцы применили газы первыми.

**Вальтер.** Дальнейшее мне известно.

**Анни.** Нет, Вальтер, ничего вам не известно. Для Гана это было только начало. В дальнейшем его перебрасывали с одного фронта на другой. Всюду, где немецкое наступление приостанавливалось, появлялась команда Гана со своими газометами — в Италии, Галиции, Польше, на Рижском фронте. Под Ригой он и сам отравился. Дело в том, что хлорного газа оказалось мало, решили перейти на фосген. Гану самому пришлось начинать фосгеном артиллерийские снаряды, так как не было обученных солдат, которые умели бы обращаться с этой не совсем безобидной штукой.

Вальтер вскакивает.

**Анни.** Я совсем не хотела пугать вас, Вальтер. Мне очень жаль...

**Вальтер.** Пожалуйста, продолжайте...

**Анни.** После одной из газовых атак на польском фронте Ган впервые увидел огромное число отравленных русских. Люди в окопах, изнемогая, корчились в агонии. Он дал

некоторым кислородные маски, но было поздно. Фосген куда опаснее синильной кислоты.

**Вальтер.** Бедняга Ган...

**Анни.** Он чувствовал, что замаран с головы до ног — ученый, которого по приказу превратили в убийцу — человека, умертвившего множество людей. Видения прошлого преследуют его до сих пор.

**Вальтер.** Его мобилизовали...

**Анни.** Да, был приказ командира полка, и лейтенант применил газ. Понять его можно и даже оправдать, но как ему совладать с самим собой?

**Вальтер.** А командир полка? Что случилось с ним?

**Анни.** В конце войны он куда-то исчез. А когда снова объявился на горизонте, то носил такую густую бороду, что даже старые друзья его не узнавали.

**Вальтер.** Значит, знал за собой вину.

**Анни.** Опасался, что после войны его будут судить как военного преступника.

**Вальтер.** Его следовало расстрелять!

**Анни.** Он сам застрелился.

**Вальтер.** Еще до суда?

**Анни.** Нет. Его не судили. Габеру присудили Нобелевскую премию.

**Вальтер.** Так это Фриц Габер командовал газовым полком! Фриц Габер!

**Анни.** Он самый. Гений, первый химик своего времени... Вы сказали, Ган угнетен, подавлен... я боюсь за него. Беда не ходит одна. Правда, она еще только приближается...

**Вальтер.** Мне искренне жаль, что я навел вас на грустные размышления. Сменим пластинку. Каждый день случается что-нибудь новенькое.

**Анни.** Не вижу в этом ничего хорошего.

**Вальтер.** Какие-никакие, а перемены. Надо только верить в свою звезду. Можешь не можешь, а верить надо. Возьмем вас — вы бежали, и вам посчастливилось попасть в Швецию. А там перед вами открылся весь мир. Захотели — и съездили к друзьям в Копенгаген.

**Анни.** Это просто случай.

**Вальтер.** Он-то все и решает. Я не верю в рок, рока не существует. И это прекрасно. Ничто не предопределено заранее. Мы сами распоряжаемся своей судьбой. От случая зависит только способ, как мы это делаем.

**Анни.** Пожалуй, подвернулся удобный случай выпить чашечку кофе, от которой вы, правда, с гордым видом отказались.

**Вальтер.** Теперь не откажусь.

**Анни.** Превосходно! В Германии вам такой кофе и не снился. А нам сейчас подадут Петра!

**Вальтер.** Петра? В мое время здесь никакой Петры не было.

**Анни.** Это новая служанка профессора, видимо, он ее нанял недавно. Готовить не умеет, но кофе варит — отменный! Верно, не слышала. (Открывает дверь в коридор.)

Петра!

**Петра** (из кухни). — Да?

**Анни.** Сваргань-ка нам кофейничек датского мокко.

**Петра.** Сей момент.

**Анни.** Не момент, а миг. Когда речь идет о кофе, Петру подгонять не надо.

**Вальтер.** Значит, отличная прислуга.

**Анни.** Вы переменили бы свое мнение, если бы познакомились с ней поближе.

**Вальтер.** У нее есть недостатки?

**Анни.** Всего один, но зато какой: обожает командовать.

**Вальтер.** Но ведь не профессором, я полагаю?

**Анни.** И как еще!

**Вальтер.** В мое время, помнится мне, командовать было некому. Зато профессор всю командовал мною. Я просто рад, что им кто-то командует.

**Анни.** Вы несносный тип, Вальтер.

**Вальтер.** Как и вы, Анни.

**Анни.** Ну это уж слишком!

**Вальтер.** А вот и нет. В берлинской лаборатории вас до сих пор поминают.

**Анни.** Надеюсь, добрым словом?

**Вальтер.** Скорее, как вы за словом в карман не лезли. И позволяли себе кричать на большого шефа: "Ступай домой, профессор кислых шей, ты ничего не смыслишь в физике!" Или не припоминаете?

**Анни.** Случалось, каюсь. Но — во гневе.

**Вальтер.** И вот такую своенравную ассистентку он не прогнал? Как же он реагировал на ваши гневные выходы?

**Анни.** Посмеивался.

**Вальтер.** С ним можно было иметь дело, правда? А с этим как — уживаетесь?

**Анни.** С этим? Этот чаще всего орет на меня. И гонит взашей.

**Вальтер.** Назад в Швецию? Разумно. А то, что он повышает голос — не обращай внимания. Когда я у него ходил в ассистентах, мы переругивались каждый день — и все-таки ладили. В лаборатории ссорились, а по вечерам шли в кино или в цирк. О, эти плейбейские развлечения! Масса удовольствия — коверный делает сальто-мортале и приземляется на ноги. А теперь? Мир подражает клоуну. Один кульбит уже был и будет второй — увидим, не приземлится ли госпожа Европа на собственную шляпу.

**Анни.** Как это может произойти?

**Вальтер.** Произойти может все, что не предусмотрено заранее. А все предусмотреть нельзя. Профессор обыкновенно говорил, что лучшие идеи приходят ему в голову в цирке. Ведь физика — это своего рода акробатика. Нам не дано видеть, как ведут себя атомы и молекулы, остается призвать на помощь воображение. Глядя на кувырканющегося клоуна, профессор подставляет на его место нейтрон и думает, какие же сальто тот совершает, пока не встанет в нужное положение. И разгадка приходит сама собой. Тем более это справедливо в отношении политики и войны.

**Анни.** И всему этому вы, оказывается, выучились у своего профессора?

**Вальтер.** Ну почему же. Кое до чего своим умом дошел.

**Анни.** И теперь прибыли чуток подусовершенствоваться?

**Вальтер.** Что вы еще хотите во мне открыть, Анни?

**Анни.** Что вам нравится себя обманывать. Вы рассуждаете так: да, сейчас все плохо, но бог даст — и все образуется.

**Вальтер.** А вы, как рассуждаете вы?

**Анни.** Действительно, сейчас все плохо, но могло быть еще хуже. И будет.

Петра несет поднос с кофейником и чашками. При виде немецкого офицера застывает, словно пораженная громом, поднос с грохотом падает на пол.

**Анни.** Но Петра!

Вальтер встает и хладнокровно рассматривает кучу осколков на полу, потом обращает взгляд на служанку.

**Петра.** Простите, господин генерал...

**Вальтер.** Майор.

**Петра.** Очень сожалею, господин генерал-майор...

**Вальтер.** Без генерала. Просто майор.

**Петра.** Для меня это большая честь, господин майор. Петра.

**Вальтер.** Рад познакомиться, мадемуазель Петра.

**Петра.** Без мадемуазели, пожалуйста. Просто Петра. Служанка.

**Вальтер.** Договорились: Петра. Кажется, струсилась беда. Что будем делать?

**Петра.** Мне очень жаль, господин майор. Разлитый кофе не соберешь.

**Вальтер.** Но можно собрать черепки. Разыщите-ка на кухне половую тряпку и щетку. А я пока подберу крупные осколки.

**Петра.** Да, господин майор...

**Анни.** Не давай, а ступай! Слых аля, куда тебя посылают?

**Петра.** Да. Сейчас.

**Анни.** погоди!

**Петра.** Да, что такое?

**Анни.** Почему ты, проказница этакая, не идешь открывать на звонок?

**Петра.** Я не слышала. Выбежала на минутку.



**Анни.** Где ты была?

**Петра.** В порту, у рыбаков... за рыбой ходила к обеду. Потом уже ничего не купишь.

**Вальтер.** Значит, покамест все в ажуре. Я в гостиной, рыба — на кухне. Вот разве что некоторый хаос на полу.

**Петра.** Половую тряпку и щетку. Сейчас принесу... (Уходит).

**Анни.** Ну, убедилась, какова профессорская прислуга — дама, одно слово, дама. Теперь вы вместо нее будете подбирать черепки.

**Вальтер.** Мне это часто приходилось делать в лаборатории. Привык.

**Анни.** Еще немного, и она отрядила бы вас за тряпкой.

Петра возвращается и вытирает пол.

**Петра.** Мне жаль, что так получилось...

**Вальтер.** Пустые сожаления, Петра. Фарфор снова на подносе и в Датском королевстве все опять в порядке.

**Петра.** Что вы сказали?

**Вальтер.** Так в старину говаривал некий высокомерный принц.

**Петра.** Ах, вот оно что.

**Вальтер.** Вот ваш поднос с руинами нового мира. Прошу.

**Анни.** Ступай же! Что ты тут вертишься? Господин майор еще подумает, что у профессора в прислугах скотница. Ты еще здесь?

**Петра.** Я только хотела сказать... вода у меня еще есть и кофе будет. (Уходит.)

Вальтер притворяет за ней дверь.

**Вальтер.** Нет, Анни, это не скотница.

**Анни.** Я же сказала, дама.

**Вальтер.** Однако, почему она так испугалась, завидев меня? В городе полным-полно немецких офицеров.

**Анни.** Но никто из них еще не заглядывал в этот дом. И она же не знала, что ты друг господина профессора. Ее испугал мундир. А он вам идет.

**Вальтер.** А я что говорю! Надеюсь, и профессор это оценит. Ха! Это что такое?

**Анни.** Подкова.

**Вальтер.** Вижу, что подкова. Но почему на столе?

**Анни.** Рассеянная лошадь уронила ее на дороге, а профессор поднял. Она приносит счастье.

**Вальтер.** Да! Я уже давно такую ищу...

**Анни.** И вы тоже!

**Вальтер.** ...и вновь профессор первый! Вечно он меня опережает!

**Анни.** К чему эти поиски?

**Вальтер.** Вопрос! Да к тому, что люди постоянно что-нибудь ищут: один — богатство, другой — счастье, третий — бурю. Глупцы издавна искали философский камень. И хорошо еще, что не нашли, иначе на нашу долю ничего бы не осталось. А так и мы ищем-поищем...

**Анни.** И находим?

**Вальтер.** Нет, Анни, — нельзя найти то, чего нет. Но искать не возбраняется.

**Анни.** Петра!

Петра входит.

**Петра.** Что угодно?

**Анни.** Да будет тебе известно: физики сходят с ума!

Звонок.

**Петра.** Профессор! (Спешит к дверям.)

Вальтер возбужденно вскакивает с места и принимает несколько преувеличенную

позу — бравый солдат в ожидании генерала.

Входит Кристиан, отдает Петре портфель и шляпу.

**Кристиан.** Что нового, Петра?

**Петра.** К вам гость, господин профессор.

Кристиан осматривается.

Вальтер щелкает каблукми.

**Кристиан.** Привет. (Снимает пальто.) Вот это сюрприз.

**Анни.** Да, всамделишный Вальтер. Документы я уже проверила.

**Петра.** Я больше не нужна?

**Кристиан.** Нет, Петра. Портфель положи, пожалуйста, ко мне на стол. (Петра уходит.) Присаживайтесь, прошу вас. (Чтобы выйти из неловкой ситуации, возится с трубкой.) Давненько не виделись, не мешает поговорить. Я вообще-то слышал, что вы в Копенгагене, но не ожидал вас здесь увидеть. Отсюда некоторое замешательство...

**Вальтер.** Виноват, мне надо было заранее предупредить о своем визите. Но я и рассчитывал на эффект неожиданности.

**Кристиан.** Сюрприз в любом случае. Могли бы предполагать, что уважу вас в форме германского офицера.

**Вальтер.** Меня мобилизовали.

**Кристиан.** Но не на фронт.

**Вальтер.** Я счастлив, что мне не нужно стрелять в людей. Могу по-прежнему работать в лаборатории.

**Кристиан.** В берлинской урановой группе.

**Вальтер.** Меня к ней прикомандировали.

**Кристиан.** В качестве шефа.

**Вальтер.** Шеф — Гейзенберг.

**Кристиан.** Могли бы и отказаться от этой чести.

**Вальтер.** Солдат обязан выполнять приказ. Ты же знаешь, что такое военный трибунал.

**Кристиан.** Некоторые все же нашли в себе силы отказаться.

**Вальтер.** Увы. Физики старой закалки. И что же — их место заняли шарлатаны от немецкой науки. Неужели это лучше?

**Кристиан.** Возможно.

**Вальтер.** Нет! Каждый настоящий физик должен оставаться на своем месте — особенно сейчас.

**Кристиан.** Я начинаю, кажется, понимать ваши завуалированные фразы. Но боюсь, уж не забыли ли вы случаем про военный трибунал. Вы офицер германской армии. Следовательно, вам должно быть известно, что вы можете себе позволить, а что — нет.

**Вальтер.** Я знаю, с кем говорю.

**Анни.** Профессор! Фу! (Отходит от стола и закуривает сигарету.)

**Кристиан.** Спасибо, Анни, за вовремя поданное междометие. Оно пришлось как нельзя кстати. Но мою опрометчивость оправдывает письмо, на которое вы не пожелали взглянуть. Вальтер, вы очутились в незавидной ситуации. Я это понимаю. Но и у физиков есть своя линия фронта. Дезертировать оттуда негоже.

**Вальтер.** Я не дезертир. Мой фронт проходит через мою лабораторию. Я борюсь там.

**Кристиан.** Но как? Мне многие пишут, и ваше имя упоминается постоянно. Это не удивительно, ведь вы в первом ряду физиков. Так думали все и так думают еще сейчас. Но что говорят сегодня о вас? Вот письмо вашего друга Борна. Сегодня немецкие физики сотрудничают с нацистами, так он пишет, даже Вальтер служит преступному делу. И это общее мнение.

**Вальтер.** Те, кто эмигрировал и находится в безопасности, могут позволить себе резать правду-матку. Это тоже борьба, но героизма в ней нет. Мы же, те, кто остался в Германии, лучше понимаем ситуацию. Ныне время молчания. Наши формулы не говорят.

**Кристиан.** Время молчания, только и всего? Ошибаешься, Вальтер, — люди говорят, и громко.

Вальтер. Обо мне? И что же, позвольте узнать?

Кристиан. На одном банкете вы как будто оправдывали нападение на Польшу.

Вальтер. Не оправдывал, так как и полсловом не обмолвился об этом предмете. Я утаил свои мысли. Разумеется, это никакое не геройство. Но я полагаю, что героизм уместен в свое время и при определенных обстоятельствах.

Кристиан. А как насчет посещения Гиммлера? Это правда?

Вальтер. Нет, у Гиммлера я не был.

Кристиан. Ну так у него была ваша мать.

Вальтер. Нет, моя мать Гиммлера не посещала, она всего лишь разговаривала с его матерью. Они учились в одном классе.

Кристиан. И вы позволили вашей матери войти в дом оберпалача?

Вальтер. Я не имею обыкновения что-либо приказывать или запрещать своей матери. К тому же об этом визите мне стало известно постфактум.

Кристиан. И о том, что она заступилась за вас, — тоже?

Вальтер. Да. Против меня была развернута яростная кампания лжи в нашей прессе. Мол, я культивирую дух Эйнштейна в новой Германии, к научной работе привлекаю одних евреев — и вообще саботирую так называемую немецкую физику.

Кристиан. Все это верно. Тут незачем протестовать и искать поддержки у Гиммлера.

Вальтер. Совершенно неверно! Я выбираю своих ассистентов не из числа евреев, а из самых способных физиков. Среди них попадают и евреи, но это настоящие физики. Это ты мне внушил, что физики делаются не по национальностям, а по способностям. Помнишь, к тебе приезжали учиться молодые люди из разных стран. Итальянцы, японцы, немцы и русские. Мы изъяснялись обрывками фраз, на всех языках сразу. Все, что мы открыли, принадлежит всем нам — физикам.

Кристиан. Разве это моя вина, что наше содружество раскололось на отдельные национальные фрагменты?

Вальтер. А я и не говорю, что твоя.

Кристиан. Но вы, между тем, выдали им авансы. Коричневая пресса больше не осыпает вас бранью. Вы занимаете видное положение в берлинском урановой группе. Интересно, почему?

Вальтер. Я сам этого хотел.

Кристиан. Ваше место мог занять кто-нибудь другой.

Вальтер. Я нуждался больше других.

Кристиан. Почему?

Вальтер. Без места в урановой группе я лишился бы кафедры.

Кристиан. Многие лишились куда большего.

Вальтер. Да, и это общая беда. Но что изменится, если я тоже лишусь места? Дело даже не в должности, а в простой возможности работать. И теперь у меня эта возможность есть. В моем распоряжении лаборатории, материалы, оборудование, — все необходимое. Знаю: ты скажешь, что все это я выторговал унижением. Да, я унижался и, если понадобится, буду унижаться и впредь. Бесчестно, говоришь? Нет! Я, видите ли, физик и хочу продолжать свои исследования — и мне безразлично, в каких условиях и какими способами! Мой труд физика — это моя честь, и покушаться на нее я никому не позволю, даже тебе!

Анни. Вальтер!

Вальтер. Да, теперь ты знаешь все, и прежде чем меня выставят за дверь, я прошу разрешения попроситься. (Щелкает каблучками.) Прощайте.

Кристиан. Прощаться? Что ж ты так, Вальтер? Мы ведь еще толком и не поздоровались. Здравствуй! И поговорим, пожалуйста, спокойно, как в старые добрые времена. Я рад твоему приходу, это правда. Просто я не знал, с чем тебя дедят. Слухами земля полнится, и, как правило, дурными. Чему тут удивляться? Старые друзья не то что встретиться — списаться не могут, письма вскрываются. Остается питаться слухами, а это все равно что брести в тумане. Понимаешь, сегодня каждый норовит найти себе занятие по вкусу. Поэтому меня сомнение и разобрало насчет тебя. Теперь я вижу — ты все тот же прежний Вальтер. А потому ответь-ка мне без обиняков, начистоту: ты сам ко мне пришел или тебя прислали?

Вальтер. И то и другое.

Кристиан. Кто же тебя подослал?

**Вальтер.** Берлинские физики. Урановая группа.

**Кристиан.** Нашли время! Немцы оккупировали мою страну!

**Вальтер.** У нас особый фронт — мы оккупируем не страны, а лаборатории.

**Кристиан.** В теории. А на практике?

**Вальтер.** Ну, это не наша вина.

**Кристиан.** А я и не верю, что ваша. Но ведь ты явился сюда в немецком мундире при всех регалиях.

**Вальтер.** Пришел-то я как немец, но послали меня сюда как физика... У нас возникли разногласия по целому ряду вопросов. И нам хотелось бы знать твое мнение. Ведь в физике ты наш папа. Как и прежде.

**Кристиан.** Что вы от меня хотите?

**Вальтер.** Ответа на вопрос: имеем ли мы, физики, право работать на войну?

**Кристиан.** В мое время и лично для меня такого вопроса не существовало. Это новая проблема.

**Вальтер.** Ситуация тоже новая. Мешок с атомами развязался только сегодня.

**Кристиан.** И вы полагаете, что силы атома пополнят арсенал вооружения?

**Вальтер.** Не мы одни так думаем.

**Кристиан.** А, слышал-слыхал: урановая бомба и все такое прочее. Военный психоз. Мыльный пузырь. Я в это не верю.

**Вальтер.** А если все же?..

**Кристиан.** Нет! Создание урановой бомбы вообще невозможно. Я не верю в это.

**Вальтер.** Вот и Ган не верит. Точно так же он не верил в расщепление атомного ядра, пока сам этого не добился. И теперь одно твердит: видит бог, Бог этого не хотел. Природа сама идет нам навстречу, готова распахнуть объятия, а мы упрямо молотим одно: нет, это невозможно!

**Кристиан.** Видимо, ты в добрых отношениях с этой почтенной госпожой.

**Вальтер.** Да, в последнее время мне случилось перемолвиться с ней словечком. Думается, физику такое общение не помешает.

**Кристиан.** В свое время этим уже занимались философы — в Афинах и Древнем Риме. Потратили две тысячи лет драгоценного времени. Мы больше не можем позволить себе такое расточительство. У нас есть лаборатории и есть точная аппаратура — надо работать. Впрочем, твое замечание о том, что природу исследовать мало, надо с ней и общаться, не лишено смысла. И у тебя это выходит?

**Вальтер.** Довольно часто.

**Кристиан.** Что же напела тебе старая дама?

**Вальтер.** Многое.

**Кристиан.** Например?

**Вальтер.** Она говорит: желаете овладеть атомной энергией? Извольте — вот вам нейтрон. Поиграйтесь, только смотрите, не обожгите пальцы. Таких игрушек у меня масса. Но всему свое время. Придет срок — получите и другие.

**Кристиан.** Любопытный получился бы диалог. Что же ты ей ответил?

**Вальтер.** Ответить не успел. Потому что вспомнил вдруг басню про обезьяну, которая ухватила опасную бритву. И — проснулся.

**Кристиан.** Жаль. Что же тебя так напугало? Обезьяна или бритва?

**Вальтер.** Обезьяна — забавный зверек, а опасная бритва — полезная вещь. Внушает страх только их сочетание.

**Кристиан.** Весь этот мир нам внушает страх.

**Анни.** Прошу прощения, профессор...

**Кристиан.** Прошаю!

**Анни.** Осмелось заметить, что вы не ответили на вопрос Вальтера.

**Кристиан.** Могут ли физики работать на войну? И что я должен ответить?

**Вальтер.** Да или нет.

**Кристиан.** Я так полагаю: каждый человек — гражданин своей страны, физик в том числе. Неужто мы, кто титится познать законы природы, можем игнорировать законы государства?

**Вальтер.** Иными словами: богу — богово, а кесарю — кесарево?

**Кристиан.** Так было всегда.

**Вальтер.** Да, кесарь ссорится с Богом, а человек — терпи. Нам пришло в голову, что

пора положить конец такому ходу вещей. И ждать больше нельзя.

**Кристиан.** Значит, в Берлине на физиков урановой группы напала метафизическая блажь? Вы размышляете о том, чего не хотел господь Бог и что сотворил господин Ган! У вас что, не хватает урановой руды на эксперименты? Вы не можете не делать бомбу?

**Вальтер.** Мы хотим выяснить — зачем и почему. Зачем Гану тогда понадобилось травить людей газами? Почему уже теперь в его актив зачисляются миллионы жертв, которые окажутся на счету урановой бомбы? Потому, что власть предрержащие заранее отыскивают виновных.

**Кристиан.** О каких властях ты говоришь?

**Вальтер.** О тех, что вчера велели Гану применить против людей газы, а завтра воспользуются его открытием для создания оружия смерти.

**Кристиан.** И Гана уже загодя мучает совесть? Наглядно видно, Вальтер, что наш брат ученый не может позволить себе иметь совесть. Это лишний груз.

**Вальтер.** А куда ее денешь? Если бы Ган умолчал о своем открытии...

**Кристиан.** То вскоре урановое ядро расщепил бы другой физик.

**Вальтер.** Но Ган был первый. И вина ложится на него.

**Кристиан.** Вина? Какая вина? Кто виноват? Может быть, Габер — смешивая ядовитые газы, он натолкнулся на великое открытие — связывание азота воздуха? Он показал, как из воздуха родится пшеница. Искусственные азотные удобрения спасли, спасают и будут спасать в грядущем миллионы людей от голода. Что значит несколько тысяч солдат, пораженных газом, против миллионов, избежавших голодной смерти? Как можно обвинять Габера? Или Гана, выполнявшего приказ? А если вы уже сегодня ищите виновных, то я записываюсь одним из первых, и вместе со мной виновны все физики, все, и ты, Вальтер, тоже.

**Вальтер.** Прошлых ошибок уже не исправить, но мы еще в состоянии предотвратить будущее. Ядовитые газы больше не применяются, возможно никогда и не будут больше применяться. А урановая угроза только надвигается.

**Кристиан.** И ты хочешь крепить мир, пока он не треснул по швам? Ты поэт, Вальтер. Тебе следовало бы писать басни для детей, а не физикой заниматься. Спасение мира — удел сектантов и виршплетов. Пойми же наконец, что поэтические мечтания ничего на белом свете изменить не могут. Я бы с удовольствием вообразил, как немцы завтра по мановению волшебной палочки убираются из Дании, а толку?

**Вальтер.** Я веду речь не о немцах или датчанях, а о людях. Они, правда, произошли от обезьян — и многие до сих недалеко от них ушли, особенно сильные мира сего. Но ты подумай: что произойдет, если Гитлер завладеет урановой бомбой!

**Ани.** Избави господи!

**Кристиан.** Этого не будет. По крайней мере в ближайшие сто лет. Можешь мне поверить.

**Вальтер.** А ты уверен, что они там, в Чикаго, не будут первыми?

**Кристиан.** Ах, ты в курсе и того, что происходит на другой стороне. У Канариса отличные шпионы.

**Вальтер.** Я с ними не связан. Но у меня есть друзья в Америке, и время от времени я получаю от них весточку. Поэтому я не верю в твой оптимизм. Насчет ста лет. На чем он основан?

**Кристиан.** Очень просто: на огрызке карандаша и листке бумаги. Ты подсчитал, какова должна быть масса урана для начала цепной реакции?

**Вальтер.** Четырнадцать килограммов.

**Кристиан.** Именно! Твои чикагские друзья за два с половиной года не наскребли и двух граммов. Нетрудно и прикинуть, сколько времени уйдет, пока они наработают килограмм. А в Чикаго возможности куда шире, чем в Берлине. Вы и это великолепно знаете, оттого и нервничаете: как бы, понимаешь, эти черти нас не обскакали.

**Вальтер.** Боюсь, это и в самом деле случится.

**Кристиан.** А в Чикаго точно так же побаиваются вас. Урановую бомбу гонят вперед не физики, а их страх перед нею. И поэтому будь спокоен, Вальтер, твой маниакальный примат не дорвется до опасной бритвы.

**Вальтер.** А я, Кристиан, отвечу тебе в том же стиле — будь спокоен, бомба у Гитлера будет!

Онемев от неожиданности, Анни и Кристиан тарашатся на Вальтера: В дверях появляется Петра. Долгое и тягостное молчание.

**Кристиан.** Когда?

**Вальтер.** Когда мы этого захотим.

**Кристиан.** Кто — мы?

**Вальтер.** Мы — физики урановой группы.

**Кристиан.** У вас есть уран?

**Вальтер.** Металлического нет, даже окиси урана недостаточно. Но у нас есть альтернатива.

**Кристиан.** Какая?

**Вальтер.** Плутоний.

**Кристиан.** Не годится.

**Вальтер.** Почему? Каждый грамм урана возможно превратить в плутоний.

**Кристиан.** Только теоретически. Практически это еще труднее, чем взрывчатый уран отделить от природного. Одним словом — чересчур долгий обходной путь.

**Вальтер.** Только теоретически. Технически он намного короче, чем нам кажется. У меня уже готов план реактора. Реактор, конечно, невелик, только шесть с половиной метров в диаметре, но лиха беда начало.

**Анни.** Значит, вы все-таки служите преступному делу!

Петра скрывается за дверь, ведущей в кухню.

**Вальтер.** Будь оно так, как вы думаете, реактор давно уже был бы построен, и иначе было бы сотрясать воздух речами.

**Кристиан.** А мы слушали внимательно, Анни, по крайней мере я. Ибо я все-таки еще не уловил, что же Вальтер хочет нам сказать. Но продолжай, продолжай. Значит, у вас имеется план реактора.

**Вальтер.** Да.

**Кристиан.** Следовательно, проблемы больше нет.

**Вальтер.** Есть. Вот здесь-то она и появляется. Потому что те, там, на другой стороне, тоже не дремлют. Когда атомный реактор будет у нас в Берлине, он будет и в Чикаго.

**Кристиан.** Определенно. И быстрее, чем у вас.

**Вальтер.** Да: Они не стеснены в средствах. И у них дьявольски башковитые головы — Ферми, Теллер, Оппенгеймер.

**Кристиан.** Ну, у вас в Берлине своих хватает.

**Вальтер.** И, может, посильнее заокеанских. Но что нам делать? Наша работа требует средств, а их нам не дают.

**Кристиан.** Почему же не дают? Ваши вожди хвастают каким-то чудо-оружием. Разве это не урановая бомба?

**Вальтер.** Нет. Гитлера заботит только то оружие, которое можно в кратчайший срок применить на фронтах. Ибо астрологи ему поведали, что мир должен быть покорен за один год. Вот отчего он не верит во всемогущество атома. С нетерпением ждет, чтобы химики синтезировали новый вид тротила, в десять раз превосходящий нынешний по разрушительной силе. Но над этим смеются даже студенты-химики.

**Кристиан.** Молодые ученые, как правило, консервативны.

**Вальтер.** Зато старые генералы прогрессивны. Открытие Гана они оценили намного выше, чем сами физики.

**Кристиан.** Значит, вам придется иметь дело с господами военными.

**Вальтер.** Уже имели. Тому два года ровно...

**Кристиан.** Ого, давненько! Почему-то об этом ничего не было слышно. Так вы уже два года планируете урановую бомбу!

**Вальтер.** Виднейших физиков из отдела вооружений собрали на совещание. Руководил им полковник профессор Шуман, ты, верно, его знаешь, полушарлатан, но далеко не дурак. Говорил он довольно связно, даже осмысленно. Так, мол, и так: Германия втянута в войну, мы должны быть готовы ко всяким неожиданностям, поэтому немецким физикам надлежит выяснить, возможно ли дать техническую оценку расщеплению уранового ядра. Цель — сугубо оборонительная.

**Кристиан.** И ты в это веришь?

**Вальтер.** Тогда бы я тут не распинался.

**Кристиан.** Значит, все-таки урановая бомба? И ваши генералы задумались над этим давным-давно!.. Нет, это блеф! Подобную бомбу сделать невозможно.. Ну и дальше? ·

**Вальтер.** Генералы мало что смыслят в физике. Поэтому нам предстояло ответить на ряд вопросов — сухо и лаконично. Скажем, такой: считаете ли вы, что атомная энергия может быть включена в арсенал боевых вооружений. Я ответил: в принципе — да.

**Анни.** Вальтер!

**Вальтер.** Потому что так мы и думали. Или вот еще вопрос: что необходимо для реализации этого плана? Мы ответили: сотни тысяч рабочих и техников — и несколько миллионов марок. И еще: сколько времени уйдет на претворение его в жизнь? Мы ответили: пять или шесть лет.

**Кристиан.** Тактика правильная: господам военным срок, наверное, показался чересчур долгим. А твой план с плутонием?

**Вальтер.** Это рискованное слово. Я не имел права его произносить.

**Кристиан.** Ты в нелепой ситуации, Вальтер, но пока в безопасности. Подчеркиваю, пока. Сейчас немецкая военная машина работает лучше, чем ожидал от нее сам Гитлер. Однако военное счастье переменчиво. Тут-то он и продиктует вам ультиматум: господа физики, вы перед выбором — или урановую бомбу, или полетят ваши головы. Бомбы он не получит, создать ее невозможно. Но вам это будет стоить головы.

**Вальтер.** У нас есть две возможности. Или отказаться выполнять приказ...

**Кристиан.** А это военно-полевой суд...

**Вальтер.** Или саботировать его выполнение...

**Кристиан.** А это смерть в концлагере. Правда, во втором варианте есть хотя бы крохотный шанс уцелеть. Но будьте осторожны! Гитлер хотя и безумец, однако отнюдь не глупец. Альтернатива у вас ненадежная.

**Вальтер.** Увы, другой нет. А вы что скажете, Анни?

**Анни.** Саботируйте.

**Вальтер.** Мы готовы рискнуть. Но нам надо знать, стоит ли игра свеч.

**Кристиан.** Безусловно, знать это надо. Но кто вам это может сказать?

**Вальтер.** Только ты.

**Кристиан.** Я по-прежнему ничего не понимаю. Was ist der langen Rede kurzer Sinn\*?

**Вальтер.** Совсем вкратце: сегодня в мире атомных физиков не больше двух десятков. Ты — папа современной физики. У тебя многие учились, теперь разбежались кто куда. Одни по эту сторону, другие — по ту. Если ты скажешь нам: продолжайте работать как честные физики, а от урановой бомбы руки прочь! — мы послушаемся тебя и этой треклятой бомбы не будет.

**Кристиан.** Ха! Еще короче: "Атомные физики всех стран, соединяйтесь!" Это ты хотел сказать?

**Вальтер.** Да! Именно это!

**Кристиан.** "Восстаньте против своих народов и правительств, саботируйте замыслы политиков и приказы вождей..."

**Вальтер.** Точно!

**Кристиан.** Ты фантазер, Вальтер.

**Вальтер.** Так сразу и фантазер? Разве многие годы тайны атома не постигались здесь — в Копенгагене и в Геттингене? Это дело наших рук! Оно не принадлежит ни немцам, ни американцам, оно принадлежит нам — физикам. Если вождям и генералам понадобилась эта бомба — пусть они ее и делают! Пусть обезьяна маленько погодит, пока ума не наберется и не поймет, как остра вожденная бритва! Ею можно прикончить миллионы людей... а можно и себе перерезать горло.

**Кристиан.** Я тебя понимаю, Вальтер. Но попробуй понять и чикагских физиков. Атомное оружие для них — единственное средство уничтожения коричневой чумы. Они питают ненависть не к немецкому народу, а к тому полусумасшедшему преступнику, который правит сегодня твоей страной.

**Вальтер.** Ему эта чикагская бомба даже перышки не подпалит, а немецкий народ

---

\* В чем краткий смысл [квинтэссенция] длинной речи? (нем.)

уничтожит.

**Кристиан.** Кто же позволил маньяку захватить безраздельную власть? Народ тоже должен искупить часть своей вины. К сожалению, узлы истории не развязываются, а разрубаются. Или ты можешь предложить лучшее решение?

**Вальтер.** Да.

**Кристиан.** Какое?

**Вальтер.** Пусть чикагские физики прекратят свои опыты с урановой бомбой.

**Анни.** Чтобы смертоносное оружие досталось одному Гитлеру?

**Вальтер.** Нет, не так — никому! Мы в Берлине тоже развернем саботаж.

**Анни.** Так саботируйте — и мир не должен будет бояться, что у немцев окажется урановая бомба.

**Вальтер.** Бессмысленно. В одиночку германским физикам саботировать бессмысленно. Только всем вместе, чтобы она никому не досталась. Урановые бомбы, начиненные в Чикаго, будут взорваны над Германией. А до Копенгагена от нас рукой подать.

**Кристиан.** В твоей логике, Вальтер, есть один изъян. Чикаго находится в Америке, а Америка не ведет войну с Германией.

**Вальтер.** В Атлантике американцы топят немецкие корабли, а это значит, что война уже идет.

**Кристиан.** В этом ты прав. Но далеко не все равно, получают ли эту распроклятую бомбу немцы или американцы. Гитлер — полубезумный маньяк, а в Америке правит Рузвельт, честный и порядочный человек.

**Вальтер.** Рузвельт — инвалид.

**Кристиан.** У него парализованы ноги. А президенту нужна голова.

**Вальтер.** Паралич на порядок ослабляет мыслительные способности.

**Кристиан.** Но этой чертовой бомбы еще нет, а президенты не вечны. Рузвельт не исключение.

**Вальтер.** Что ж, президентское кресло займет другой, порядочный мистер Икс, о ком мы пока ничего не знаем. Разве физики сегодня могут бросать кости — мол, жребий решит, кому достанется урановая бомба? История еще не завизировала проект великого убийства, пока еще не поздно его остановить. И ты один вправе это сделать. Поэтому мы и ждем твоего ответа — ты поддерживаешь наш план или отвергаешь? Да или нет?

**Кристиан.** Гм. (В задумчивости раскуривает трубку, молча отходит к окну, смотрит во двор.)

**Анни.** Вы подумали о том, что вы говорите, Вальтер? Как можно требовать, чтобы профессор взял на себя такую ужасную ответственность... Один человек?

**Вальтер.** Другого у нас нет. Это в его школе я сделался физиком. С кем мне еще прикажете обсуждать эту тему?

**Анни.** Вы ставите его под угрозу!

**Вальтер.** Мы все рискуем.

**Анни.** Тем хуже! Не кажется ли вам, что за профессором следят немецкие агенты?

**Вальтер.** Несомненно.

**Анни.** И несмотря на это, вы совершенно открыто сюда заявляетесь! Рискуете сами и подводите под монастырь своих друзей, мало того, свой фантастический план. Нет, я вас просто не понимаю.

**Вальтер.** Что вы не понимаете, Анни? Я вам все объясню.

**Анни.** Вы хотите убрать Гитлера со сцены, но боитесь проиграть начатую им войну.

**Вальтер.** Мы этой войны не хотели и потому проигрывать ее тоже не хотим.

**Анни.** Я действительно не знаю... мне страшно подумать... Кто вы такой?

**Вальтер.** Провокатор, — выкладывайте, выкладывайте. Ведь вы это хотели сказать. "Зачем этого Вальтера прислали в Копенгаген? Разумеется, для того, чтобы помешать чикагским физикам. Ибо они там, в Берлине, опасаются, что Германия все же проиграет войну и дело решит урановая бомба". Я угадал?

**Анни.** Абсолютно.

**Кристиан.** Где у вас гарантии, Вальтер, что немецкие физики действительно будут саботировать работу над бомбой?

**Вальтер.** Я это тебе обещаю.

**Кристиан.** И ты в состоянии сдержать слово?

**Вальтер.** Я руководитель группы, и распорядок работ зависит от меня.



**Кристиан.** Кроме берлинской урановой группы, у вас бомбой никто больше не занимается?

**Вальтер.** Еще две группы — в Гамбурге и Лейпциге.

**Кристиан.** Вот видишь: может статься, пока вы будете саботировать, другие разведут пары.

**Вальтер.** Тут мы сталкиваемся с парадоксом так называемой "немецкой физики". Будь вместо трех групп одна, мы продвинулись бы втрое дальше, чем сейчас. Когда мы, в Берлине, требуем окиси урана или тяжелой воды, то получаем треть имеющегося в наличии, две трети забирают Лейпциг и Гамбург. И все три группы ревностно следят за тем, чтобы одной не досталось больше, чем другой. И хранят под замком свои секреты.

**Кристиан.** Следовательно, вы не в курсе, как далеко продвинулись остальные.

**Вальтер.** Да. Но мы не можем пассивно ждать, как повернется дело. И поэтому сегодня я здесь. И не только от своего имени. Ты единственный человек, кто может нам и приказать, и запретить — всем сразу.

**Кристиан.** Ты преувеличиваешь действительное положение вещей, Вальтер. И к тому же забываешь, что ситуация может измениться — это только вопрос времени.

**Вальтер.** Увы.

**Кристиан.** Если бы я поддержал ваш план...

**Анни.** ...а они там, на той стороне, будут все же продолжать работу?

**Вальтер.** Тогда они сделают бомбу. Это только вопрос времени. Но если у них в Чикаго будет урановая бомба, точно такая же будет и у нас в Германии!

**Кристиан.** Минуту назад ты говорил — ни одной, а теперь речь о целых двух.

**Вальтер.** Я сказал — н и о д н о м у, но я не говорил — о д н о м у.

**Кристиан.** Значит, лучше если бомба имеется у обоих противников, чем у одного? Так ты полагаешь?

**Вальтер.** Да. Или прикажешь нам бесстрастно взирать на то, как немецкий народ будет гибнуть под американскими урановыми бомбами, созданными в результате исследований немецких физиков?

**Кристиан.** Если оба противника применят атомное оружие, число жертв удвоится.

**Вальтер.** Нет. Мы надеемся, что в таком случае чертову бомбу вообще не пустят в ход в этой войне. Американцы не посмеют взорвать ее над Германией. Зная, что Британские острова получат назад той же монетой. Смотрите, что происходит с ганзовскими ядовитыми газами. У обоих противников арсеналы полнятся через край, а применить газы все же не решаются. Мы думаем, что с атомным оружием будет та же история. Однако мы, физики, не желаем допускать, чтобы какие-то тупоголовые обезьяны получили возможность играть нашими жизнями. И только поэтому в Берлине продолжается работа над адской бомбой.

**Анни.** Но вы же говорили...

**Вальтер.** Да, говорил и повторяю снова, что в Берлине не будет урановой бомбы, если ее не будет в Чикаго. Но если сделают они, сделаем и мы!

**Анни.** Значит, вы все же хотите вручить Гитлеру ключи от мирового господства!

**Вальтер.** Мы хотим остановить беду, нависшую над миллионами людей.

**Анни.** Миллионами немцев.

**Вальтер.** Знаете, Анни, я не только немец, но и человек.

**Анни.** А евреи и поляки не люди?

**Вальтер.** Физики не в состоянии прекратить нынешнюю резню. Это забота вождей и генералов. Мы же заботимся о тех людях, которые будут жить после нас.

**Анни.** Они что, будут лучше нас — тех, кто хочет жить сегодня?

**Вальтер.** Это неизвестно. Мы знаем только то, что когда-нибудь люди будут лучше, если они будут вообще.

**Анни.** Но моего народа больше не будет! Если американская урановая бомба уничтожит десять миллионов немцев, у вас останется еще семьдесят миллионов живых. Но моего народа больше не будет! (Петра вбегает в комнату, обнимает ее за плечи и ведет к дверям.) Нас изгнали из земли обетованной... мы утратили свой древний язык... и вдобавок нас хотят умертвить, всех до единого... (Возвращается от дверей.) Я буду молиться Яхве, суровому и могучему богу, чтобы он благословил чикагских физиков и их работу... чтобы он дал им урановую бомбу... чтобы он спас свой народ, пока его не истребили... (Петра увидит ее.)

**Кристиан.** Это ведь наша Анни, наша старая приятельница Анни. Нервы шалят. Настрадалась, многое пережила. Ты должен понять ее, Вальтер...

**Вальтер.** Я понимаю.

**Кристиан.** Ничегошеньки ты не понимаешь. Это больше не та Анни, которую ты знал в Германии. Там она родилась и выросла, была уважаемым профессором университета, чувствовала себя немкой. А сегодня Анни еврейка.

**Вальтер.** Видел.

**Кристиан.** Со стороны. Я заглянул глубже. Она уже долгое время живет у меня.

**Вальтер.** Ищет пристанища. Ты ее давний друг. Где же ей укрываться, как не у тебя?

**Кристиан.** Да, это так. И все-таки я не смею ее больше тут задерживать.

**Вальтер.** И ты, Кристиан, боишься. Ты датчанин, никто тебя не тронет. Из-за Анни тем более. Она и в Германии могла оставаться. Лекции бы ей, конечно, читать не разрешили, но преследовать не осмелились бы. Она вполне еще могла спокойно жить в Германии и сегодня.

**Кристиан.** Но она убежала оттуда.

**Вальтер.** Не пойму отчего.

**Кристиан.** Не хочешь угадать, зачем она сейчас здесь — в Копенгагене?

**Вальтер.** Пообщаться с тобой и с другими друзьями.

**Кристиан.** Это только повод. Причина совсем иная. (Набивает трубку.) Отменный сорт. На, попробуй.

**Вальтер.** Нет, спасибо.

**Кристиан.** Ты бросил курить?

**Вальтер.** Кроме сигар, ничего в рот не беру.

**Кристиан.** И правильно делаешь. А с Анни у нас вот что: в Германии она жила в постоянном страхе за свою жизнь, оттого и бежала. Ей повезло — она очутилась в Швеции, в полной безопасности. Но тут ее начала мучить совесть: ты удрала, сама спаслась, а свой народ, своих сестер и братьев, бросила в беде, они обречены на смерть и муки, а ты трусливая подлая еврейка! Вот почему она в Данию приехала — чтобы отсюда вернуться в Германию. Скажешь, идет на верную смерть? Так она только того и хочет. Однако самой взойти на эшафот у нее недостает ни сил, ни мужества. Хотя и еврейка, но всего лишь слабая женщина. Между тем она не стала бы бежать от немецких жандармов, если бы за ней явились, наоборот, она ждет их с нетерпением. Ведь они отправят ее назад в Германию, и там она умрет мученической смертью, вместе со своими. Понятно теперь, почему я не могу дольше держать свою старую приятельницу под этой крышей?

Входит Петра, в руках у нее портфель и шляпа профессора.

**Кристиан.** Это ты правильно догадалась увести Анни, она слишком взволнована, у себя в комнате быстрее успокоится.

**Петра.** Дала ей бромом два порошка, авось уснет.

**Кристиан.** Не спускай с нее глаз.

**Петра.** Все будет хорошо, не беспокойтесь, профессор. Вам пора, если не хотите опоздать. Ваше пальто. Прошу вас.

**Кристиан.** Почему пора? У меня в запасе еще целый час.

**Петра.** Несколько минут.

**Кристиан.** Что такое? (Вынимает часы из кармашка. Трясет над ухом.) Ну да: относительное время — суррогат производства Альберта Эйнштейна! Что ж, поспешим. Подайте мне пальто. Я, кажется, не сказал "пожалуйста". Извините.

**Вальтер.** Ты мне не ответил на вопрос.

**Кристиан.** Ты ведь не уезжаешь сей момент?

**Вальтер.** Могу остаться до вечера.

**Кристиан.** Позже поговорим. Я вернусь через пару часов. Надеюсь, ты тут скучать не будешь. Вспомни-ка минувшие дни. Петра, принесите господину майору сигары — из верхнего ящика моего письменного стола. Наша старая добрая марка, Вальтер. В Германии уже сто лет таких не видывали. Где моя шляпа, я спрашиваю? Ах, на мне, благодарю... (У дверей останавливается в раздумье, возвращается.) М-да, Вальтер, видишь, как теперь все устроилось: мы по-прежнему те же... и все-таки вок-

руг все иначе, чем в те дни, когда мы вместе стояли за одним столом в нашей лаборатории... Теперь стоим каждый на своем берегу реки... И это кровавая река. (Уходит.)

**Петра** (проводив профессора, выходит на кухню и тотчас возвращается с подносом). Как? Вы уже ищете перчатки?

**Вальтер**. Выйду прогуляюсь. Посмотрю город.

**Петра**. Не советую. Погода отвратительная, холодно и сыро.

**Вальтер**. Продрогну — зайду обогреться в кафе.

**Петра**. В кафе! Там вам подадут бурду из цикория с засохшей булочкой.

**Вальтер**. Что, в Копенгагене уже такая нищета?

**Петра**. Есть кое-что, но не везде и не для всех. Поэтому я бы советовала господину майору откусывать утренний кофе не сходя с места. Прошу вас, господин майор. И вашу сигару. Профессор очень дорожит ими. Первому попавшемуся посетителю он бы их предлагать не стал.

**Вальтер**. Прекрасная марка, вижу. Где же профессор достает их, в военное-то время?

**Петра**. Не знаю, господин майор, не интересовалась. Я некурящая. Вот вам пепельница и спички. Садитесь, располагайтесь.

**Вальтер**. Вы очень любезны, Петра.

**Петра**. Это входит в мои обязанности прислуги. За это мне деньги платят. Вы позволите, я налью вам кофе. Какой запах, чувствуете? И вкус тоже, не сомневайтесь. Прошу. Дым этой сигары дополнит ваши вкусовые ощущения. Я поднесу вам огня, вы разрешите?

**Вальтер**. Благодарю. (Подносит сигару к зажженной ею спичке).

**Петра**. Господину майору придется проскучать тут битых два часа.

**Вальтер**. Пока они там, в семинаре, будут толковать о вещах, которые исследованы мною, и о полученных мною же результатах. Когда-то я вел этот семинар. А теперь, видите, не ко двору. Профессор даже не позвал меня с собой.

**Петра**. Тогда вы были доцент, теперь майор. Что подумают студенты, если профессор явится в аудиторию в сопровождении немецкого офицера? Между прочим, у него сегодня семинар по экспериментальной физике, а вы руководили семинаром по теоретической. Или я ошибаюсь?

**Вальтер**. Вы так детально знаете расписание университетских занятий?

**Петра**. Оно висит у меня на кухне.

**Вальтер**. Странно...

**Петра**. Что ж тут странного? О чем вы подумали, господин майор?

**Вальтер**. О вас.

**Петра**. Слишком много чести. И что вы обо мне подумали?

**Вальтер**. Я думаю: кто вы такая?

**Петра**. Вы же знаете: обыкновенная служанка.

**Вальтер**. А еще?

**Петра**. Кем же мне быть?

**Вальтер**. Служанки не вешают на стену расписание лекций и семинаров. И на губах у них не блуждает химерическая улыбка. Поэтому я и пробую угадать, кто вы на самом деле.

**Петра**. Студентка.

**Вальтер**. Кое-что начинает проясняться. Что вы изучаете?

**Петра**. Физику. На последнем курсе.

**Вальтер**. Так вот кто в пуделе сидел!

**Петра**. Вы полагаете — шпионка.

**Вальтер**. Я бы этого никогда не сказал, даже если бы и подумал. Значит, вы подслушивали за дверью?

**Петра**. Не то чтобы подслушивала, но слышала все.

**Вальтер**. Хорошо было слышно?

**Петра**. Лучше не бывает. Через полуоткрытую-то дверь.

**Вальтер**. Вы ее не притворили. Зачем?

**Петра**. Чтобы предупредить вас. Чтобы незакрытая дверь навела вас на мысль, что

ваши слова, сказанные здесь, могут быть услышаны и далеко отсюда. Вы были крайне неосторожны. Подумайте, что могло случиться, дойди ваши речи до ушей вашего генерала.

**Вальтер.** Я знал, с кем я говорю.

**Петра.** И то, что немецкие агенты приглядывают за профессором, тоже знали?

**Вальтер.** Не исключено, что они это делают. Но не в этом доме.

**Петра.** А я? Что вы обо мне знаете? Может, я сейчас же отправлю в Германию донесение о ваших похождениях в Копенгагене.

**Вальтер.** Блеф! Вы работаете на Чикаго.

**Петра.** И все же вы проявили крайнюю неосторожность, господин майор. Но на сей раз повезло. Видите, перед вами на столе подкова, которая приносит счастье. Как вам датский мокко?

**Вальтер.** Отлично! Сомневаюсь, чтобы турецкие султаны пили лучший кофе, чем этот.

**Петра.** Вы мне льстите.

**Вальтер.** Это не лесть. Я бы не отказался еще от одной чашечки.

**Петра.** Это уже на что-то похоже, господин Вальтер.

**Вальтер.** Господин отменяется. Просто Вальтер.

**Петра.** Договорились. Но к чему бы это?

**Вальтер.** Мы стоим на противоположных позициях, так что давайте не будем враждовать. Обойдемся без этикета. Коротко и ясно, без намеков — разрешите?

**Петра.** Валиайте.

**Вальтер.** Следовательно, вы приставлены для слежки за профессором?

**Петра.** Не только я.

**Вальтер.** За ним так тщательно следят?

**Петра.** Не следят, охраняют.

**Вальтер.** Что ему грозит?

**Петра.** Ваш генерал может позвонить хотя бы, например, сегодня и любезно сообщить господину профессору, что завтра ему надлежит приступить к работе в берлинской урановой группе. И что тогда?

**Вальтер.** На это профессор никогда не пойдет.

**Петра.** Если он будет поставлен перед выбором — или ваша лаборатория, или концлагерь... Что тогда?

**Вальтер.** Да-а... Такая вероятность мне даже в голову не приходила.

**Петра.** Не тревожьтесь: нашего профессора они не получают.

**Вальтер.** К ним вы и меня причисляете?

**Петра.** В таком случае я вам ничего не сказала бы.

**Вальтер.** Почему вы отослали профессора на полчаса раньше? Мы могли бы с ним еще побеседовать.

**Петра.** Ах, вот оно что... Мои часики, понимаете...

**Вальтер.** Вы переставили стрелки.

**Петра.** Слегка.

**Вальтер.** Зачем?

**Петра.** Чтобы дать папе время обдумать ответ своим капелланам. Тут спешить вредно.

**Вальтер.** Может, я поспешил со своим вопросом? Задал его чересчур рано?

**Петра.** Нет, Вальтер, слишком поздно.

**Вальтер.** Ах так... И что же мне теперь делать?

**Петра.** Дюкуривайте свою сигару и уезжайте.

**Вальтер.** Петра!

**Петра.** Сию же минуту, пока не вернулся профессор.

**Вальтер.** Но он не дал мне ответа.

**Петра.** А что он мог вам ответить?

**Вальтер.** Поддерживает ли он саботаж уранового проекта или отвергает? Ответ должен быть односложным: да или нет.

**Петра.** И тот и другой будет абсурдным. Скажет "да", то есть, господа физики, трудитесь на войну, как трудились до сих пор, — урановая бомба будет; скажет "нет" — урановая бомба все равно будет. Это нейтронный обвал, и лавину не остановить. Какой

смысл говорить "да" или "нет"? Поэтому я вас очень прошу, Вальтер, — избавьте своего старого друга от вопроса, на который может ответить только господь Бог. Подумайте, каков расклад. У вас в Берлине четыре выдающихся атомных физика, — так считает профессор, — и при вас восемь ассистентов. Скажи вам профессор: стоп! руки прочь от урановой бомбы! — вы его послушаете. Чтобы вас не обмануть, ему придется отдать точно такой же приказ чикагским физикам. А их там двадцать, у них сто ассистентов. Плюс к этому запасы урана, тяжелой воды, графит — и миллиарды долларов. Станут ли они его слушать? Нет. Даже папа физики Бор представляется им сегодня политически наивным человеком.

**Вальтер.** Пусть беду отвести уже не удастся, наш долг — по крайней мере попробовать это сделать. Подумайте, что случится, когда американцы и немцы завладеют урановыми бомбами. Со временем у кого только их не окажется. И вот всякая более или менее крупная обезьяна станет манипулировать атомной бритвой! И физика, самая благородная из наук, превратится в притон убийц!

**Петра.** Физики были вчера, есть сегодня и будут завтра, и, может, посильнее вас. Сегодня вы сумели высвободить нейтрон, завтра другие сумеют его укротить.

**Вальтер.** А если не сумеют?

**Петра.** Тогда пусть пеняют на себя.

**Вальтер.** Нет! Винить они будут нас — что мы не предотвратили несчастье в зародыше. Конечно, мы кое-что делаем — мы делаем все, что в наших силах. Пьем кофе, дышим ароматными сигарами и предаемся медитации о миллионах людей, которым однажды придется обратиться в дым. Ведь почти наверняка нас эта участь минует.

**Петра.** Может, нам и повезет. Эйнштейн, правда, утверждает, что Бог не бросает кости. Но сдается мне, он все же этим занимается.

**Вальтер.** Если повезет... А что если нет?

**Петра.** Тогда — прощай, белый свет!

**Вальтер.** Как просто! Человек избавлен от размышлений. Как-нибудь господь Бог все за него решит, к примеру — бросая кости. К чему тогда желанья, пустое!

**Петра.** Единственное, чего мы сегодня желаем — прогнать с датской земли немцев.

**Вальтер.** Урановой бомбой!

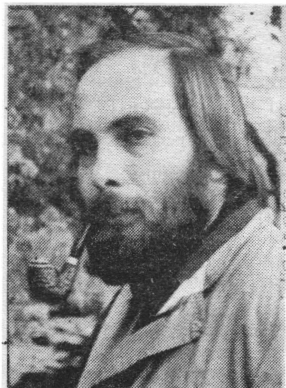
**Петра.** А хотя бы и так. Больно это говорить, но это правда. И будь вы датчанином, Вальтер, вы бы думали точно так же. (Вальтер вдавликает в пепельницу недокуренную сигару, молча берет перчатки и фуражку.) Вы уже уходите?

**Вальтер.** Да. Возвращаюсь в Берлин. Надо спешить, иначе я опоздаю на поезд. Мне тоже жаль расставаться с вами — но, может быть, мы еще когда-нибудь встретимся. Прощайте, Петра.

**Петра.** До свидания, Вальтер. Но постойте!

**Вальтер.** В чем дело?

**Петра.** Возьмите это с собой. Подкову на счастье. Или вы не верите в счастье? Так в этом нет необходимости. Она помогает, даже если и не верить.



Николай ГУДАНЕЦ

## НЕБЕСНЫЙ ЖЕРНОВ

Русский поэт и прозаик Николай ГУДАНЕЦ родился в Риге в 1957 г. Публикуется с 1974 года. По образованию филолог. Издал два сборника стихов: "Автобиография" (1980), "Голубиная книга" (1986) и две книги прозы "Субботние поцелуи" (1986) и "Покинутые во Вселенной" (1990). Переводил стихи латышских поэтов — Карлиса Крузы, Клава Элсберга, Инесы Зандере.

\* \* \*

звезда в облаках пасется  
подрагивая играя  
напротив нее вторая  
но солнцу не видно солнца

его бессонное око  
вращается одиноко  
и суждено ему  
видеть повсюду тьму

Солнце не знает солнца,  
небо не видит неба.  
Как я тебя узнаю,  
когда наконец увижу?

## ПЕСЕНКА О ТУЧАХ

Когда густые тучи застилают город  
лиловым скопищем без края и без меры,  
им город кажется бессмысленным набором  
квадратных долек — желтых, черных или серых.

Плывут кудлатые громадины над нами  
и нас разглядывают сверху изумленно,  
как мы б увидели, что знаки препинанья  
внезапно зажили по собственным законам —

изнемогали бы от страсти или злости  
щеголеватые тире и запятая,  
но мало этого — друг к другу ходят в гости  
и прикрываются цветастыми зонтами.

\* \* \*

*Оле*

Склоненный над своим ночным листком,  
пока ты спишь, я буду тих и чуток.  
Как нежен и плавуч, как невесом  
едва скрепленный с записью рассудок.

Слова скользят впазд и невпазд,  
ища свой лад, покуда свечка слабнет.  
О чем твой сон? О чем лепечет сад,  
с листа на лист отряхивая капли?

Мы — среди тайн, медовых, словно тьма,  
а над моим листком и над напрасным  
ночным, безудержным сверканием ума —  
звезды недосягаемая ясность.

## ПОРТРЕТ В ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ

1

Забытая всеми аллея в глуши мирозданья,  
не знавшая ножниц, курчавая и вырезная,  
притихла и словно бы ждет молодого поэта,  
которым она по достоинству будет воспета.  
Но где тот бормочущий отрок, бредущий, мечтав  
под вздохи листвы и разбойничий по свист  
трамвая?  
Он ямбом охвачен, как ветром, до сладостной  
дрожи,  
густые слова на губах набухают, как дрожжи,  
и жизнь его вся, на поверку, — сплошное  
моление  
о речи, способной достичь совершенства аллеи.

2

Смотри, он уходит, глазами уткнувшийся  
в гравий,  
уже отмечавший свое о Москве и о славе,  
что шансы дает становиться мудрей и добрее,  
понять наконец, что ему рукоплещут деревья,  
и нимбом толчется его комариная свита,  
и острые звезды нацелены, словно софиты.  
Желая покоя, избрав добровольно молчанье,  
себя утешая, что так избежал измелчанья,  
смотри, он уходит, едва различим в отдаленье,  
а чьи-то шаги раздаются в начале аллеи.

## ПЕЙЗАЖ С РЫБОЛОВОМ

*Вольдемару Баалю*

Комком надвигавшейся ночи  
в осоке стоял рыболов,  
составлен из темных и прочных,  
набрякших терпением углов.

Чернел силуэт рыболова,  
двоился в послушной реке,  
как будто безумное слово,  
к которому рифма готова  
в диктованной Богом строке.

Он был от смиренья горбат,  
казался напрягшимся глазом,  
в котором сомкнулась река,  
созвездья, огни и закат  
в единый и пристальный разум.

Дымились речные изгибы,  
и, как в алмазном гвозде,  
вращались небесные глыбы  
на тонкой Полярной звезде.

И зодиакальные рыбы  
недвижно висели в воде.

## РЕЙС МОСКВА — ЛАРНАКА

Это я, никто, улетающий ниоткуда,  
совместившийся с точкой, в которой зависла  
серебристая моль над кудлатой облачной  
грудой,  
прожигая пространство, лишённое смысла.

Ибо так ли важно, чья безысходность больше,  
разделенным стеной ли, улицей, континентом,  
ибо нечем измерить горечь воздушной толщи  
между этой и той чужбиной, меж той и этой.

А внизу проплывают горы, заплатки пашен.  
Крохотные лоскутья былых империй.  
Занесенные слоем времен крепостные башни,  
где поверх пасутся козы среди кипрея.

Это — я, в рыгающем смрадной гарью  
лайнере, индевеющем и бесстрастном,  
различимый только для Бога или радара  
неизвестно чей изгнанник, и брат, и пасынок.

*29 октября 1989*



## О Ч И

Распростерта над Киевом, Ригой, Москвой  
безучастная глушь небосвода.  
Роговица ободрана звездным песком.  
Запоздалой отравой, зудящей тоской  
бродит в жилах свобода.

Пересохшей листвой осыпаются сны,  
а потом сквозь удушливый воздух видны,  
словно сгустки мороза и ночи,  
неотступно следящие с той стороны  
удивленные очи.

Невозможно ни спрятаться, ни закричать.  
Это шуточки, сказки — полынь, саранча,  
и блудница, и зверь, и седьмая печать.  
Равнодушные к вони барака,  
по колено в бессмысленной мерзлой крови,  
на корявых развалинах страха  
мы косматым бурьяном над миром стоим.  
И мотыгу берет херувим.

\* \* \*

Зацветает черемуха. Это,  
как всегда, к холодам.  
Излученье душистого света,  
предваряя дремучее лето,  
холодит, как всегда.

Виснут грозди, как тихие звезды,  
темень сучьев тверда и трезва.  
Льнет настойчивый воздух,  
эту нежность напрасной и поздней  
невозможно назвать.

Холодок между курткой и кожей,  
меж тягучих, медовых ночей,  
скоро будет он прожит,  
чуждой прихоти краткий заложник,  
некой воли веленье, а может,  
что всего тяжелее, ничьей.

## ПОПЫТКА ПСАЛМА

Каких еще тебе чудес  
какой судьбы еще для нас  
Господь с рожном наперевес  
и все пути ведут в Дамаск

я думал что его найду  
листая черные пласты

в каменноугольном саду  
пусты деревья и кусты  
преобразенные в руду  
глухого времени куски  
впечатанные лепестки  
оледеневшая роса  
но он повсюду на виду  
в тела траву и небеса  
подмешан тихо как вода  
и если я его найду  
в себе плутая как в аду  
то не узнаю никогда  
быть может я его найду  
не зная сам зачем ищу  
в барачном каверзном бреду  
глотаю слезы и паршу  
о если я его найду  
то ни о чем не попрошу

остаток нежности твоей  
угрюм и свеж как снеговой  
и все бессмысленно вдвойне  
как тени веток на стене.

\* \* \*

Неважно, в какой стороне  
тебе забывать обо мне.  
Все наши обиды, обеты,  
победы, надежды и беды —  
давно уже там, в глубине,  
на дне, в голубой тишине  
привольно струящейся Леты.  
В распахнутом настезь окне  
так много прохлады и света.  
Не верится даже, что это  
в оставленной Богом стране.

# ГОД ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА

## РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ

*Роман-размышление "Год Федора Степановича" написан в 1977 году (первый вариант). Автору было тогда двадцать два года и принадлежал он, без спору, к тем самым "русским мальчикам", о которых с чуткой, суеверной любовью — не отцовской даже, а почти материнской — не уставал размышлять Ф.М. Достоевский. Самый этот тип казался безвозвратно исчезнувшим, — но вот перед нами доказательство его неистребимости, одно из доказательств.*

*Дмитрий Анатольевич Леонтьев родился в 1955 году в Москве. Окончил музыкальное училище при консерватории по классу фортепиано. В двадцать лет сблизился с кругом московских правозащитников. В 1977 году роман "Год Федора Степановича" без указания имени автора появляется в самиздате. В 1978 году — арест и административное наказание в связи с попыткой присутствовать на суде над Орловым. В 1979 году — поездка в Среднюю Азию с целью помощи политическим ссыльным. В 1981 году — открытая слежка за ним, многократные допросы в КГБ в связи с деятельностью "Фонда помощи заключенным". 14 февраля 1982 года — смерть от приступа астмы.*

*Единственная публикация — посмертная — "Дневник в четырех главах" появилась в журнале "Даугава", № 4 — 5 в 1990 году. Роман "Год Федора Степановича" подготовлен к печати в сокращенном, журнальном варианте.*

*Не завидую тому, кто задается целью прочитать роман-размышление Дм. Леонтьева с ходу и с маху. Не повезет и тем, кто будет нетерпеливо искать, "что там дальше". Дальше, если угодно, — "то же самое", хотя всегда другое. В этой прозе нет интриги, нам привычной и внятной, она развивается не столько линейно, сколько по кругу, заданному природой для медленных приращений, для годовых колец. Может быть, и читать ее следует так же, приращивая с сознательной сдержанностью по странице, по две? Останавливаясь наболго. Не ожидая, может быть, и откровений, и философских открытий: автору и герою — навсегда двадцать лет; я вовсе не намекаю на то, что тут потребна какая-то снисходительность. Но от всякого возраста бесполезно требовать не свойственных ему преимуществ; двадцать лет и без того дают массу поводов смотреть на них и из ребяческого, и из старческого, и из зрелого возраста не сверху вниз, а снизу вверх. Ни Федор Степанович, ни сам Дм. Леонтьев, как ни старались, не выскочили из своих лет, — сожалеть ли об этом?! Герой и автор, сращенные, как сиамские близнецы, с одним сердцем, одними легкими, их вопросы к Богу и бытию, неожиданно трудные — думается, даже для тех, кто спешит; так вопросы ребенка способны поставить в тупик синклит мурецов... — вот интерес предлагаемой вещи, ее смысл.*

*Предлагается медленное, вдумчивое чтение не для каждого: для тех, в ком заветы будут передаточные шестеренки к собственным исканиям, заблуждениям, воспоминаниям. Через десятилетие после рождения этой книги, впервые — в путь к вам, читатель. С Богом!*

Р.Д.

## ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Этот роман как целое предстал сознанию автора вскоре после достижения им двадцать первого года жизни. Материал его составили записи двадцатого и немного девятнадцатого года жизни. Еще год ушел на запись всего: оно тяготило, как прошлое, от него хотелось избавиться, чтобы ринуться в настоящее. В романе самое главное — стремление отыскать корни трагедии нашего времени в себе самом. И тогда — автор надеялся — неумеренная любовь к самому себе сменится более плодотворным и человеческим отношением. Если бы Федор Степанович, столь искренний в описанный им год, увидел свое будущее после этого года — он бы лопнул как мыльный пузырь: он и лопнул как пузырь. Прошлое должно умирать, чтобы наступило будущее. И все, оставившее след в этом романе, осознано себя наконец лишь как пролегомены — не зная еще, к чему...

Как бы ни хотелось автору создать плавный переход от бытия, потерянного в материи, к сознательному пребыванию в мире духовного — а такая задача была! — все же переход этот не плавен, ибо между грезамидо духовном, дальше которых не шли и самые известные наши философы и богословы, — и реальным познанием духовного существует пропасть... Как душевный сон, так и интеллектуальные абстракции равно свойственны моим соотечественникам. Греза чувств, абстрактность сознания и паралич воли — длят и длят то состояние страны, которое мешает ей освободить себя от зла и разрушения. Самосознание должно пробудиться у великого числа живущих людей. Самосознание и устремление к духовной свободе. Общество не может решить своих проблем, если в нем несвободно духовное начало. Единственная тема романа о Федоре Степановиче — свобода духовной жизни, свобода внутреннего мира — духа и души.

Тем чувством, которым понимается первая часть, — не принять вторую, а тем чувством, которым понимается вторая, — не понять третью. Наш герой, живущий головою, осенью жил естественно, но зимой почувствовал недостаточность такого существования и поспешил наполнить себя нарочитою, сочиненною жизнью. Весной же он ощутил в ней фальшь и, отказавшись от нее, летом снова был наполнен реальной живой жизнью. Человек, работающий над собой внутренне, ощущающий в себе развитие, поймет все это правильно и не будет цепляться за отдельные, может быть, странные слова в этой книге. Он возьмет из нее то, что она может ему дать. А ненужное — пропустить... Такой подход к литературе в наше время можно было бы считать здоровым, нормальным. Ведь слишком много пишут, слишком много... Это не значит, что автор хотел бы избегнуть ответственности за те или иные слова. Это значит лишь, что все должно пониматься в той связи, в которой оно представлено, а не в некоем отвлеченном, абсолютном смысле. Например, не все, сказанное летом, справедливо зимой, особенно если оно исходило из души: душа ведь летом иная, чем зимой.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

Отчего год?

Оттого, видимо, что надо с чего-то начать и чем-то кончить неслучайно: в некоей точке осознав себя — отправиться в неизвестный путь, дальше и дальше, пока не пропадет она из виду. И в точке самой отдаленной вдруг увидит, что замкнулся круг; снова встретит и узнать себя с обратной стороны...

Все имеет начало, середину и конец. Начало и конец чем-то схожи. Задетая струна молчалива в начале — молчалива и в конце; посредине же вибрирует, звенит, и то, что исполняют на этой струне, повторяет в конце мелодию начала. Всякая форма образуется повторением. Но сходство начала и конца — относительно; по-

вторение — мнимо. Для того и существует сходство, чтобы явственной проступило различие. "После смерти" — не то же, что "до рождения"; "после конца" — не то, что "до начала". В этом тайна числа 3.

Конечно, жизнь можно представить и как дурную бесконечность: 1-2-1-2-1-2-1... Но это значит не чувствовать ничего нового в происходящем, а видеть в нем только повторение старого. Жизнь становится тогда серым фоном, на котором звучит интонация искушенности, разочарования, отчаяния ("Ночь, улица, фонарь, аптека...").

С таким же основанием жизнь можно представить и как наивную бесконечность (1-2-3-4-5...), где каждый день — совсем другой, без всякой связи со вчерашним, — и не умолкают возгласы удивления. Но все это — неполно, несовершенно. Истинный символ жизни — число 3. Оно оберегает и от разочарованности, и от легкомыслия, в нем уживается и новое, и старое, оно означает не продолжение и не повторение, а — преображение...

...Тут Федор Степанович открыл глаза и стал изучать своих соседей по вагону, чтобы проверить, как оправдывается им открытая истина на эмпирическом, так сказать, материале. Люди, однако, сидели отвернувшись: кто — в окно, кто — в газету; опустил глаза и Федор Степанович.

— Это, конечно, недоказуемо, — продолжал он про себя, имея в виду различие между началом и концом. — Никому этого не объяснить. Каждый ведь считает, что то, что он знает, — и есть истина: (он еще раз угрюмо взглянул на пассажиров, но поспешил скорее закрыть глаза: женщина напротив ела клубнику, глядя в окно, а хвостик бросала прямо на пол).

— Ведь каждому становится тошно от слишком правильной симметрии. Мир лишь внешне, как бы случайно, совпадает с правильными рассудочно-логичными формами — и то не вполне. Познавать его по этим формам — значит удалиться от его первоисточник и вечно мучиться этим маленьким несопадением — как бы все время жить с не совсем чистой совестью: все вроде бы и правильно: хорошее — хорошо, плохое — плохо... а совесть почему-то все же неспокойна. Этому маленькому остатку и тесно всегда в мире, он-то и не дает остановиться, успокоиться. "До начала" не то же, что "после конца" (иначе жить было бы незачем). Поэтому и жизнь вернее представить не как 1-2-1 (небытие-жизнь-небытие), а как 1-2-1{3}: рождение-жизнь-смерть (воскресение)...

Так размышлял он под стук колес по пути к священнику, где собирался тайно (во избежание неприятностей по службе) принять крещение. Он слышал, что перед смертью человеку предстает в одном мгновении вся его жизнь, и, чувствуя себя в схожем положении, пытался единым взглядом охватить все прожитое.

Вереница Федоров Степановичей выстроилась по уходящему вдаль коридору. Каждый следующий был, по законам перспективы, больше предыдущего, но и прозрачен для него. Все они, как матрешки, помещались в нем сегодняшнем, последний раз показывая свои лица, чтобы навсегда уже уйти в прошлое.

Он узнал бледного отрока с перекошенными отвращением губами, с полузакрытыми — чтобы не видеть "окружающей мерзости" — глазами, ночами тайно писавшего стихи, "которых никому не понять", а днем мучавшегося непризнанностью, уязвленным самолюбием и несчастными влюбленностями. Уязвленный отрок закономерно переходил в совершенного гордеца, глумящегося над "всеми и вся", "эпатировавшего буржуа", "бросавшего вызов судьбе". Гордый насмешник, однако, ужаснулся внезапно своей неосновательности и стал искать "положительных основ жизни", и это почему-то выразилось в том, что он пополнил, женился на скучной некрасивой женщине и бранил при случае с непонятной раздражительностью в особенности три вещи: романтизм, либерализм и женскую красоту, напирая при этом на то, что сам-то он — "совершенный консерватор".

Однако и в этом образе он не ужился и прежде всего, конечно, сбежал от жены, утратил положительную тучность, а вместе с нею — самоуверенность, вместе с ней и удовольствие от самого себя, вместе с тем — и радость жизни, и искал теперь замену этому всему, очередную замену самому себе.

Оглядев вереницу своих предшественников, Федор Степанович поморщился с брезгливой жалостью: как могли они жить, такие безобразные, не зная, что насту-

пит сегодняшний день? Как могли довольствоваться своим жалким, химерическим существованием, как могли принимать его всерьез, будто это и есть жизнь, — не замечать собственного уродства и пустоты вокруг? Однако для чего-то и они были нужны. Неведомый ангел-хранитель спасал Федора Степановича от окончательной, необратимой гибели души и тела, как бы сохраняя его для этого вот сегодняшнего дня...

Федор Степанович встряхнулся, и они окончательно отделились от него, заняв подобающие места на восходящей спирали его жизни. — Теперь, хотя и прожита целая жизнь — но она обветшала уже, теперь должна начаться новая — от нуля, от младенчества — уже у небесного Отца...

— Отрицаешься сатаны, и всех дел его, и всех ангел его, и всего служения его, и всяа гордыни его

— Отрицаюся

— Отрицаешься сатаны и всех дел его

— Отрицаюся

— Отрицаешься сатаны...

И когда, как гусь, шлепал мокрыми ногами вокруг тазика, тогда ангелы — у такого неуклюжего — подхватили новорожденную душу, и вдруг открылось: не одинока она, но столько братьев и сестер кругом, живых и умерших; и в те минуты, когда ничего кроме мрака не видела — они ведь ждали, ждали с нетерпением, готовясь к празднику этой встречи. (Вот такой, наверное, и будет смерть: момент этот настанет вновь после всех отступничеств и падений...)

Сон ли это упокоение в потоках света, этот вольный полет там, где нет прошлого, а будущее — все прозрачно насквозь... Что еще держало его там, на земле, когда все родное оказалось в этом искрящемся эфире и звало его все выше за собой, в те небесные сферы, которые едва угадывались в полумраке земных вдохновений! Не жестоко ли после этого возвращаться обратно, туда, где никому он не нужен, ни с одним человеком не найдет уже общего языка, а старый язык — совсем забыл и не понадобится он больше...

— Господи! Возьми меня к себе, не хочу я больше в этот ад! Друзья мои все здесь, и я там — лишь телом. Что толку, что проволочу его еще сколько-то лет, еще сколько-то грехов прибавлю в мир!..

Тут Федор Степанович вспомнил о своих друзьях. Один из них покончил с собой от безысходности и отчаяния этой жизни; другой — от того же — навсегда покинул эту страну; третий — остался с мыслью, что он один призван своею жертвою искупить грех всего народа — и все из-за того же... Невозможно было представить всех этих людей хотя бы просто в одной комнате, не то что сошедшимися в какой-то общей идее: не примут друг друга всерьез, не сядут за один стол, не прочтут хором "Отче наш" и чаю вместе не захотят выпить... Однако каждый из них — чувствовалось — неразрывно связан с другим. В чем же эта связь?

Их рознь разрывала душу Федора Степановича, как и его собственная душевная смута. Почему, когда обижают его — больно и мне? — недоумевал он. — Что заставляет меня внутренне разделять участь каждого? Как будто у нас одна душа...

И ему представилось, что все они одновременно вращаются по своим орбитам вокруг единого центра, не задевая один другого, не имея возможности войти в поле другого, но своим положением в околосолнечном пространстве обнаруживая свое отношение к Нему. И все были братьями в Нем, ведая о том или не ведая, желая того или не желая... Он отыскал и свою орбиту. Верхняя ее граница расплывалась в золотых лучах, нижняя — сливалась с внешней тьмой. Неясная граница посередине разделяла свет и мрак. Он обрадовался было, увидев себя в светлой половине, но приглядевшись, заметил, что его двойник есть и в темной. И насколько светлый поднимался, настолько темный опускался. Впрочем, пока оба не выходили за пределы красноватой полосы в средней части круга — это было поле жизни.

Как прошло лето, Федор Степанович и не заметил. Он затворился в своей комнате и покидал ее лишь ради службы, которая висела на нем тяжким бременем. Там должен был он рисовать ценники для продуктов, сооружать стенды с портретами ударников коммунистического труда, а при случае — писать лозунги, которые подгоняли и понукали идущих к коммунизму людей.

Сослуживцы его, толстые бабы-продавщицы, относились с сочувствием к его скорбному виду и намекали, что, мол, нашел бы он себе хорошую жену — вон их сколько! Федор Степанович на это краснел и злился, и дожидаться не мог, когда наконец доберется до дома и повернет ключ в двери. Дома же ночами напролет просиживал за письменным столом, пытаясь уловить в слове нечто дразнящее и ускользающее, что, как он полагал, было дуновением Духа, который дышит где хочет.

— Я занимаюсь только теми вопросами, которые не разрешаются моею собственной смертью, — гордо утверждал он. Но в следующий момент смиренно сознавался: я — лишь дырявый сачок для истины. Однако в его утверждениях слышались интонация превосходства, сознание избранности, которое незаметно для него самого усилилось после того, как стал он называть себя христианином...

Вот предварительное знакомство с Федором Степановичем и состоялось, а большую часть этой книги займут, видимо, его записки.

## 2

Начал Федор Степанович свои записки молитвой; разом излившейся из души его в минуту отчаяния:

"...и пусть меня гонят и отнимают причитающееся мне — а я уйду еще дальше, чем меня гонят, и откажусь от большего, чем то, чего меня лишают, — и создам такой мир внутри, который не поколеблет не то что гонение, а и конец мира со всеми дарами его, и конец жизни со всем, что дорого мне. И в этом предельном отречении и уединении найду новую жизнь, новые дары и новое единение с ближними моими, и вновь востановлю в душе своей добро и волю к доброделанию, поскольку это в моих силах.

А дальше — Твоя да будет воля, Господи!"

Дальше писал он так: можно считать, что "воплощение зверочеловечества" в основном завершено. Вопрос только в том, "может ли наша вера в смысл жизни выдержать это огненное испытание? Эта вера — уповаемый извещение, вещей обличение невидимых. А то зрелище, которое служит наглядным ее отрицанием, видно из каждого окна". Были это слова читаемого Федором Степановичем Евгения Трубецкого, написанные еще в 1917 году, и их хотелось Федору Степановичу без кавычек повторить в 1977-м.

Известный акустический эффект: сказанное тихо в одном конце зала отчетливо слышно в противоположном, несмотря на расстояние. А больше нигде, ни в какой точке услышано быть не может. Ныне вынырнувшие из утробы "звери" особенно близки к тем, для которых она разверзлась впервые. Так два момента истории, точнее — нравственного состояния оказываются родственными друг другу...

— Что же досталось мне? — продолжал Федор Степанович. — Сильно поредевший ряд предков, после третьего колена и вовсе пропадающий; несколько уцелевших родственников, оглушенных и утративших память, сомнительное будущее потомков. А я — малая частица в общем потоке миллионов таких же, плывущая по пищеварительному тракту чудовища, намерения которого от меня скрыты. Тогда, в семнадцатом году, думал ли кто, как сохранить накопленные веками? У меня же сейчас одна забота: заново познать смысл жизни вопреки столь очевидной всюду бессмыслице! До сознания, до того, как началась память, с плаката встало передо мной это лицо: про-ле-та-рий, прямым, открытым, честным взглядом глядящий в пустоту. Непоколебим в своей уверенности, непогрешим в своей правоте, несокрушим в своем оптимизме — я засматривал ему в глаза — он же меня не замечал и все так же глядел в пустоту... Вперед. В будущее. В светлое.

Можно морщиться от плакатной грубости и некрасоты, связав тот лик с реальностью, мучиться вопросом: это и есть олицетворение моего народа? Но как же быть с миллионами погубленных жизней, о которых вспоминают так редко? А плакатный лик... никогда не возьму из его рук, не отдам ему ни частицы своей души!

Но что же остается, если отнято может быть все: любое дело, которое начну, любой человек, которого люблю, кусок хлеба и сама жизнь? Остается мое отчая-

ние, остается моя воля, которую никто отнять не может. И стоило ей осознать себя, на одно мгновение почувствовать свою победу, как против плакатного лица обозначился другой... Он меня узнает, я на него смотрю.

Когда жизнь безобразна — то легче от нее оттолкнуться и обратиться к Богу. Когда все отнято — остается либо ничто, либо вера. Вера легче родиться из ничего, чем из чего-либо мирского. Отказ от всего освобождает душу, вера дает смысл этой свободе. Задавленная социальная личность рождается вновь в личности религиозной, над которой власть мира не властна.

Не стало дома, не осталось в душе этих милых закутков, которые так жаль отдавать. И если даже до последнего листка сгорят старые книги и ни одно слово истины не сможет проникнуть извне к новому поколению, "Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам..." Если бы великое зло мира породило великое добро в нашей душе — это было бы утешением...

Федор Степанович уверенно записал: "Религиозное сознание представляет неограниченные возможности достижения истинного миропонимания. Оно не связано ни собственными интересами личности, ни ее природными границами. Подлинная религиозность начинается от бесстрашной трезвости восприятия, от видения неразрешимых мировых противоречий и разломов жизненного смысла. Перед этим видением несостоятельными оказываются все частные решения, временные выходы из положения. Либо жизнь со всем своим scarбом опрокидывается в небытие — либо находит себе опору в вечном.

Но жизнь оказывается маленьким островком между вечностью и небытием: то она — призрачное существование на границе смерти, то — прообраз подлинного, вечного бытия. Человек — то трагическое недоразумение, то — образ и подобие Бога. Сама жизнь есть антитеза себе, как и личность. Полюс этой антиномии — за пределами жизни и личности. В результате — ни одно явление жизни не равно себе и не может быть определено однозначно.

Для многих наука стала как бы заменой религии. Для других религию заменяет искусство. Но не наука сама нам нужна, и не само искусство, а то, что есть в них от религии, что дает жизненный смысл, причастность к истине..."

Здесь Федор Степанович вдруг остановился. Он почувствовал, что мысль работает быстрее, чем рука способна записать. Он начал развивать в уме фундаментальную теорию "мировой антиномии", положительного и отрицательного начала, пронизывающих весь мир, нигде не пересекаясь. Возникающее между ними поле высокого напряжения — и есть поле жизни, отсюда и черпает она свою энергию. Антиномия — вечный двигатель жизни... На этих словах Федор Степанович отодвинул от себя бумагу, и мысли его понеслись свободно, обгоняя одна другую.

### 3

...Каждая личность создает свою истину — ту часть истины, которую она способна вместить... но когда в этой жизни, здесь, сейчас пытаются замкнуть плюс на минус, разрушительный разряд проходит через поле жизни, вызывая катастрофу. Противоречие, не разрешенное внутри, выносится наружу, из сферы лично-религиозной в сферу общественно-социальную. И тогда земля становится адом. ...Все человеческое существует между вечностью и небытием и связано с первым — через свой совершенный и нетленный образ, со вторым — через образ грешный и смертный. Велик соблазн: вместо нравственного очищения и восхождения к Божественному — свести Божественное на уровень человеческого. Но тогда остается лишь сила земного притяжения, тянущая вниз; с отрицанием Бога освобождается сила дьявола; Богочеловеческая связь заменяется связью дьяволочеловеческой. Возникает и особая религия, которая есть отражение Богочеловеческой религии в кривом зеркале... люди начинают молиться чудовищам аморализма... благоговение перед святынями заменяется самоуничижением перед сильными сира сего. Идеи нового учения объявляются бессмертными и непогрешимо верными. Но какие могут быть вообще идеи — именно идеи — в царстве материализма? И как возможна абсолютная истина там, где истина — классовое понятие, то есть относительное? И



откуда бессмертие, если отрицается существование души и считается, что все приходит из небытия и уходит в небытие?

Идеология паразитирует на религиозных силах личности. Личность спекулирует религиозными категориями, возвеличиваясь в них. Она все берет от них, не чувствуя себя ничем им обязанной: пафос нравственной правоты — отрицая саму основу нравственности и общеобязательных нравственных законов; абсолютную истинность — не утруждаясь собственными поисками истины: внешняя агрессивность при нравственной пассивности — вот психология этой новой религии... С утратой Божественного начала исказилась картина мира в сознании, а затем и в реальности. Вера, смиренно выносящая праосновы жизни за ее пределы, сменилась самоуверенностью. Истинный образ мира был как бы спроецирован на одну лишь земную жизнь. Его многоплановость и разнокачественность была втиснута в однородную трехмерность — наподобие отражения объемных предметов на экране: глубина оказалась иллюзией, стремление увидеть невидимое лишь породило призраки и обман зрения. Вместо подлинной картины получилась карикатура...

Христианское сознание, отражающее Богочеловеческую связь, видит две природы одновременно, ни одну не умаляя, в свободном равновесии. Христианство основывается на двух друг другу противоречащих, но равно обязательных заповедях: 1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. 2. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Христианство есть связь несоизмеримого: временного и вечного, относительного и абсолютного, человека и Бога. Оно предполагает как бы одновременное видение противоположностей, каждая из которых несовместима с другой, делает ее немислимой, невозможной. Поэтому христианские истины не могут быть выражены иначе, чем в форме внутренне противоречивой, но в каждой своей части равноистинного утверждения. Таковы догматы: единство и троичность, Божественная и человеческая природа Христа... Христианство антиномично насковзь: от своих первооснов до самого элементарного. От основной Антиномии: Божественного и человеческого (вечного и временного, абсолютного и относительного) — до многозначности самых простых понятий. Ни одно явление жизни не может быть объяснено однозначно. С этим связана и противоречивость нравственных положений, которая столь озадачивает новичка, приступающего к чтению евангелий... Это говорит о том, что истина может выражаться в любом из них. Сколько личностей — столько и видений истины, и когда кто-то говорит: я знаю истину — в этом нет ничего удивительного. Странно только, когда другой обижается на это и возражает: не ты, а я знаю истину. Мера истины каждого — его личность, а судить личность не входит в компетенцию человеческого суда.

— Я могу усвоить множество систем, — они раздвинут поле моего зрения вширь. Но вглубь и вверх — продвигаюсь я сам, и это не зависит ни от количества знания, ни от того, что я сам о себе думаю. Путь духовного совершенствования проходит в полном одиночестве. Лишь суд Божественный и представитель его в человеческом — совесть могут измерить этот рост. Душа тогда предстанет, какая она есть: одинокая и голая. Сколько систем рухнет при этом, оказываясь лишь иллюзиями самости, грезящей о себе во вселенских категориях!

Значит, если и можно до известной степени разделять идеи на истинные и ложные, то никак нельзя судить людей по принадлежности к этим идеям. И сами идеи, соединяясь с личностью, становятся относительными. В бесчеловечном мире просто человеческое лицо становится светлым, чуть ли не божественным, а чистый гуманизм может объединять в себе истину, добро и красоту... Идеи — полупрозрачные одежды личности. Ведь и чистый коммунизм — абстракция в нашей жизни. Ее реальность — это слав личности и идеологии. Все религии в их человеческом понимании — истиннее, чем сама Истина. Материальное и социальное благополучие — понятие, нужнее вечного блаженства: в то время как рай может казаться ложью, насмешкой над страждущим человечеством, практическое улучшение жизни дает реальную надежду, оно соизмеримо с человеческими масштабами мышления. Надо вместить это противоречие: неосуществленная истинность религиозной надежды и — осуществленная неистин-

ность надежды социальной. Религиозность множества "малых мира сего" была узурпирована и использована во зло кесарем. Но где тут вина, а где — беда?

Личность осмысляет себя нравственно. Осмысление это происходит в той системе понятий, которая ей ближе. А если имеется только одна такая система, а к другим — доступ закрыт и память о них искажена? Приходится втискиваться в имеющуюся. И вот может оказаться, что даже самая неестественная и абстрактная идеология, оживляясь жизнью личности, начинает жить и сама, при этом внутренне (что снаружи может быть и незаметно) перерождается: ее термины наряду с основным значением приобретают дополнительные, которые могут и не осмысляться, но ощущаются сокровенно. Под жесткой идеологической формулой личность подразумевает нечто более гибкое и естественное, более близкое к себе и интимное. Так жерелогия может стать оболочкой истинной религии личности. Религиозные чувства, исходящие из глубин личности, переносятся на эту внешнюю оболочку, освящая ее. И разрушение этой с детства вживленной в сознание оболочки может стать катастрофичным и для самой личности. То, что само\* по себе пусто и мертво — для личности может быть символом полноты жизни, ее собственной единственной жизни. В действительности, в которой смешались и преобразились различные системы, сквозь их современную оболочку проступит иногда христианский строй души. И наоборот...

Что же окажется в конце времен, когда рассеются идеологические перегородки между людьми? Всеобщее избиение заблудившейся твари? Суд над каждым по его вере? Велики грехи, но велики и страдания. Тяжко искупление, но близко утешение... (Тут Федор Степанович тяжело вздохнул и рука его долго оставалась неподвижной.)

...Итак, все, что ни напишу, будет истинным лишь настолько, насколько соответствует моему реальному внутреннему содержанию. Доказательства или опровержения моих истин — только во мне самом. Поэтому я отказываюсь от внешнего доказательства: истина может выражаться и неправильными умозаключениями, как и ложь — выглядеть убедительной, — и выбираю форму самосвидетельства: дневник, а не трактат.

#### 4

Федор Степанович очнулся, стряхнул с себя задумчивость и едва ли не в первый раз со дня крещения огляделся вокруг. Листья на дереве против его окна почти все облетели, лужа близ него покрылась ледком, роскошные осенние краски выцвели и поблекли. Декорации сменились незаметно, и вместе с ними летнее видение, владевшее им все последнее время, вдруг потусклоло, потеряло былую значительность и ушло вдаль, в прошлое. На его месте открылось новое, настоящее, которое Федор Степанович еще не узнавал и потому чувствовал себя довольно беспомощно, будто тот, кто его заставлял что-то делать и давал смысл всем поступкам, от него отвернулся, утратив к нему всякий интерес. Федор Степанович подумал было, что в чем-то ошибся, чем-то согрешил, что можно еще возратить как-нибудь обретенный им смысл. Но это оказалось невозможным: того смысла уже не было. К беспомощности примешалось и чувство свободы: он ощущал себя никому ничем не обязанным — будто в неведении, умея летать, но не зная, куда лететь. И в том, что смысл, казавшийся окончательным, вечным, ушел сам собой, не требуя больше для себя жертвы (на которую был готов Федор Степанович), заключался соблазнительный вывод: человеческая обязательность перед абсолютным — жалка и смешна; категорический императив — не столь уж и категоричен, раз Сам Он не всегда требует выполнения Своих требований.

Здесь открывалась возможность — не греха — но свободной игры: не связывая свой дух с вещами бренного мира, играть ими вне зла и добра, подчиняя их косность собственной свободе. Кожаный переплет Феофана Затворника, подарен-

ного ему при крещении, настроил его, однако, на благочестивый лад. — На то и дана мне свобода, чтобы я распорядился ею как христианин.

Желая употребить свой досуг на богоугодное дело, Федор Степанович решил пойти на вечернее богослужение.

Подходя к храму, он увидел десятка два старушек в черном: одни из них стояли, другие сидели на скамеечках, о чем-то судача. Он понял, что пришел рано: двери храма еще не открывали. Одна из женщин, помоложе и в красном берете, что-то возбужденно рассказывала, злорадно разоблачая поступки какой-то "гадины" Федор Степанович услышал непонятный отрывок разговора и ужаснулся: "Не грызи губы на морозе! — а у самой заместо губов все черно... Картошка-то вся погнила... Царица Небесная!"

Слова, не имея смысла, звучали страшно, и назойливо потом не выходили из памяти.

Заметив Федора Степановича, все как сговорившись замолчали, бросая подозрительные и осуждающие взгляды. Они как бы искали повода прогнать его, но он такого повода им не давал, прохаживаясь с достоинством поодаль, — и им приходилось терпеть и крепиться, не давая выхода растущему напряжению, — лишь перешептывались и вновь принимали обижено-независимые позы.

— А я яму и говорю... — попытался кто-то продолжить разговор, но разговор так и не возобновился: все молчали, следя за Федором Степановичем одинаковым змеиным взглядом. Почувствовав сврю неприкосновенность, он поджал губы, желая придать себе еще более достойный вид, и продолжал не спеша прохаживаться, наблюдая украдкой за лицами. Их фактура существовала как бы сама по себе, независимо от ее носительниц, но в то же время обладала пугающей реальностью. Конкретность лиц трудно было разглядеть: какие-то неровные поры, клоки волос, слезящиеся морщины, холодные влажные складки как будто уже расплывающейся кожи... А нищий на паперти — так и вовсе кусок чуть тлеющей плоти, стремящийся в смерть. И как пузыри со дна, на поверхность выступили бородавки. Федор Степанович на мгновение уловил его напряженно застывший взгляд, словно переживающий странное недоразумение — жизнь; бугорчатые веки его изредка смаргивали, отмеряя течение неживого времени. — Заговор жаб, сидящих кружком на краях общей ямы...

— Как же так? Тот самый рот, который о гнилой картошке только что — сейчас о пречистой деве? Федор Степанович не мог понять и отвлекся в другую сторону. На том конце церковного дворика, у ограды кладбища, толковали еще две женщины. Одна из них держала за руку девочку лет семи, — та хныкала и вырывалась, — но она дергала ее обратно к себе. Потом девочка вдруг перестала хныкать, подняла голову и проговорила что-то в небо умоляющим голосом. Подождав немного, подбросила в небо горстку пшена. Со всех сторон налетели голуби — она совсем потонула в них — и пока они жадно клевали пшено, смотрела вверх с напряженным ожиданием, тормоша кармашек розового пальтишка, готовая уже плакать оттого, что пшена не хватало.

Федор Степанович чувствовал себя здесь гадко. Он отвернулся, хотел было уйти, но тут стукнул засов и открыли двери. Он встал в сторонке, пока эта черная воронья стая не просенит в храм. Потом и сам вошел, и, пройдя мимо приготовленного к отпеванию покойника, встал впереди всех, у самого клироса, чтобы избежать неприятного чувства близости множества чужих людей.

Ровный бесстрастный голос скороговоркой читал часы, старухи крестились, шурша одеждами, лики на стенах с правильными чертами и с одинаковым нарочито-умильным выражением напоминали валетов, дам и королей на игральные карты. Он вспомнил: кто-то говорил ему, что священник этой церкви — человек дурной. И хотя он хорошо усвоил, что священник и человек, исполняющий эту роль, относятся к разным категориям, одна другую не затрагивающим, однако на практике это разделение казалось искусственным. В обычной жизни он презирал таких, а тут, в самые торжественные минуты он должен был делать исключение и принимать причастие из таких рук...

Дьякон был юн: худенький и хрупкий точно девушка, видимо, сразу после се-

минарии, он благоговейно и осмысленно произносил слова старых молитв, своей серьезностью заставляя слушать, понимать и молиться вместе с ним.

За окнами совсем стемнело. Федор Степанович вспомнил, как он в детстве ходил в сумерках вокруг храма, зачарованный мерцанием лампадок и тихим пением из окна. Там, рядом, казалось ему, было что-то особенное, таинственное, но он не решился войти...

Кто-то коснулся его плеча. Маленькая сухонькая старушка протягивала ему свечку, приветливо поясняя: "Спасителю", и когда взяла, перекрестилась со словами "Спаси Господи!". Он зажег, поставил, и возвращаясь на свое место, оглядел храм. При свете свечей лица молящихся казались восковыми, почти прозрачными, одной природы с этим светом. Им блестели и теплились глаза, и тепло от свечей и от лиц сливалось с тонкими струями кадыльного дыма. Благоговение стало проникать в душу и окутывать ее теплым облаком. Стронулась и согрелась душа, будто раньше была застывшей, и затопила, растаяв, все благодарностью и любовью. "...одно в мире теплое, последнее теплое на земле" — вспомнил он слова Розанова о церкви. Вновь входящие крестились на покойника, на иконы и растворялись среди других, принимая тот же облик. "Русская жизнь не грязна, и слаба, но как-то мила". Мертвы идеи без любви, и смерть без любви пуста! Фальшиво христианство без любви, без этой любви и сама любовь — прах. Без любви — погрязание в прахе, в безнадежном, и остается только тлеть вместе с прахом. С любовью лишь можно высвободиться из своей темницы.

...Любовь к другу — но друг мой умер. Любовь к ближнему — ближний не умирает, ближний всегда есть. Как доверить нам друга, если ближнего не смогли полюбить? Так ничего не удержалось, пустота? Что же тогда дышит и живет во мне? Друг ушел туда, куда не перейти нам, пока живы. Одна любовь верно следует за ним, и разве пустоту она находит там? Не мешать любви идти за каждым ближним — и она выведет всех из темниц. Ближние расходятся в разные стороны, и с ними — любовь к ним — разными дорогами, но всегда приходя к одному, к беспредельному, что чувствуется во всех концах...

Христианская любовь — самоотречение, но не то — драматическое, трагическое, скорбное... Христианская любовь — после того, — когда боль уже пережита, а жизнь — идет своим чередом. Христианство — только и начинается после смерти; христианская любовь: когда кто-то как бы умирает и начинает служить живым...

Переполненный этим новым чувством, этими мыслями, Федор Степанович вышел из храма, унося с собой запах еля, которым священник начертал крест у него на лбу. Темными дворами пробирался он к дому, боясь шумного и яркого проспекта. Любовь ко всем и вся переливалась за край души: ах, если б кого-то можно было этим спасти! И сколько ведь гибнущих и отчаявшихся: как бы сделать, чтоб через меня перешло это на них, одному мне этого слишком много, не вмещаю я столько, и не достоин такого, не вынесу больше одиночества!

Но как применить новое чувство? Что можно сделать, с чего начать, кого спасать?

И не находя опоры в настоящем, он обратился к прошлому, к недавнему воспоминанию о своем друге, который год назад покончил с собой. Вместе с ним отошла часть души; он и сам был близок к тому, чтобы повторить его поступок: темная яма завораживала, тянула к себе, обещала прохладу после зноя, отдых после трудов, побег из тюрьмы... Друг сбежал туда, где его не догнать, — а теперь стучался в душу обратно, будто что-то недосказал, недоделал, — и мучился этим.

Он стал вспоминать. Картины прошлого были подозрительно яркими, слишком уж яркими для того, что ушло навсегда, чего больше нет. — Небытие не может ведь быть реальнее самой жизни! Он вспомнил: разговоры, встречи, выражение глаз... все на месте, будто и не уходило никуда. — Да ведь ты где-то рядом! — в отчаянии прокричал он и окликнул его по имени. И прибавил шагу, чтобы не услышать ненароком ответа, — да близко и дом. Когда подходил к двери, ему казалось, что кто-то там поджидает. Воспоминание, или сейчас так? Он был готов и узнать его, и ничуть не удивиться... Федор Степанович отомкнул замок, вошел и заперся в своей комнате. Сутки не выходил он из дома, благо был вечер субботы. Сидел и

вспоминал, переживал заново каждое мгновение, каждое слово их последней встречи.

...Мы беседовали с Н. за чаем до утра. Зная его впечатлительность и болезненную раздражительность, я боялся высказывать свои мысли прямо, чтобы не нарушать его и без того непрочное равновесие, — ведь мои мысли совершенно противоречили его мыслям. Но именно из-за этой непрочности его равновесия, столь опасной для его решительного и легко возбудимого характера, которая могла оказаться при известных обстоятельствах катастрофической, я должен был высказывать свои мысли, так как считал, что вижу возможный выход и спасение для него. Таким образом, ставя себе целью благо Н. и будучи связан с ним давней дружбой, я оказался в тисках: с одной стороны, чтобы помочь ему найти выход из его кризиса, надо было доказать ему несостоятельность его собственного, уже найденного им выхода. С другой стороны, доказывая ему несостоятельность его выхода, я показывал бы ему его собственную несостоятельность, в то время как больше всего ему нужна была поддержка и сочувствие — может быть, единственное, что могло его спасти. Я был готов отказаться от чего угодно, лишь бы не допустить ужасной развязки, на которую он уже несколько раз намекал. Я чувствовал единственно только себя ответственным за него, ибо у него (да и у меня) ближе никого не было. Но вместе с тем я совершенно не знал, что тут можно предпринять. Моя фантазия бездействовала, в то время как его — неистовствовала, и иногда я терял уверенность относительно того, кто кого переубедит: я его или он меня. В первом случае мы оба оставались жить, во втором — оба не должны были жить, а третья возможность даже не приходила мне в голову. Ведь вопрос ставился вообще: существует ли в жизни смысл? Так было для меня. Для него же, как я потом понял, вопрос был в том, кто — кого, как будто он хотел в чем-то убедиться напоследок: то ли в своей правоте, то ли в своей неправоте. И тут я опять не знал, что делать: если он прав — то жить не нужно. Если он не прав — то ему жить не нужно. Наверное, были у него моменты, когда чувствовал возможность и других выходов. Тогда, видимо, он и приходил ко мне беседовать. Иногда казалось, что он чего-то ожидает от меня. Я предлагал ему все, что имел. Но под его взглядом все обращало в пустоту, да и меня самого переставало удовлетворять. Я чувствовал и не мог высказать. Он чувствовал и не мог высказать. Так и расстались навсегда с этим комком в горле. Не проходит комок ни вперед, ни назад, и я осторожно, издалека, будто о постороннем... дергаю за ниточку старого спора, — пусть он заведется, пусть дойдет до абсурда — и тогда сам увидит и сам поймет:

— Можно примириться еще со смертью случайного, единичного. Но чем глубже погружаешься в вечное и Божественное — тем страшнее небытие, жалче умереть совсем, тем все труднее уместить небытие в голове...

— Ты в вечности — как рыба в воде, — оживают его интонации, которые узнаю всегда, не спутаю ни с чьими. — А у меня вот ужас перед вечностью. У нас-то тут на земле хоть удавиться можно. А там — и это последнее право отнято! Кошмар!.. — и он с пародийным ужасом всплескивает руками и закрывает глаза.

— Вот видишь, какой фарс получается в твоем сознании! Ты пойми, что вечность, Бог — все эти категории — сверх, над сознанием. А ты пытаешься затолкать их туда — вот и выходит карикатура... Мы все — мирные, общечеловеческие вопросы пытаемся разрешить нашим разумением, но как бы хорошо ни придумали, оборачивается эта выдумка ужасным злом...

— А кому же тогда, по-твоему, решать эти вопросы?

— Сними ты с себя бремя ответственности за все мироздание! Предоставь это Богу!

— Но сам ты сказал, что нет его в нашем сознании. Как же нам полагаться на то, о чем даже и представления у нас не может быть?

— Вот именно поэтому-то, раз мы Его не можем знать, — нам остается в Него верить. Истины нет у нас, — но она есть у Бога. Так же и скепсис относительно человеческих возможностей предполагает упование на помощь свыше: слаб человек, но становится сильным, когда выполняет волю Божью.

— Да почему я-то обязан верить в какого-то Бога, которого не знаю и узнать не имею никакой возможности? Как можно навязывать это человеку? Устал он от ре-

лигий, устал уже, а у нас — особенно. Пора и в покое оставить! Единственное, в чем я уверен и за что жизнь отдал бы — это чтобы никаких религий во все не было. В детстве долбят: верь, верь в дедушку Ленина, верь, верь в коммунизм. Теперь вот — Христом стали долбить... Да почему я непременно обязан верить? Почему даже чаю нельзя мне попить без этой отравы?

— Разве я что навязываю? Я просто пытаюсь тебя понять, потому что считаю невозможным так уж ни во что и не верить. Неверие — это просто другая вера. Как вот у нас, например. Отвергли православие, утвердили атеизм, а что получилось в результате? Все лучшее от старой веры утрачено, а худшие ее стороны — они-то и развились...

— Да что ты мне все религиозных фанатиков в пример приводишь? Кроме них, что ли, нету никого? Простые люди, которые вынуждены носить на своей шкуре все эти ваши идеологические противоречия, — они-то чем виноваты? Почему нельзя просто жить и честно заниматься своим делом?

— А ты попробуй, поживи просто, да еще и честно. Если удастся — буду рад за тебя.

— Ты думаешь, что я не проживу без этой "борьбы за правое дело"? Я совершенно уверен, что ты находишь во всем этом особое удовольствие, что без этого ты чувствовал бы себя не у дел, и живи ты в другом государстве — то и там не смог бы жить спокойно, маялся, маялся бы и в конце концов стал бы ненавистным тебе сейчас революционером. Такие "вероучители", как ты и тебе подобные, способны на все, кроме одного: жить, как живут все люди. И если для тебя нынешнее положение — родная стихия, то для меня это трагедия, и всякая борьба — вынуждена. Нам надо не идеи какого-то рая отстаивать, а простую человеческую жизнь.

— Так ведь это вполне совпадает!

— Пока. И только на первый взгляд. Всякое стремление к сверхчеловеческому неизбежно приводит к античеловеческому. Это вино, которое вы пьете. А помехе достается другим. Нет, меня это не удовлетворяет. Я хочу — если даже погибнуть — то в трезвом уме. Вы же — как солдаты, которым перед атакой дают спирт...

— Это ложные аналогии. Опьяненное сознание — именно сознание безрелигиозное, не свободное от самого себя. Истинная же вера — нечто противоположное. Она начинается именно от бесстрашной трезвости восприятия, при которой только и можно видеть без искажения. И там, и там — невидимое. Но в первом случае это самообман, иллюзии субъекта; во втором — духовная реальность. К первому приводит стремление убежать от истины, ко второму — стремление к истине.

— Да что ты мне катехизис читаешь? Каким это тебе чудесным способом удастся отличать истинное невидимое от неистинного невидимого? Ты или с ума сошел, или нарочно мне голову морочишь...

— Может, ты мне голову морочишь? Неужели в самом-то тебе нет этого чувства добра и истины? Нет того чувства, что ты — не только от этого мира, но какой-то частью своей существуешь и где-то еще, перед чем все здешнее — суета и незначительное... Неужели же никогда в твой мир не прорывался этот свет мира иного: совсем иного качества, иной природы, так что не спугаешь его ни с опьянением, ни с галлюцинациями, а знаешь, что это реальность, но реальность иная... Неужели никогда...

— Никогда. Ни-ко-гда!

— Не верю.

— И зря... Впрочем, было что-то несколько лет назад, правда, в другой связи.

Да ушло с юностью. Мне и вспоминать-то сейчас стыдно те мои восторженные настроения. Обычный студенческий зуд, подогретый некоторыми переменами в жизни. Да можно ведь и понять. Ты только подумай: вчера он — "гений всех времен", а сегодня его всенародно клеймят, развенчивают... как тут не прийти в экстаз! Тогда вот и казалось, что добро, истина — это реальность, какая-то иная, чем в обычной жизни...

— Я не это имел в виду.

— А я не об этом и говорю. Ты послушай, что было дальше. Ничего

особенного. Разочаровавшись в своих надеждах, я уехал к себе в провинцию с семьей. И началось: работа — суббота, работа — суббота... Ты вот мне только что толковал про какое-то особое видение мира. Не знаю, что такое видишь ты, а у меня за эти годы сложилась вполне определенная картина. Отработает человек свои восемь часов, проголосует на собрании против империализма и сионизма, поклянется в верности партии и правительству, получит получку, выпьет с товарищем, с которым рядом на собрании сидел, поругает с ним вместе начальство — потом и до правительства дойдет... приползет домой, ну, избьет жену, ну, с ней же потом ляжет спать... А утром, с похмелья, опять на свое место, план перевыполнять. ...Так если тебя именно истина интересует, то е-то как раз здесь и надо искать. Все построения о том "как нужно" разобьются о то, что есть. А есть — огромный такой Левиафан. Разлегся и кормится как может. И все эти революции, правительства, свободы-несвободы, тирании, теократии, демократии, коммунизмы и катаклизмы — все ему ничто. Переделай сейчас вот весь строй, измени идеологию, экономику, поставь новое правительство — а он и не заметит; кахай из него кровь тоннами — он и ухом не поведет; дай ему свободу — он и с места не сдвинется. А мы с тобой, да еще несколько сот, ну хотя бы и тысяч, — лишь то-о-ненькая радужная плёночка, как от бензина на поверхности океана... Лишь при совершенном отсутствии чувства реальности можно придавать ей какое-то значение. ...Это в девятнадцатом веке простительно было мыслить в интеллектуальных категориях народную жизнь и говорить о какой-то соизмеримости, о связи с ней жизни индивидуальной, духовной. Вольно было славянофилам заигрывать с этим чудовищем, пользуясь его немотой, безгласностью. Да и что могли они о народе знать? Он служил им антитезой некоторых собственных интеллигентских свойств, которые казались им отрицательными: безбожию, нигилизму, отвлеченности мышления, умозрительности. А заодно и антитезой западной цивилизации, откуда все это и пошло. Понятие "народ" они применяли как идеализированную собственную противоположность. Сейчас же так не порассуждаешь. Вырвался оттуда, из него, сохранил свою "особенность" в обезличенной массе — и беги, беги дальше, живи тайно своей особою жизнью. И скрывайся, чтобы никто не заподозрил, что ты — другой. Вместо общего поля оставь себе маленький огороδικ, обнесенный высоким забором. Думай про себя, а вовне не выноси, не раздражай, не суди чудовище. На тебя же этот суд и падет. Отщепенец ты, "враг народа" и прочее в этом роде. И тут мозги наши — лишние, слова — негодное средство. Не в словах надо добиваться правды: убивают ли тебя как "врага народа", умираешь ли ты сам как испугитель, взявший на себя чужие грехи, жертвуешь ли ты собой как мученик ради того же народа и блага его — все эти слова одинаково верные и одинаково ложные. И так будет, пока мир стоит. Кто произнесет вслух: я — индивидуум, уже подлежит народной расправе. Я не говорю о том, хорошо это или плохо. Так есть, а остальное — додумывая про себя.

— Позволишь ли продолжить твою мысль? Если уж ты все человеческое загнал в родовое стадо, не нуждается ли твоя концепция в противопоставлении, в Божьем Суде? Ведь он должен существовать с такой же необходимостью, как и описанной тобой суд человеческий, и действовать так же независимо от слов. Если ты противопоставляешь мнимому существованию индивида реальное существование народа, то я мнимому существованию индивида противопоставляю реальное существование Бога.

— Как ты это наглядно изобразил! Я вырвался из родовой стихии, дошел до некоторой точки, которую ты назвал "мнимой", и остановился, потому как вижу, что дальше идти некуда. Ты дошел — до этой же точки и, как бы не замечая, что под ногами уже нет почвы, собираешься идти дальше, к воображаемому богу, продолжая по инерции абстрактную прямую твоего пути. Но для этого тебе надо как-то развязаться с реальностью; избавиться от своих обязательств перед ней. И вопрос

в том, хватит ли у тебя слепой веры, безответственности и хладнокровия, чтобы переступить через это — через эту черту, которую нельзя перейти безнаказанно и без жертв, перед которой стою я. И вот — мы пересеклись с тобой в одной точке — встретились один на один на узкой дорожке, где двое не разойдутся; кто-то неизбежно должен свалить другого в пропасть. А пока давай постоим друг против друга и постараемся понять, кто кого: я, жестокий и злобный безбожник, или ты — кроткий и смиренный христианин.

— Ты говоришь таким тоном, будто уже приготовился падать.

— А я и приготовился. Исход предрешен. Я ведь знаю, ты, коварный христианин, душу свою положишь за меня! Душу положишь, а сам и спихнешь в геенну...

— Так уж и предрешен! Пока я буду тебя спихивать, ты, мой друг, успеешь засунуть в меня ножик твоего народного самосуда.

— Ножик-то я в тебя засуну, не сомневайся. Но в нашей карточной игре исход был виден уже в самом начале, когда сдавали карты: всякую мелочь разделили поровну, а когда остались король да туз — то постеснялся я взять, что выше короля, не встречал я такого и честно оставил. А ты — его-то и схватил, и теперь только и ждешь момента, чтобы поскорее разделаться с мелочью и покрыть, наконец, моего короля.

— Ну что ж? Остаться в дураках — это не самое страшное...

— Не забывай, что мы на краю пропасти, и один из нас неизбежно туда свалится.

— Почему так уж неизбежно?

— А ты почитай свое Евангелие. Я специально цитаты подобрал. "Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей". "Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир". Это про вас сказано. А вот что касается нас: "Всякое растение, которое не Отец Мой небесный насадил, искоренится". "Никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца Моего", "Много званых, а мало избранных".

Конечно, в ваших головах так все просветлилось, что и следа от реальности не осталось. Вам — брачный пир, и что за дело вам, пьяным от вашего вина, до тех, кто останется за стенами? "Не меч, но мир" между вашим царством и нашим. Пока вы в нашем — меч ваш благороден: вас — единицы, а нас — тьмы тем. Вас давят насильем, клеветой, гонениями, а защита ваша — лишь духовный меч. Правильно я понимаю? Но в конце времен мир как бы перевернется: позитив станет негативом, или наоборот — как угодно. Вся материальная сила рассыплется в прах, но духовный меч обретет эту силу. И как вы сейчас беззащитны перед человечеством, так и человечество будет беззащитно перед вами. И раз все обернется противоположным, будет ли ваш меч таким же благородным, как сейчас? Нас — тьмы тем, а вас — единицы. И если бы так и чередовались через равные промежутки позитив с негативом — хотя и непонятно зачем, но все-таки никому не было бы обидно. Но ведь сказано, что ваше царство — вечное, единственно истинное! Ваш суд — это уже необратимо во веки веков! Что такое тысячелетия перед вечностью? Ничто. А за эту-то малость, за это ничто — вечное осуждение.

Спрашивается, за что такая кара миру от того, кто его сотворил? За то, что мир не такой, каким должен быть? Но мир — материя, время — может ли быть он иным: духом, вечностью? Значит, за то, что мир есть мир? Зачем вообще тогда он сотворен? Для самоутверждения бога? Но в таком случае это нарочитый спектакль, в котором все уже известно наперед: даже чьи имена записаны в "книге жизни"! Я отказываюсь участвовать! И вот мы стоим друг против друга над пропастью. Но я не буду ни пытаться столкнуть тебя, ни мешать тебе идти дальше. Не дам тебе ни пострадать за свою веру: зачем мне своим грехом утверждать твою праведность — ни постоять за нее: не буду своим ничтожеством утверждать твое величие. Заметь, что по вашему учению в обоих случаях: ты ли меня столкнешь, я ли тебя — ты всегда оказываешься прав. Ведь вы переходите эту границу или в пылу борьбы, или в ореоле мученичества; экзальтация прикрывает собственный смысл этого шага. Но я не дам



тебе победить ни как жертва, ни как судья, а значит — не дам тебе победить вообще. Ведь вы только в этих двух случаях и побеждаете, иными словами — только то побеждаете, что к вам как-то относится: дружественное — любовью, враждебное — осуждением. А я вот не буду относиться никак. Ни суд ваш меня не осудит — не нарушаю ваш закон; ни любовь ваша меня не коснется: не признаю ваш закон. И оставляю тебя один на один перед собственным смыслом этой границы: я прыгну сам. Так и знай, отныне между тобой и Богом есть еще третий: я. Не плохое, не хорошее, а просто "я" само по себе. Которому не дано переступить границу реальности, границу себя самого. И если ты его не чувствуешь в себе, то увидишь во мне. И пусть мой поступок напоминает тебе, что это — единственный честный путь для "я", возжелавшего стать большим, чем оно есть...

Перейдешь ли через это место, на котором я стою?

— Оставь меня, устал...

— О, я уйду в дверь, чтобы вернуться в окно. Я всегда буду с тобой, ведь я...

— Прочь!!!

— До свидания!..

## 5

Утро было пасмурное, такое серое, что, казалось, праздник должны были отметить. На холодном дожде трепались знамена под звуки марша. У ворот магазина топтался Федор Степанович вместе со своими сослуживцами, готовясь идти на ноябрьскую демонстрацию. Он раньше не ходил, хотя и было любопытно: что чувствуют люди, когда их сгоняют в колонны и заставляют куда-то идти с песнями и транспарантами, демонстрируя послушание...

Но не любопытство заставило прийти на этот раз — он не находил себе места от беспокойного чувства обязанности перед "малыми мира сего": он должен их любить, должен служить им; они этого не хотят, живут и сами, но жизнь эта — красивая, жалкая, неправедная, — им самим от нее тошно, и знают, что тошно, но не знают, отчего... Но почему, собственно, жалкая, некрасивая, неправедная? — спрашивал себя Федор Степанович. — Жизнь всегда и везде умеет творить свою красоту и праведность, даже и в самых уродливых формах. — Почему же в уродливых? Это мне так кажется, что в уродливых; меня отталкивает. Но я должен превозмочь свою заведомую неприязнь, принять в ближнем все кроме греха, то есть стать совсем им, разделить до конца его судьбу вместо того, чтобы со стороны подмечать и смеяться. Тогда не будет у меня чувства вины. Я уже не вижу себя в них, они не видят себя во мне. Велик разрыв между нами. Но именно я должен его преодолеть. Не может быть, чтобы у кого-то вовсе не было "искры Божией" и того, большого, "самого главного", на которое когда наткнешься, так словно прорвет все заграждения: перебивают, спешат, мешают друг другу взволнованные слова...

...Из черной "Волги" вывалился начальник, у которого избыток жизненных благ свисал бульдожьими щеками. Залилась вдруг хохотом продавщица мясного отдела тетя Шура: Петька-подсобник учинил что-то смешное. — Ой, не могу! — закатывалась она, обмахиваясь бумажными гофрированными цветами, и пальцем в бордовом маникюре показывала на Петьку. Все были принаряжены, точно на бал, все дели лучшие кофточки, досадовали на дождь и, строя рожи зеркальцу, красили губы. Молоденькая Верочка из штучного отдела была такой девочкой, ходила расстрепой, — а теперь на каблучках стала выше и строже — барышня! — и к ней Петька подъезжал со своими штучками, но развеселить не мог. Она слегка морщилась и презрительно отцеживала ему: "подумаешь", или "нахал".

Тут принесли транспарант, который давно уже сделал Федор Степанович: "Слава КПСС". Ему стало стыдно, он отошел в сторону, чтобы не нести, однако наблюдал, что будут делать и с каким выражением лица. Лица были нормальные, деловые. Кто понесет, оказывается, распределили заранее. Транспарант развернули, осмотрели и стали поднимать. Федор Степанович ясно понял: дело было не в том,

что там написано, а в том, как бы удобнее взяться за струганные палки, как бы натянуть и удержать на ветру... Петька отошел, глянул со стороны и авторитетно заключил: пар-рядок!

Побегав и покричав, парторг смог наконец сформировать колонну. Тронулись с шутками-прибаутками, смехом и контрабандными матюжками. Стали по очереди рассказывать анекдоты, дружно хохотали, а Верочка молоденькая — краснела.

— Эй, художник, будешь? — окликнули его. Это мужчины образовали свой кружок: один держал стакан, другой открывал бутылку, третий резал огурец перочинным ножиком.

— Давай! — обрадовался Федор Степанович. Ему как гостю налили первому, и выпив, он перестал чувствовать себя чужим. Общее тепло объединяло теперь всех четверых, а после второй бутылки они уже сдружились так, что Петька хлопал Федора Степановича по плечу и объяснялся ему в любви:

— Ты хороший парень, хотя и мудака! (Последнее относилось к непрактичности Федора Степановича, из-за которой он упускал много возможностей поживиться за счет магазина.)

— Правда? — удивлялся он простоте наживы. — Ну! А я-то что же?

— А то-то и оно!

Еще ему сообщили много стыдных подробностей о знакомых продавщицах; теперь он и на них посмотрел с большим пониманием и среди них перестал чувствовать себя чужим.

— Ну что же вы, — опять забежал парторг, — где у нас запеваля?

После споров, что петь, затянули "По долинам и по взгорьям". С третьего захода все подстроились, и кто-то пытался даже изобразить второй голос. Собутыльники Федора Степановича старались всех перекричать. Хор получился мощный: "Чтобы с бо-о-о-ем взять Приморье, Белой а-армии оплот", — гремела вся колонна. Петька-проказник под шумок сумел вернуть непристойную чашушку — и опять все засмеялись, а Верочка покраснела. — Вишь, цаца! — показывал он на нее пальцем.

Около Красной площади стояли долго. Федор Степанович, стиснутый со всех сторон разогретыми человеческими телами, покорно ждал. Наконец толпа дрогнула и, набирая скорость, двинулась к мавзолею.

— Подождемся! Подождемся! — равняли толпу милиционеры. Краем глаза Федор Степанович видел трибуну и стоящих на ней людей. Спереди слышались крики. Люди поднимали руки с цветами, махали ими и кричали "ура!". Но задержаться нельзя было: сзади напирала и кричащих сносило дальше. Сердце у Федора Степановича застучало, к горлу подкатил комок — он вспомнил чувство Николая Ростова на параде перед царем. Что-то, подобное может быть, нахлынуло и на него, и когда толпа вынесла его как щепку с площадки, почувствовал, будто из него выжали все соки...

— Какие, однако, силы хранятся в душе без употребления! — удивлялся он. — Сколько воодушевления, готовности самоотверженно служить, лишь был бы хороший царь... Странно: всегда полагал, что я по существу, по природе своей мятежник, а оказывается, больше всего желал бы, чтобы не было этой мучительной раздвоенности, чтобы "служить Богу", "служить отечеству" и "служить царю" — совпало... Сколько благих сил души остается взаперти! — Федор Степанович готов был разрыдаться...

— Лишены мы этого, лишены, — продолжал он свою мысль. — Ни служить царю, ни отечеству. Вместо нас выслушивается чиновник и по закону естественного отбора побеждают бессовестнейшие. А нам — все виды раскольничьего протеста от неучастия до обличения, от обличения до самосожжения. И хотя бы все мы сгорели, а... — он махнул рукой. — Им властвовать, нам — протестовать. Или рыть в своей душе подполье, чем я и занимаюсь... — Он зло рассмеялся и вспомнил, что пьян. Говоря вслух, он не заметил, что один идет по набережной...

...Слякотные улицы, дурные сны, серая ноябрьская тоска! Зонты, зонты да мокрое кровельное железо. Абсолютная обыденность. Но за отталкивающим блеском холодных мокрых поверхностей предполагается знакомое с детства домашнее тепло, знакомое сердечное тепло дяди Миши и тети Клавы — соседей по комму-

нальной квартире. Тепло, неотделимое от запаха горелого жира на чугунных сковородах, распространяющегося на весь дом.

Сырая осенняя погода располагает поднять воротник, надвинуть кепку на глаза, убрать руки в карманы, поглубже запрятаться в пальто. ...И завертятся любимые меланхолические мысли, зачарованные блеском мокрых плоскостей... Тут в душу вливается сладкая тоска, с которой не совладать. Она вся — из полутонов чернеющего асфальта и белеющего неба... Мягкое облако осенней меланхолии все плотнее окутывало Федора Степановича. Сладкая тоска, тяжелая и густая, затопила душу. Перед сонным его взглядом проплыла в отдалении забегаловка, где милиционеры ели пельмени, потом помойные баки, мокнущие под дождем, одинокая старуха и бездомная кошка, рывшиеся вместе в помойных баках. Он приоткрыл глаза: мелкий дождичек моросил, по скверу прогуливались старички и старушки со своими собачками. Зонты, зонты да мокрое кровельное железо, сладкая тоска обидности...

...Прохожие старательно обходят лужи, на скамеечке спит пьяный. Милиционеры тормозят его и тащат в отделение. Собачки поднимают ножку... Тут Федор Степанович незаметно для себя оказался на своем старом диване.

— Действительность агрессивно навязывает единственный путь, а я хочу обладать всеми возможными сразу, тогда и жизнь моя освободится от произвола случайности, невосполнимых утрат и роковых перемен, — думал Федор Степанович, лежа на диване и созерцая богатство линий и форм в струях и струйках дыма, тающего по пути к потолку. Подуть — и дым рвется, рассеивается, но потом вновь образует свои ненавязчивые, сложнейшие и легчайшие построения... Надобность покидать иногда диван смешала, но снисходительно терпелась, ибо была бессильна нарушить легкоизменчивый подвижный покой внутреннего пространства — поля божественной, как думал Федор Степанович, игры...

На этом и застал его старый друг, единомышленник и единоведец, беседы с которым в свое время были единственной отдушиной в его однообразной, лишенной событий и развлечений жизни. Пришлось вставать с дивана, ставить чайник и поддерживать разговор. Его собеседник был в хорошем настроении, ему, наверное, силы некуда было девать, и он говорил все о христианском подвижничестве.

— Вот мы сидим тут с тобой, чай пьем, спорим, — нападая он, хрустя сухариком, — а пора подумать и о том, что можно сделать положительного. Работы-то сколько! А мы все, по нашей русской привычке, ругаемся, шумим, гадаем, мечтаем, а как до дела дойдет — ложимся на печи животом вверх и наблюдаем, как мухи по потолку ходят. А момент упустить нельзя: если будем сидеть сложа руки, то и дождемся, как уже бывало, что какой-нибудь очередной анархист опередит нас.

— Да чего там! — махал рукою Федор Степанович, сожалел о своем нарушенном покое на диване. — Люди — в церкви они или на демонстрации — всегда равны сами себе, и никакое миссионерство к этому ничего не прибавит.

— А ты пробовал? Вот вместо того, чтобы свои софизмы выдумывать, ты бы направил силы на дело, тогда бы и все противоречия разрешились!

— Если не думать, тогда, конечно, и противоречий не увидишь. Зато будешь стукаться об них лбом, не понимая, в чем дело.

— Значит, пускай другие стучаются, — а я посмотрю? По-моему, если ты что-то понимаешь, так надо это осуществлять!

— Да что, в конце концов, мы будем собственной самоотверженностью покрывать несовершенство мироздания! И возможно ли это? Что людей подвигами срамить? У меня несовершенство мира комом в горле стоит, не дает "действовать" в мире. Когда же все-таки что-то делаю — давлюсь этим комом... Какая-то слабая, боязливая вера у нас, если мы хотим духовный мир опереть на материальный. А в нем есть собственный центр тяготения, которому мы трусливо не доверяем. Чтобы исповедовать христианскую религию в наших условиях, нужно мужество. Но оно с лихвой вознаграждается внешними результатами, признанием людей, чувством собственной моральной правоты. Гораздо большее мужество требуется, чтобы увидеть, что все это — только самоуспокоение, что "сеять разумное, доброе, вечное" — значит засеять травкой тонкий поверхностный слой, под которым — сатанинские бездны. Гораздо большее мужество требуется, чтобы отказаться от этих

поверхностных всходов, от признания людей — от всего, и работать над невидимым, но более реальным, чем все видимое.

— Тогда, знаешь ли, всем надо лечь в гробы и лежать там до второго пришествия. Но в таком случае и второго пришествия не будет — раз не хочется воскресать. А христианство — это активное стремление к воскресению, а не к смерти, как тебе кажется. К воскресению мы должны стремиться всегда. И прообраз всеобщего будущего воскресения — это духовное возрождение народа. И именно этому мы должны служить. А то, что ты предлагаешь, — это капитуляция перед злом, добровольное умирание. Это и есть то, чего добивается от нас диавол.

— Ты говоришь о духовном возрождении народа. Я не знаю, что подразумеваешь под этим словом ты, — я же ничего не вижу за словом "народ". Это — призрак. Если раньше это слово было отражением действительно существовавшего единства: общность религии и национальной традиции, охраняемой традицией семейной, то теперь это разрушено, такого единства больше не существует: отдельные лишь островки, не успевшие умереть, и не успевшая умереть идея народа в нашем сознании. Она пережила умерший народ. Призраки недавно умерших постепенно бледнеют, тают, исчезают совсем. Смотри в окно: вон они, отдельные особи, связанные разве что грехами и общим способом кормления. Эмпирически я их воспринимаю, но как они могут жить? Чем они живут? Мне и на улицу выходить жутко, а выйду — боюсь смотреть по сторонам... Нет, реальность для меня — только внутреннее, духовное.

— По-твоему выходит, в двадцатом веке возникла какая-то новая порода человека: всегда были люди как люди, а теперь народились какие-то фантомы? Не проще ли предположить, что ты сам их изобрел по твоей склонности во всем видеть лишь дурную сторону?

— Лет сто назад я бы, пожалуй, с тобой и согласился. Но теперь можно констатировать: новая порода. И это не игра ума, а реальное историческое явление. Все человеческое опускается в сатанинские бездны. Религиозное же сознание направляется вверх, к Богу. И здесь открывается ему перспектива небывалой высоты, конечного совершенства человека, а рядом, внизу — его небывалая низость, предельное падение. Это и есть финал истории.

— Где-то там мы, может, и святы, так задумано Богом. Но здесь испорчены грехом. Поэтому-то и нельзя пренебрегать миром: это значило бы пренебречь собственным грехом и вдруг вообразить себя святым. Но это же типичное хлыстовство! Так грех не преодолевается. Он лишь принимает другой, более тонкий облик... Поэтому и нельзя просто так, непосредственно общаться с Духом Святым. Поэтому и необходимо нам "историческое" христианство и земная церковь. А имея в виду некоторые национальные свойства, иногда довольно рискованные, нельзя так легко расплываться с национальной, народной традицией и укладом. Ты же по какой-то причине...

— Я решительно не знаю, как быть с этими рамками и трафаретами. Как их на себя накладывать? Что с чем совмещать? Я верю, конечно, что ангельское — хорошо, а бесовское — плохо. Но если мерить себя этим трафаретом, очень может оказаться, что поле ангельского в этой схеме будет заполнено бесовским содержанием моей души. И в таком случае абсолютная вера в этот трафарет, каковым являются все народные и исторические религии, может оказаться губительной для души. Собственно, не в трафарет я верю, а пытаюсь понять его соотношение со мной. Как схема "хорошо — плохо" может соотноситься с живой душой? Это надо еще выяснять, прежде чем переходить к действию. Я не спорю, что пшеница — хорошо, а плевелы — плохо. Но рассекать их в своей душе твоим трафаретом не решать. И в этом смысле и на этом уровне можно говорить даже о симбиозе пшеницы и плевел.

— Ты меня перебил, а я как раз о том. Продолжаю: ты же, по какой-то причине, пытаешься как бы не признавать существование первородного греха, избежать ежедневных трудов его преодоления, сразу перескочить в царство Святого Духа и на этом пути без конца будешь сталкиваться с грехом в разных видах, стучаться об него лбом и переживать катастрофы...

Федора Степановича задело это подчеркнутое им "по какой-то причине", и он,

видя здесь главный нерв всего разговора и желая перейти от ни к чему не обязывающей игры понятиями к существу дела, нарочно переспросил: по какой же это "какой-то причине"? Его собеседник будто того и ожидал и сразу стал отвечать с оособою, скандальной интонацией:

— Я думаю так, что по личной. Мера твоих идей — ты сам.

— Ну, коли на личности перешли, то твой бог — это схема, упрощенный, идеализированный образ "я", куда бежит оно, это "я", чтобы не замечать собственного ничтожества, чтобы уйти от собственной сложности, и все это, опять-таки, ради самоутверждения.

— Ты не прав: это не подмена "я", не идеализированный образ его, а лишь необходимые ограничительные рамки...

Федор Степанович заметил тут как бы между прочим и не без ехидства:

— Сколько я замечал, проповедуют самоограничение обычно те, кому и ограничивать-то нечего.

— Кричат об эмансипации личности обычно те, кто не может, а вернее, не хочет по какой-то причине выполнять десять заповедей... Но если Бог приходит к нам свободно, то остается только в строгости Закона.

— По твоему фарисейскому закону и распяли Христа...

— Те, кто, как ты, не признавал над собой никакого закона, кроме собственно-го произвола.

— Я полагаю, что нам пора расстаться...

— Ну что ж, кто прав — узнаем по плодам! До свидания...

— Прощай!

На душе у Федора Степановича третий день было уныло и зябко. Что-то болезненно сжималось в глубине, но он не мог осознать, что же именно, а потому не мог и избавиться от этого. Неотвязный, как зубная боль, продолжался бесплодный и никуда не ведущий разговор то с одним, то с другим его собеседником. И оба, мертвый и живой, грозили ему сообща, так что в них начало проступать какое-то мучительное сходство. Но признать его Федору Степановичу было очень тяжело. Будто прикованный к ним непреодолимой цепью, маялся он в изнурительном беззвучном споре, пока не решил наконец покончить с ним и выбраться из лабиринта.

— С кем я спорю, зачем я спорю? — усмехнулся он. — Какова природа этой связи с другими людьми, в чем причина привязанности к ним, заставляющей и любить, и враждовать, спорить и соглашаться?

.....

Когда я склонен был игнорировать природную ограниченность личности — она напоминала о себе образом Н., которого эта ограниченность и погубила, и я оказался бессилем спасти его от гибели. Когда я недооценил значение Закона, необходимости ограничения личности — явился мне образ христианского ортодокса и моралиста.

Так и было: один угрожал мне ограниченностью моего "я", другой — Законом. Но "я", вместившее в себя все возможные мнения, преодолевает собственную ограниченность и с этой ограниченностью освобождается от зависимости... Так преодолевается личное, частное несовершенство. Но здесь происходит столкновение личности с всеобщим человеческим несовершенством. Каждый смертный существует во времени. Время — общечеловеческое несовершенство. Жизнь, сама жизнь есть сектантское отпадение от вечности. Жизнь наша — ссылка во временное. И представить себе всю шкалу отношений временного к вечному едва ли возможно...

Время, с одной стороны, спасительно: оно разделяет взаиморазрушающие противоречия. Но с другой стороны, оно же является причиной слепой односторонности, закрывая собой весь диапазон жизни и оставляя единственный тон. В один момент мы видим что-то одно и слепы для другого. В другой момент, хотя бы и видели то же самое, но для нас оно уже другое. И как не поддаться соблазну называть что-то ложным, а что-то истинным! Если бы удалось снять повязку времени с

глаз, то мы увидели бы, наверное, голову, кусающую собственный хвост...

Преодоление времени есть преодоление эмпирии. Преодоление односторонности отдельного мнения есть преодоление исключительности отдельного момента... Слабость и неполнота личности может быть преодолена лишь за пределами эмпирического бытия — в бытии духовном. Вместе с этим преодолевается и время как форма слабого и неполного бытия. Да, временем разделяется то, что в один момент мы не в силах вместить. Но если сможем вместить, то времени уже не понадобится, оно перестанет властвовать над нами.

...И чем выше личность, тем слабее власть времени... Когда преодолевается наше несовершенство — времени больше не будет...

Течение мысли Федора Степановича было как равномерный шум или гул, и постепенно этот гул затихал и шум внезапно оборвался. Все осталось позади. Ненужное тело уходило из поля зрения. Оболочки субъективного отпали. Отступились двойники. Верх и низ, разделявшиеся притяжением земли, слились наконец воедино. Разделяемые биением пульса времена — замкнулись. Мир переродился. Новорожденному зрению открылись ровно серебрищиеся звездным светом горы и доли никогда не виданного, но как будто давно знакомого ландшафта. Никак нельзя было назвать плавные переходы из себя в себя, завивания, незамыкающиеся смыкания, расходящиеся схождения, многоединые покоящиеся движения пространства, увидев которые рассудок бы ахнул и взорвался...

От младенческой, нерасчлененной, бессознательной стихии — к этой переполняющей душу духовной стихии выстроился долгий путь "я"...

...Царство идей сияет ровным светом: нет ни "хуже", ни "лучше" — все равноистинно. Нет ни радости, ни страдания, ни добра, ни зла. Но где же царь этого царства? По одну сторону — мир, раздробленность, идеи. По другую в беспредельной дали — угадывается единство всех идей. Но Бог кажется отсюда еще дальше, чем было в мирской жизни. Черная пустота космических пространств, пугающий размах не земных — космических расстояний... Космическая тишина...

...Федор Степанович завершил свое восхождение, забравшись на каменистую вершину, острый пик, на котором только ему одному и было место. Там, как бы в прорывах облаков, вдруг мелькнула другая вершина, выше этой... И тут почва у него под ногами заколебалась. Легче ведь представить относительным все и вся, чем самого себя. Однако он хотел быть честным.

— Эта моя вершина — лишь крест без Христа. Крест — и разлетающийся в противоположностях мир, и — пересечение, центр и средоточие всего. Но "всечеловек" — может ли быть живым "всечеловек"?.. Это тайна Боговоплощения, перед которой равно беспомощно и сознание слабоумного, и сознание мыслителя: путь к ней идет помимо сознания, и мне нечем знать, в каком направлении идти...

.....

Можно порадоваться тому, с какой неутомимой готовностью Федор Степанович наполняет открывающиеся ему формы собственным содержанием. Здесь, однако, для рассказчика наступает трудный момент. Легко продолжать начатую линию, но для повествователя конец линии наступает раньше, чем для его героя. Первый, с предыдущей вершины видя следующую, может провести между ними прямую. Последний же должен спуститься к подножию и лишь после этого может начать новое восхождение.

Предначертанный путь Федора Степановича известен. Духовный путь неизбежно проходит в одном и том же духовном мире и не может уйти от действия его закономерностей: от холодного безлюдного царства идей он должен привести к живому воплощению истины. К тому, что "Слово стало плотью" (если по каким-то причинам не остановится на месте или не перевернется вдруг).

Итак, путь известен, но неизвестно, сможет ли его пройти наш герой, и если сможет, то как он его пройдет. Несомненно, что если это и произойдет в течение выбранного нами года — года жизни Федора Степановича — то произойдет это, скорее всего, в день Рождества...

Однако уже середина декабря, и не без страха и сомнений заглядываем мы в его дневник...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1. ДНЕВНИК ФЕДОРА СТЕПАНОВИЧА

#### 14 декабря

...Зло нынешнего века выходит за пределы всякого человеческого разумения. Подходить к нему с мерками гуманизма нелепо. Гуманист, если он последователен, должен или сойти с ума, или покончить с собой... Может ли быть иначе, когда все человечество разделено на палачей и жертв, разделено без остатка! Ведь и те, которые не желали бы примыкать ни к палачам, ни к жертвам, не избежали все же участия в этой трагедии: их помимо воли охватило зло тоталитарного государства. Человеческое добро обречено на гибель сверхчеловеческим злом. Действительность превзошла всякие доступные человеку представления, продемонстрировав этим, что причины ее — трансценденты. Современную историю, если брать ее по существу, а не по вторичным признакам вроде политики, экономики и проч. — нельзя ни понять, ни принять обычным человеческим сознанием, для которого она не что иное, как абсурд. Единственный смысл, который усматривается тут, — религиозный. И это подрывает основу всякой сугубо социальной деятельности.

Самый значительный сдвиг в моем сознании произошел тогда, когда я почувствовал отвращение не только к социальному злу, но и вообще ко всему социальному. "Социальный вопрос никогда не будет разрешен в сфере социального" — таков вывод.

Но может ли он быть вообще разрешен в современной России, где предельно велик разрыв между личностью и народом, внутренним и внешним, действительным и кажущимся? Достигнутое отдельными личностями не сможет быть воспринято народом и будет не посеяно, а погребено в нем!

Не дано нам разрешения социального — есть только разрешение апокалиптическое!

Что это: духовная честность или душевная слабость?

О, это страстное, напряженное ожидание конца и связанное с ним "чем хуже — тем лучше"! Люди, обреченные всю жизнь провести в концлагере, начинают с надеждою ждать чуть ли не мировой войны... Когда весь мир представляется тюрьмой — остается желать и ждать Судного Дня.

Ложь и насилие нарушают порядок мира. Но ложь и насилие — основной закон этого мира. Таким образом и получается, что правда — не в восстановлении порядка в мире, а в конце мира.

Ведь сама жизнь — это компромисс. Прямая, бескомпромиссная линия неизбежно выйдет из поля жизни. И — о, соблазн, раскольнический соблазн! Начав прямой путь, как бы не заметить, что граница жизни перейдена...

А нам — прощаться  
И смотреть  
И ни к чему  
Не прикасаться  
И никогда  
Не прекословить,  
В оставшихся скитях гореть,  
Из всех решений и уловок  
Упорно выбирая смерть.

#### 17 декабря

Ах, если бы истина в этом мире хоть в чем-нибудь выражалась вполне! А так, двигаясь к ней, вдруг обнаруживаем, что только удалились. Тогда меняем направление — но и этот путь приводит к тому же. Тогда опять меняем — и новый путь

приходим все с тем же результатом. А все это вместе — топтание в маленькой сфере, данной нам — да не в насмешку ли?

Ладно бы, если только антиномия добра и зла. Но ведь когда проследишь линии от начала до концов — увидишь, что если выходят из зла, то приводят к добру. Если из добра — то ко злу. И в моей жизни всем лучшим я обязан **злу**, всему злу, которое окружает: жестокость вызвала сострадание, опасность заставила преодолеть страх, эгоизм стал выглядеть жалким перед общим несчастьем, трагедия народа пробудила самосознание. И наоборот: добро ведет к слабости и греху.

.....

Весь мир можно истолковать и как "от дьявола" и как "от Бога". Но что тогда: пассивно созерцать — или активно действовать? Действие — это преодоленное созерцание (или созерцание — преодоленное действие?)

Пусть Сам Он и решает Свои антиномии... Добро — к злу; зло — к добру. Какую линию в этой системе координат должно вычерчивать поведение желающего делать добро? Как двигаться в этом поле, где любое движение — равно плохо и хорошо, и чем оно активнее, тем больше приносит добра и зла? Самая благая форма — столько же людей задавит, сколько и облагодетельствует... Поставить парус и ждать, что подует в него Дух Святой? Но в этом мертвом поле — все пополам, и как понять, какие ветры наполняют парус? Так и стоять между берегами, висеть между небом и землей, отрешившись от всего, постепенно растворяясь в тумане... Чьи-то крики вдруг нарушат тишину: это ближний тонет и молит о помощи. Впрочем, кто его знает, ближний ли это кричит или соблазняет сирена? А ближний-то и есть сирена. Он тонет, а сам — соблазняет.

Иногда глухой ночью, что на окраине города услышишь вдруг раздирающий душу крик. И не поймешь, что это: крик о помощи или пьяные песни... Нечисть ли меж собой бесится, человека ли убивают... Дремучи наши переулки...

### **18 декабря**

Я как-то перестаю верить в время: оно кажется мне чем-то ненужным, оставшимся по недоразумению, задержавшимся случайно во мне, хотя пора ему давно свернуться, отступить от меня.

Зачем все же для духовного мира нужен мир земной? Для чего это кривое отражение? Но если это и нужно кому-то, то зачем это так мучительно растянуто? Чем Вечная Истина отличается от той, к которой мир придет в конце времен? Если бы исход был неизвестен — тут нужно было бы сражаться. Но он ведь предначертан от века! — и борьба за истину оборачивается пустою суетой...

### **21 декабря**

Связь между доброделием и плодами его скрыта от нас. "Всечеловек" Соловьева так же неприятен, как "сверхчеловек" Ницше. Будто мы **сами** должны устраивать себе и свое будущее, и будто мы **можем** это делать. Будто мы властны в текущей жизни относительно ее высшего смысла, будто бы добро, задуманное нами, и после осуществления останется добром!

Сомнительна такая уверенность. Делать, устраивать, осуществлять задуманное — может быть. Но сделано, устроено, осуществлено будет все равно не здесь и не нами.

У "всечеловека", оказывается, тоже есть двойник! Человек — окончательный приговор "всечеловеку".

### **24 декабря**

Искусство — оптимистическая вера в связь знака и смысла, и по этому образцу — в связь материи и духа. Но на каждой ступени такого рода связи распадаются.

И вообще, что может искусство? Лелеянье узоров на стекле, в то время как само стекло может быть разбито в любой момент. Жизнь вырывала такие бездны за границами всякого искусства, что жалкими кажутся его притязания отражать, как и прежде, глубины жизни. Такого рода попытки сегодня уже не будут искусством.



Какое искусство не покажется ложным — слишком очевидно ложным — перед нынешней жизнью? Трагический смысл жизни давно стал больше всякой культуры, культура перед ним — ... .. (здесь Федор Степанович не нашел подходящего слова). Даже нельзя на это смотреть серьезно: сидеть на краю пропасти и развлекаться погремушкой... А не пожалее ли душа там, что пронемотствовала, так и не создала себе голос здесь? Но как выразить? Мыкаться в волнах поэтической стихии, в плену эстетических полуцелей? Эстетизм — категория земного бытия, наиболее бескорыстная его форма: как бы неземное в земном. Когда же бескорыстно все (все — для Бога), тогда и "эстетично-неэстетично" — не имеет значения.

.....

## 25 декабря

Вспомнил свет холодный некогда сверкавшей мне "страны вечных идей". Я-то лишь был там. Мне там как будто и делать нечего... Потом та картина, занимавшая раньше все пространство, начала от него отслаиваться, морщиться, сворачиваться, пока не превратилась в съежившуюся тряпочку. И повеяло холодом... И к чему это: безлюдность духовных миров, пустынность космических пространств воссоздавать здесь, на земле? О невидимый потолок, который незаметно свергает вниз стремящегося ввысь! Так незаметно, неощутимо, что лишь потом можно определить истинное свое местонахождение. Восхождение как-то нечаянно оборачивается падением: высшая точка оказывается низшей... неуловимая замыкающая кривизна в духовном пространстве: вырываешься за пределы себя, рвешься к божественному свету... приближаешься — и видишь вдруг себя... со спины. Какая гадость! Урок желающему летать...

И во вдохновениях иногда сладостраствуют демоны. И натешившись, оставляют под утро. Тогда все, сверкавшее ночью, рассыпается серой пылью, вчерашний творец оборачивается сиротой убогим. Или, может быть, ночью то были и впрямь гении, ангелы, а под утро приходят серые демоны и толкают под руку: сломай, что построил? Когда же ночи прельщение затопит вдохновением дня, вдохновением белого света?

## 27 декабря

Вечный дилетант: везде не свой, всегда лишь играющий в дела, в слова. ... Я ль плох, дела ли мои неполны? И радость — не в них, а в свободе от них.

Читать? Читать не надо уже. Книги — все об одном пишут, и что мне за разница: с той ли, с этой ли стороны смотреть, так или иначе написано?

Проблемы решать? Тем ли, иным образом — все равно плохо, все неправильно. И думать не нужно уже: мысли в рассудке как в клетке... Переставлять кубики... можно и не переставлять. Не надо думать... Никуда не надо ходить, ничего не надо делать... Я и не пойду никуда, пережду жизнь — она и сама пройдет — тогда уж двинусь дальше...

.....

## 1 января он продолжал:

С глупенькими детками — как хорошо! А если не хватает чего-то, найдешь единомышленника. И идешь с ним рядом по дороге. И — хорошо. И ему — хорошо. И он начинает тут воспевать это единомыслие, утверждать его — и оно вдруг встает между нами как прозрачная стенка. Бьешься с этой стенкой, чтоб к душе прорваться — а она все жестчеет, и весь он — в холодных латах. Вот тут плакать хочется, ежидничать, оскорблять — и убегаешь тут к глупеньким деткам, чтобы смеяться вместе над их милыми пустячками...

Это последнее, что мне осталось, и оно — такое жалкое! Тем жалче потерять и это; беречь хрупкие тростинки — бессмысленные детские привязанности, тыканья слепых теплых котят, — а ну как из этого что-нибудь вырастет? Если и вырастет — так непременно из этого: котята ведь — живые! Это идеи — мертвые. Насели как насекомые на жизнь — а она и без них может...

## 2 января

...плачет, спрятав лицо в мокрых ладонях — и на вздрагивающей спине проступают позвонки — безысходное, безутешное... И кто же утешит? Некому... И опускается этот взлет безысходный, никнет, устает, обмякает... рассасывается... Всегда она плачет...

Сколько их — и всегда так — этих маленьких теплых комочков плоти, безутешных — по всей земле. Всегда они плачут... И всем им — так поникнуть, обмякнуть... Страшно представить: некому утешить!

Вот я и буду утешать. Иначе — можно ли жить?

.....

Воистину, надо было дойти до абсолютного солипсизма, чтобы ощутить последнюю границу себя, и за этой границей почувствовать другое, всем существом своим — другого. Как бы границы внутреннего мира раздвинулись до предела — и прикоснулись к чему-то вовне. Там — и добро: не идея — а где тайному нашему, сокрытому — теплее.

## 3 января

Говорят: надо родину любить, народ... Так я-то — что? Я всегда пожалуйста, всегда готов полюбить. И подожду сколько надо — если сейчас нехвата... Ну вот я и жду. А пока — куда ж любви-то деваться? — и уходит она, туда уходит, где и уследить за ней нельзя. Сама что-то делает, где-то там...

Когда пройдет любовь к блестящим предметам — останутся простодушно-глубокие физиономии (бородавки на некрасивых щетинистых щеках, простодушные грубоватые шутки и важная назидательность). Сколько тепла в глазах человека без шнурков, просящего пяточок на дорогу! И уже устало растекающееся тепло заснувшего в подворотне — конец дня в тепле...

Очень уж громко получается, когда все вместе... А что вот получится, коли разойтись тихонько, поодиночке. И когда встречаются двое (может, и не очень хороших) — то вдруг как-то нечаянно — как это вдруг — сами как есть — остановились, смотрят друг на друга — совсем уж близкими стали! Тут — славно! И не надо им ничего друг от друга, а все равно — какие близкие! И без яркой души: сероватенькая такая, пестренькая, как половичок. Оттого ведь и хорошо, что — не широкая...

## 4 января

...утром просыпаешься — и спешишь, спешишь добежать скорее до стакана горячего чаю — и пьешь, спокойно глядя в окно, и посмеиваешься про себя: ничего-то уж не страшно! Высосав из чайнок последнюю влагу, судорожно оглядываешься по сторонам — и бежишь, бежишь к столу — за работу. И все на нем так привычно, мило. — Так незаметно проходит день.

За вечерним чаем — приятно отдыхать, греться — пока не остынет чайник. И спешишь тогда к кровати, в холодные еще простыни. А ночью — вдруг проснешься — и выстужен дом, от тишины звенит в ушах и весь мир давит на грудь и вытесняет последнее, холодом проникая в тело: будто один в космосе — вечно проваливаешься и вечно нет дна... Отвернувшись от всего к стене, проведешь ладонью по шершавым обоям, прижмешься щекой к ним, вдыхая давно знакомый запах, забывшись — что ж еще делать — засыпаешь, почти услокоенный, чтобы скорее дожить до утра — до родного стакана крепкого горячего чаю...

## 5 января

Отчего такой жутковатый вид был у той "страны вечных идей"? Ландшафт наподобие лунного: и свет неживой, и горы-равнины — каменные... Условное изображение, схема, срез — это не жутко. Но в имитации всего человека — в манекене — есть что-то и жутковатое и противное, и это чувствуется тем сильнее, чем больше сходства с живым человеком. Так и идеи: объемны, многомысленны, но... без жизни, без личности: макет из папье-маше вместо живой плоти; уже не схема и еще не реальность... То — безгрешная схема, то — грешная жизнь. Одно есть что и живо

и безгрешно — любовь. Что была бы жизнь без любви? Жажда душевной оргии, для которой всегда чего-то не хватало. А теперь — будто разбили стеклянный колпак, сквозь который смотрел на мир. И хотя без стекла утратилась ясность зрения — но лучше так, чем видеть миражи...

### 6 января

Вчера отключили воду. Проснувшись сегодня, с заискивающей надеждой от-вернул кран, засматривая ему в черную ноздрю. Как и вчера, он захрипел, загрохотал вдалеке железным ломом, заставив сердце болезненно сжаться, и когда надежда сменилась пустотой разочарования — он вдруг хрюкнул, чихнул и, будто прорвав плотину, полилась вода. И словно проломив перегородку в упрямой голове, хлынуло новое понимание...

Как можно жить в том состоянии совершенной раздвоенности между мыслью и реальностью, между долгом перед истиной и противоречащим ему долгом перед жизнью — и не видеть необходимой и такой естественной связи того и другого? Будто мозг разделился на две половины, упрямо отстаивающие свою независимость друг от друга, воздвигающие для этого непроходимую перегородку, в то время как обе принадлежат единому целому — лишь бы не мешать этому своим упорством! Два глаза видят с разных точек одно и то же — но видение было бы раздвоенным, если бы не совмещалось в едином сознании в единый образ. Подобно естественному зрению и зрение духовное. Но то, что в первом случае дано от природы, во втором — надо завоевать. Противоречия сознания при совмещении дают как бы стереокартину реальности.

Мир двоится в сознании оттого, что оно, так сказать, не видит дальше своего носа, который и отделяет один глаз от другого. Иными словами — из-за собственного пристрастия к своим многочисленным истинам, которое мешает совместиться им воедино и стать образом уже не своей истины. Так, две основные христианские заповеди: "возлюби Бога" и "возлюби ближнего" — приобретают смысл именно в одновременности, осуществляясь в единой нравственно совершенной личности. Но эти заповеди относятся к различным уровням, они не одновременны в духовной эволюции: первая — восхождение, вторая — нисхождение...

Безумной утопией казалась бы религия — связь мира сего и мира иного, не будь нисхождения в мир Христа. Один за другим уходили бы люди из этого мира, и пути их бесследно терялись бы, исчезали навсегда в абсолютной безвестности. Мир пополнялся бы и пустел, но оставался бы прежним — вечной камерой смертников, через которую проходят все новые и новые... и у всех одно ощущение: после нас — хоть потоп. Но нисхождение Бога в этот мир, нисхождение до мерзости земных грехов, до человеческих струпьев — весь оттуда, из неведомого, благая весть о глубокой, необходимой связи этого мира и того.

Сосредоточен и суров паломник по пути в дальний монастырь. Добр и приветлив он на обратном пути, хотя по той же дороге идет и проходит ту же местность.

Два мира — и двойственная их связь. Этот мир связывается с тем — смертью. Это путь восхождения, умирания для этого мира, освобождение от его власти. Тот мир с этим связан — воскресением: нисхождением, преображением этого мира, одухотворением его связей. Отсюда — умонепостижимая противоречивость религиозного опыта: религия (связь земного и духовного мира) осуществляется в двух встречных потоках, противоположных и по характеру движения, и по тому, что их наполняет...

И познаете истину, и истина  
сделает вас свободными

(Иоан. 8,32)

...Здесь что-то помешало Федору Степановичу довести до конца свое размышление. Вероятно, некоторое время спустя он пытался снова ухватить развитие своей мысли, но оставил лишь разрозненные наброски.

.....

— Возьми, Господи, все, что я приобрел, возьми всего меня: я уже не нужен

себе. Возьми этот опустевший сосуд — не хочу жить для себя и в себе, но лишь — в Тебе!

И Бог принимает самую большую нашу жертву — нас самих, чтобы нам же вернуть нас лучшими...

Христианизация Жизни может быть ответом на самое интимное и тончайшее в человеческой природе... но это может быть и тяжелой борьбой с бунтующей природой. Когда есть живое ощущение связи между всеобщностью и конкретностью христианского мироощущения — благодать проникает во все существо, до самых мельчайших его частиц, до самых обособленных уголков, не оставляя места греху. Но нарушается связь, пресекается поток благодати — и вновь открывается тягостный разлом между абстрактным благом и конкретным злом. Тогда — трудно поверить и в Божественность Самого Христа, но в другой момент невозможно не верить в божественность каждого встречного.

Размах христианства: от предела до предела. "Кто может вместить, да вместит"...

...Рождением нового в мире, прорывом внутри человечества было рождение Христа. Всякое рождение чудесно, и во всяком рождении естественное сочетается со сверхъестественным. Рождение Сына Божьего это... переход от внеличностных философских систем — к Истине живой, ставшей плотью, личностью; от ветхозаветности религиозного догматизма, от разращенности позднего Рима — к истинной духовной свободе и подлинной, нефарисейской праведности; от абстрактности иудейского монизма и от языческого политеизма — к высшему и умонепостижимому единству Божественной Троицы...

Прошло четыре месяца затворничества в тесной комнатке, в которой за это время не было ни одной живой души. Близился выход из одиночества — и жалко было этого. Одиночество сначала было страданием, потом стало полным, примиренным, — и выход стал необходим. В том, что мечты исполняются не тогда когда хочется, а когда это необходимо, — действие не потакающей слабостям судьбы, оберегающей незрелый плод от преждевременного падения, насильственно спасающей его от гибели.

## 2

В день Рождества Федор Степанович оделся празднично и пошел в церковь. Крахмальный воротник придавал его голове торжественное положение, какое бывает при шейном радикулите или у очень чопорных людей. Для этого дня хранились у него бутылка вина да банка соленых рыжиков, да еще кулек пряников из его магазина.

— Сегодня нельзя думать, сегодня надо радоваться, — думал он. И предвкушал, как запрется у себя в комнате, притворяясь отсутствующим, как сядет на свой диван, вытянет ноги на стул и откупорит бутылку. Как будет плавать в полусне, в облаке дикого лесного запаха грибов, пока не заснет совсем, отдав себя прекрасным снам, полным жизни и счастья...

Протолкавшись сквозь люд, он чинно встал на обычное свое место у левого клироса. Туда же пробралась и девушка в домашних вязаных варежках. Стесняясь множества незнакомых участливых глаз, она встала рядом с ним, под его как бы защиту, — там было свободнее. Их взгляды встретились: его — открытый, готовый помочь, если что, — и ее — как показалось ему, просящий о помощи. Он улыбнулся ободряющей улыбкой; она отвернулась и стала напряженно глядеть в сторону алтаря.

Федор Степанович окружил ее собой: вновь пришедшие их обходили и свечки передавали мимо них. Он молился за них двоих — и там, в высоте, она ему отвечала; здесь же словно одеревенела.

Когда же народ зашумел и стал расходиться, их причастность друг другу стала столь явной, что вместе и вышли, и встали у порога, не зная, что сказать, и продолжая глядеть друг на друга.

— Вы правда в Бога верите? — спросила она тоненьким голосом.

Федор Степанович растерялся, но проговорил таинственно и торжественно: —

Сегодня великий праздник!

— А у нас никакого праздника нет, — грустно сказала она и пошла, опустив голову, глядя на кончики сапожков. Федор Степанович увязался следом и долго шел, не зная, что предпринять. Потом вдруг с деланкою простотой (куда проще!) предложил: пойдете тогда к нам!

Она ничего не ответила, но и не прогоняла: шла, ступая ровно, по линейке, кивая головой, как лошадка. Однако дом Федора Степановича был неподалеку. Он забежал вперед и, словно заворачивая ее, приглашал: вот здесь я живу! Ведь замерзли совсем!.. Ей идти было страшно, но зубы стучали от озноба, и нельзя было сказать, что, мол, не холодно. И тогда ответила: хорошо, я только погреюсь, — и Федор Степанович закоченевшей, неверной рукой стал отыскивать ключ.

За чаем он искал слова — и чай у него то и дело остывал, недопитый. Когда же слова нашлись — она стала искать свою шубу, говоря: меня уже ждут. И сказав "спасибо", ушла, не дав себя проводить, обещав прийти в это же время, как раз (она посмотрела на календарь Федора Степановича) на Крещение, потому что раньше не может — будет в отъезде.

Федор Степанович же остался мыть посуду и как мог славил Господа... Это был вечер 7 января...

Звоните колокола на колокольнях — сегодня Рождество!

Звоните сосульки на крышах — глубокой зимой разлилось тепло!

Воркуйте голуби и пойте хоры, играй, мой нестройный оркестр —

Нежные мелодии меланхолической флейты

И чистое эхо трубы, улетающее в голубое небо...

Заученные жалобы шарманки,

Хрустальный волшебный строй стеклянной гармоники...

Свой голос плох, чтобы сказать: вот пришла она...

Рука в вязаной варежке, тонкая ткань на плече, белые манжеты.

И как тонкая чайная чашечка оказалась рядом с тонким запястьем!

Милая церемонность первых слов и нечаянная веселость вторых.

Надкусенный пряник и лужица воды на пороге...

Задрожала свечка, и глаза Николая Угодника на иконке

растроганно замигали...

О, лукавая забывчивость! Где тяжелые камни вчерашнего?

Душа упорхнула от них как птичка в форточку.

Груда книг и кипы бумаг — побросать как придется в чулан и

вернуться в чистую комнату, где свободней дышать.

Заново обегать все углы и открыть, что в тесной комнатке

не все еще найдено.

Засушенную летнюю бабочку, что забыта и не выброшена, — поместить на почетное место.

Потемневший яблочный огрызок кинуть с трех шагов в окно,

подбежать, подобрать и кинуть еще раз — уже не мимо.

Сесть, запыхавшись, и ни о чем не думать. Вспомнить, как

бабушку хоронили — и опять чуть не заплакать, как в детстве

(чтоб не вспоминать, как прощался два года назад и

говорил: ухожу — и не ищи меня! — и как ушел быстрей,

чтоб не заметить слез...)

Не звоните, колокола!

Пусть поет и жалуется вечно грустный голос — песня, что мама в детстве пела...

Внутри мягкие и теплые: снаружи — жесткие и острые — и как прикоснуться друг к другу?

В детстве — казалось это так просто. Теперь — ходить вокруг да около.

Как туда вернуться обратно? Ходить и ходить мягкими шагами, чтобы не спугнуть.

Все рвется и плачет — потом притаится и — слушает, ждет. Вот — мы с тобой плохи... Но опять ты смеешься, и глаза, ресницы... и я лучшего не видел, лучшего

не знал, и без тебя ничего бы не видел и не знал, без тебя — тьма крошечная, зябко, страшно...

Я привязан к тебе — как конь стреноженный, но не будет этой привязи — и съедят меня волки. Эта привязанность спасает от ада: Дон Жуан не привязывался — вот его лукавый и смог увести...

Эрос — из воздуха и огня. Но сладковатый, тошнотворный привкус плоти гасит пламень и спирает воздух...

Связь: Я — ОНА — ДУХ. Когда упрощается до: Я — ОНА, тогда дух мстит за самодостаточность двоих. Он уходит. Две линии встречаются, и получается клин, тупик. А хочется воздуха вдохнуть, пространства, глубины, хочется огня — вырваться!

Но возвращаться обратно, вновь охранять и лелеять нежную, тонкую ткань вечной жизни, не давая ей расползаться под дыханием тлена, не давая и костенеть от желания стать нетленной...

Если зима вокруг — разве не может мой дух повелеть и сделать лето?

Так просто сдвинуть гору с места, когда все силы собраны вместе...

И мой мир, в котором мы ищем землянику под сырими елями, собираем чернику под скрипучими соснами — он живет, чем тот, в окне, засыпанный снегом. Я ей принесу букетик, живые лесные цветы — чтобы не осталось это словами. Пусть пылающая душа скажет о себе прикосновением к щеке холодного ландыша.

...При расставании не знаю, куда уходит — и не хочу знать: мне аукаться в этом мире, которого нет ни у кого. Там из глубины каждой вещи струится свет, и нимб вокруг каждого предмета. Так не буду и звать в голос, и говорить слова: зачем мне слышать чужие ответы?

...В мире, который светится, будут ждать любимую тень... И когда тебя больше не будет для меня (мне ведь надо ко всему быть готовым, даже к этому) — ты останешься там.

Путь радости — труднее пути отказа от радости. Отказаться от трудности — отказаться от радости: путь ниспадающий, путь меланхолии...

.....

В любви расплавляются острые жесткие грани, ею заживляются трещины и разломы...

Звоните, колокола!

Вот снова это дано мне, и нельзя погубить этого!..

До ее прихода оставалось еще целых двенадцать дней, и Федор Степанович, чтобы занять время, начал понемногу набрасывать новую систему, пытаясь выразить переполнявшее его чувство. Она виделась ему — сверкающая, прозрачная, легкая, любовью охватившая весь мир до последней частицы; любовью, ничто и никого не отвергающей, не оставившей за своими пределами. Для нее стал он предпринимать экскурсии в разные стороны, к разным темам, стремясь единым дыханием охватить разрозненное.

Противоположность плоти и духа породила жизнь. Жизнь возникла как искра между полюсами. Ни чувство, ни разум не способны разрешить эту антиномию. Лишь жизнь, собою, разрешает ее...

.....

В захватывающей дух перспективе Федору Степановичу представилось развитие человечества как гигантская волна, на вершине которой — не Цезарь, не Аристотель даже, но — Дева Мария как точка наивысшего душевного совершенства. И к этой вершине с неизмеримых высот нисходит Искра Мирового Духа. При встрече их рождается образ... Иисус стал возможен после Марии... В лоне умирающего ветхого человечества родилось семя будущего. В очищенную душу сошел дух. Рождество свершилось, и отныне дело лишь в том, чтобы зерно это умножалось, прорастая снова и снова. И как человечество, умирая, родило Иисуса Христа — так

и во мне должно умереть все, чтобы могло родиться новое, могущее перейти из моего бытия — в грядущее... И новые, все новые и новые незаметно восходили на снежную вершину, где ждала их Святая Дева с голубем на плече...

Как сон приснилось все это Федору Степановичу после долгих и трудных попыток заменить богословием свою прошлую философию. Ему казалось теперь, что "эпоха философии" неминуемо кончилась и началась "эпоха религии".

Богословие — от Бога-Слова, — думал он, но кто-то незнакомым голосом сказал вдруг "бобоксловие" и потянуло могильным сквозняком... Представилось, из чего складывается такое мерзкое слово: "сквернословие" и ...бобок, бобок... Федор Степанович был озадачен и разочарован. Ведь он умом и душой усердно трудился, надеясь, что к Рождеству его постигнет некое озарение, что на Рождество и в нем нечто должно родиться. Ум же породил нечто неприятное, а Федор Степанович ожидал блаженства. Тогда он стал думать, что это еще не то, это лишь чье-то (чьё?) досадное вмешательство, и нужно делать свое дело, не смущаясь препятствиями!

...Великий путь от вершины к вершине через бездну... "Благодетели человечества" мечтали о сокращении этого пути, создавали иллюзию, что есть другой, вливали яд утопизма в ищущих. Они создали понятие "счастья" и расставили его как капканы на каждом шагу: счастье первобытного рая, счастье грехопадения, "земное" счастье... Счастье разрушения мещанского счастья, счастье переустройства жизни. Они так исказили сознание, что самого Христа правильно было бы назвать теперь "несчастьем", злом. Буто́н раскроется — а вместо Цветка окажется гусеница, высосавшая все его соки. И гусеница эта — наше "счастье", наше добро.

...Смерть, насилие, ложь — реальны, зло — реально. И зло надо пройти, победить страх перед ним. Мы не можем знать заранее, что сильнее: зло или добро. Жизнь не дает ответа на этот вопрос, или дает два противоположных ответа. Мы можем лишь утверждать себя в том или ином. В Христе явлен путь духовного бесстрашия, ведущий к подлинному раю: не к возвращению утраченного рая, а к созданию реального рая. И поскольку он еще не явлен, как не явлен и реальный ад, в то и в другое можно лишь верить или не верить. Неверие в Христа есть вера в распявших Его, неверие в Воскресение есть вера в смерть. И в каких бы понятиях ни формулировать свой путь, свою веру или неверие, по существу здесь не так много вариантов.

.....

Как физическая боль сообщает о болезни тела, так и страдание говорит о болезни всего душевного существа... Радикальный способ избавления от страдания — смерть того, что страдает. Страдает обособившееся "я", "самость" — тварь, отпавшая от Бога. Вот что должно умереть, вот что смертно. Но означает ли это уничтожение всей личности или только части?.. Для того, кто не родился духовно, мистическая смерть самости тождественна смерти всего существа. Суть многих самоубийств — в подмене самоотречения — самоуничтожением. Кому-то легче убить себя, чем отречься от себя. И самоуничтожение происходит ради самоутверждения.

Ужасна такая смерть! Если личность вся в "своем", то после смерти, утраты этого "своего" должно быть состояние вечного падения, проваливание... вечное падение во "тьму внешнюю". Эгоцентризм связан с миром утилитарно и после смерти должен лишиться всего.

.....

Заповеди Христа — воплощение духовной логики, которая идет вразрез с логикой мира: раздай имение, не судите, подставь другую щеку; кто может вместить, да вместит... Это — отказ от обладания: материей, умом, моралью... В том, что каждый будет судим по вере его — указание на то, что логике мира духовного ближе пропорция, чем количество, и в этом мире она выражается относительным образом.

Дух ничем не обладает в мире безусловно; закон мира безразличен закону духа, они равнодушно проскальзывают друг сквозь друга. Но материя, освободившись от духовных законов, начинает "елозить", бессмысленно двигаться, блуждать, блудить... Появляются миллионы тонн, миллионы голов, миллионы рублей... Возникает желание переделат всю державу, всех людей, переписать всю историю, все — заново... Какое беспрецедентное попираание меры!

Христианство же есть отказ от количественного во всех областях. У христианина сухие руки, к ним ничто не прилипает: вода их не мочит и земля не чернит. Юродство христианина в том, что ему все равно: мало или много, сильный или слабый, великий или жалкий. Мир всегда как бы обижен, оскорблен христианами — и мстит...

От высоких духовных истин к живому неповторимому моменту, проходя сквозь все сферы жизни, тянется все связующая нить. И задача в том, чтобы она на всем протяжении своем была сохранной и живой. Потеря живой связи текущего момента и его высшего смысла открывает дорогу лжи. ...Как с ветряными мельницами — воевать с ложным величием! Изгнать дух лжи можно только изнутри: открытостью личности всему, на всех уровнях и во всех моментах, от последней потерянности в мире до соборной полноты и причастности всему. Тогда только и можно будет... восстановить поврежденную связь твари и Творца...

Постоянный процесс: освобождение от конкретности — и нисхождение в нее, умирание и оживание. Жизнь и покаяние. И столь глубок этот закон, что и Он в своей жизни не свободен был от него: и мир и меч, и любовь и покаяние, вплоть до последнего, страшного — Гефсиманской ночи... Лишь легкомысленное умозрение легко переходит границу между жизнью и смертью. Но для действительно живущего действительная смерть, и умозрительное воскресение не делает смерть менее реальной. Отсюда — заведомая ложь религии как умозрения...

Слова "Душа Моя скорбит смертельно... если возможно, да минует Меня чаша сия... Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты меня оставил?" — из уст Самого Воскресшего — не оставляют места для умозрительного религиозного оптимизма. В свете этого подлинным духом Евангелия представляется личное прохождение через все: от высшей радости до смертной тоски, от рождения до смерти, причем буквальное прохождение всей жизни, а не только высокомерно-умозрительная имитация ее. Христианство нельзя высказать словами — его можно только прожить всю жизнь.

...Благая весть христианства в том, что духовна сама жизнь. Истинна сама жизнь. Разрыв между жизнью и истиной исчезает в личности Христа, в христианской личности.

.....

Всякая любовь... ..счастлива оттого, что она есть. Эротическая любовь — игра, в которой как бы преодолевается противоречие между истинным и ложным, вечным и временным, абсолютным и условным. Игра эта как бы устройство царства небесного на земле. Двое играют в райских детей, в Адама и Еву. Условие игры: будь то бы не было грехопадения. Любовь — как бы выход в рай из падшего мира, и утрата любви воспринимается как утрата рая...

Как начинается?

В ком-то вдруг прозреваем Еву. Линия человеческого вдруг совпадает с линией Божественного, их колебания совпадают, и возникает резонанс, раскачивающий человеческую природу так, что она нарушает собственные законы, — она преобразается. Свет рая, проходя через другого, становится видимым, осязательным, хотя и непостижимым. Все случайности, мелочи и особенности другого освещаются райским светом. Когда же любовь уходит, сосуд, наполненный райским блаженством, пустеет, — то такими бледными, жалкими становятся все эти мелочи! Это как бы вхождение в особое поле, которое перестраивает, освещает природу. Оно подчиняет себе все существо, заставляя его совершенствоваться.

.....



...Я стремился к такому состоянию, когда времени больше не будет. Я рвался в надвременное — и попал в плен пространства. Но пространство — это материя, тогда как жизнь — это время. Человеческое сознание стремится все представить пространственно, и даже само время понимается как некое движение; подобное движению в пространстве. Но пространство — это бытие материального... И те мировоззрения, которые пытаются представить мир в виде некой картины, занимают ничем иным, как убийством всего живого. Форма бытия живого есть время. Все, что я освобождал от времени, называл "надвременным", "вечным", — все стало мертвым. Мне надо снова вернуть времени свою жизнь, пока она и в самом деле не закончилась! ...В наш век материализма все сводится к пространству, даже само время, сама музыка, которую записывают и анализируют как "форму"... И то, что я записываю — это ведь я перевожу время в пространство!

.....

На этом я прекращаю свои записки. Ведь собирался их продолжать только до тех пор, пока то, что я мыслю, не совместится с тем, что есть. И долгожданный день наступил: не только мыслю, но и всем существом своим нашел истину. Теперь можно жить, а не размышлять о жизни. Прощайте, мои записки, следы слепото заблуждения!

Вы мне больше не нужны!..

### 3

Тем временем наступил и долгожданный назначенный день. Федор Степанович подмел пол в своей комнате, подпер подбородок уже упоминавшимся воротничком и стал ждать назначенного часа. Когда же прятал тетрадку со своими записями, то наткнулся на старые бумаги — письма, выдержанные много лет в пыли, когда-то подаренные и бережно засушенные цветочки, фотографии людей, которых давно забыл. Память, оказалось, все хранила в неприкосновенности и теперь, без просьб и усилий, готова была ему все отдать. Весь день он крепился, отгоняя воспоминания, поддерживая в себе дух бодрого ожидания перед решающим моментом своей жизни. ...То подберет незаметную соринку, то расправит складки на покрывале... В этот день был починен давно сломанный выключатель, освобожден затопленный бумагами и книгами стол. Проясненное сознание овладевало хаосом обстановки, пока не добилось своего: напользавшее одно на другое подобно черепичной крыше выстроилось правильными прямоугольниками стопок.

Все в комнате стало простым, прямотушным, все — на глазах. Одна только хитрость таилась в ней: стенные часы, перешедшие к нему по наследству. Их он не стал заводить, чтобы не показывали время, стрелки поставил на назначенный час.

До того часа было еще далеко, но зимой — ранние сумерки. Они наступали не вдруг, а постепенно, и плавный ход нельзя было прервать внезапной вспышкой лампы. Умаявшись за день, самое время было присесть, со стороны созерцая наведенный порядок...

Слабо брезжила освобожденная плоскость стола. В глубине — стекла в шкафу становились все чернее и глубже... Силуэт старой лампы на фоне окна сторожил порядок предметов. Беленый потолок растворялся в сумерках. Федор Степанович чувствовал сговор... ему навстречу грозило что-то выплыть. Он отмахнулся от этих мертвых предметов и погрузился в свое. И от воспоминаний уйти уже было нельзя.

— Лампу зажечь нельзя, а свечку можно, — решил он, вспомнив, что в Крещенский вечер принято гадать, — и в порывах свечного желтого пламени на сквозняке разыскал два зеркала — два квадратика света в сгустившихся до черноты зимних сумерках. Он поставил их одно к другому лицом и застыл, погрузившись в магическое пространство коридора отражений.

— Да это же прошлое! — узнал он, не в силах оторвать глаз. Все проваливалось в коридор через зеркальную дверь, уходило вдаль... Насто-

ящее неостановимо перетекало в тот коридор. Свет свечи не тускнел вдалеке, коридор весь светился.

— Прошлое — это развернутое настоящее... прожитая жизнь — до конца разложенный веер, на каждой дощечке которого пробит один и тот же рисунок, пробит сквозь все дощечки тогда, когда веер был сложен. Ничто никогда не теряется! Начиная новый сюжет — работает над тем же рисунком, совершенствуя его от дощечки к дощечке. Никуда мы не движемся! Жизнь — коридор из отражений, который придуман для нас, чтобы не скучно было работать над своим рисунком. Я привязан к этой работе. Но если мне захочется сбжать от нее — коридор будет продолжен следом за мной, впереди меня будет ждать новое отражение, но вся та же работа. Она всегда ждет впереди, если жизни суждено продолжаться...

...Потянул сквознячок, пробрав Федора Степановича ознобом. Он оглянулся и вздрогнул: стекла шкафа отражали его с зеркалами и свечкой поверхностью черной воды. ...Он занавесил лишнее отражение и вернулся на прежнее место.

— Я покажу это ей, мы залянем туда вместе, я ей все расскажу... В Федоре Степановиче оживали воспоминания, разбуженные старыми фотографиями: Феде и К. ...Федор и Л. ...Федор Степанович и М. ...В сегодняшнем — я и она, Н. ...К., Л., М., Н... веер имен можно было сложить на каждом из них...

Л... — я же помню: казалось, что и К. не было, и М. не будет, что единственно только Л. и всегда только Л., только она — и ныне и присно! И М. точно так же, и К. ...Отражения врут, повторяя много раз единственное: жливая жизнь, разворачивающаяся окружность в прямую... Но когда прямая снова замкнется — тогда эти найденные точки сойдутся все вместе в единый центр... Федор Степанович безвольно расслабился на диване. Воспоминания затопили его, он совсем утонул в них, отпустив свою душу плыть по течению...

К.

Звонкое щебетанье... Это ты, милый пересмешник, со сдвинутыми бровями, страдающий о мире? Щебечет, порхает, звенит в шорохе шелков-перьев. Вихрь блестящий на солнце. Не уловить тебя тяжело, угрюмому... Набухла военного шея. Маленькие хрупкие фигурки выискивает он с жадностью на бульварах. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — взлетали и взлетали ключья белой ваты... — Так темно после улицы... раздвину шторы? Не надо ставить чайник!..

Но самое веселое было: поить чаем и смешить, как медка отхлебнет из чашечки, чтобы не смогла проглотить от смеха, и прыснула наконец... О, лимонница, перепархивающая из мгновения в мгновение. Смеющееся слово — июнь! Но надо чинно шествовать, надо быть послушными детьми: впереди, по запятнанной солнечными мазками тропинке, высокой прической сгребая радужную паутину, шествует ее мамаша. Пикник для детей устроен как подобает: с куриной ножкой, крутыми яйцами и солью в спичечном коробке. Белые скорлупки в рассыпанной соли на плаще, обглоданные косточки — и мамаша застыла в облаке духов, привалившись спиной к дереву... Махонький червячок гнулся, болтался на ниточке, да чей-то тонкий голос тихонько свиристел... Она пыталась, не открывая глаз, губами ухватить травинку, которой он рисовал на ее лице ее лицо. Травинка гнулась, не слушалась — а брови были еще не дорисованы — и в них-то была вся она — в том, как разлетались они к вискам и как сходились к носу. Он пытался почувствовать, как ее лицу тепло от солнца, как солнце расплывается светлыми кругами за закрытыми веками, как она не понимает, трава щекочет или муха ползет по ее ноге. Но почувствовать то же, что и она, можно было только прикоснувшись к ней: лбом ко лбу, руками к рукам. Чуть дыша, стараясь пальцы сделать легкими как травинка, дорисовал он ее бровь до виска... Тут птичья свирелька оборвалась и вдруг вспорхнула из куста. Глаза медленно раскрылись, и проснулась мамаша...

Потом, когда все сломал, когда разорил щебечущее гнездо, и прирученная, уткнувшись лицом в его колено, жаловалась на его невнимание, — он был награжден щемящей жалостью и опустошающим разочарованием: из светлого пятнышка темени начинали расти волосы. Припухшие хрящеватые ушки — как кусочки из поро-

сячьего холодца — прикреплялись уздечками к началу хрупоньких скул, напоми-  
навших зебры налива (так бы и даванул двумя пальцами). И как сердце в лягушон-  
ке, билась в руках чужая жизнь, и он не знал, что с ней теперь делать...

Л.

Он не знал, что делать — тогда и стал говорить о том, что должно делать и как  
полагается поступать в таких случаях. Маленькое несчастье стало большой мелодра-  
мой.

— Федор, ты пойми, ты только пойми...

— Ах, понимаю, я все понимаю...

— Ты пойми, дело ведь не в этом, совсем не в этом...

— В том-то все и дело, все дело только в том...

— Федор, учти...

Они ходили по комнате друг за другом и воздевали руки. Она ммурила брови,  
сжимала пальцами виски, и застыв в этой позе, из последних сил вздыхала: я ниче-  
го не понимаю, я совершенно ничего не понимаю. И до него долетал запах знако-  
мых духов, столь таинственный раньше и такой назойливый теперь. Ее тонкий го-  
лос что-то старался внушить ему — но и одного вида ее было достаточно: от преж-  
ней мечты остались только кожа да кости, обглоданные им.

— Ты пойми, Федор...

Но он не хотел понимать, не хотел чувствовать то, что чувствовала она, и от-  
странялся, когда она протягивала руку, стремясь прикоснуться к нему.

В паузах слышно было, как на кухне капала из крана вода: да жужжала сонная  
зимняя муха.

Он хотел все упростить и свести к шутке: мы с тобой тогда рассыпали соль —  
оттого и поссорились. Она замолчала, улыбнулась, вспомнив о чем-то, и, глянув в  
зеркало, стала поправлять кофточку, прическу. Профессионализм этих женских  
движений вдруг раздражил его, и он, едва сдерживаясь, закончил мелодраму: и  
все-таки мы должны расстаться навсегда!

Муха стукнулась о стекло, и жужжание оборвалось. Она медленно подняла на  
него глаза, хотела что-то сказать — и заплакала. Он хотел удержать, просить про-  
щения, все начать заново — только бы не отпускать так одну, неизвестно куда. Но  
она не обернулась: тихонько прикрыла дверь и побрела в своем пригланном паль-  
тишке, всхлипывая и спотыкаясь, по первому снегу...

М.

Цветы на лугу

Губами коровьими...

Радостями вдовьими...

Лютик к ромашке

Ему на грудь

Капельки в маковой чашке —

Все грусть да грусть.

Хороводы под вишнями -

Все в лицо бодливый жук на лету.

Гороховым пугалом треплется

Пальцецо его на весеннем ветру.

...Тогда-то и стала она опять приходить к нему, маленькая и негордая, вся по-  
тухая, поблекшая — одни глаза смотрели всегда участливо, всегда заботливо, — и  
в доме воцарялись чистота и порядок. Но в глазах ее он видел укор — и не мог  
долго его выносить. Они чем-то нужны были друг другу, — и в тихих беседах за ча-  
ем, при которых он всегда опускал глаза, устанавливался тот общий строй, какого  
ни с кем и никогда у него не было. Так и сидели до темноты, не зажигая лампы, и  
иногда просто молчали...

Однажды она пришла необычно оживленная, и вместо того, чтобы заводить  
привычную беседу, тонко, как дурочка, пропищала свою песенку — про цветы, про  
бабочек и жуков, про коров, пасущихся на лугу, про хороводы в саду вокруг горо-

хового пугала... Смысл было трудно понять — и он попросил спеть еще раз. Она же засмеялась и убежала, тихонько прикрыв за собой дверь, и с тех пор больше не появлялась — как птичка выпорхнула из куста...

Но как-то зимним вечером зашел он в церковь и — о, неожиданная встреча! — негордая и маленькая в храме со свечкою в руке. Вокруг ее лица, наверное, ангелы шуршат крылами — и улыбается едва. Она их, верно, видит — словно стаю белых голубей. Когда бы увидела бесшумный лет серых мышей... Не видела. Вовеки не увидит! Есть верный щит от них: слезами умиления блестят раскрытые глаза и отражают только блеск свечей и серебро окладов.

.....

Спаситель маленький в кроватке — неутоленною мечтой о материнстве.  
И пальчики Его невыразимо сладки,  
Протянуты к прекрасной строгой даме.  
Ягнята блеют и мурлычет кошка. —  
Примите и меня в свое семейство!..  
И вечером до дому добираться уже не страшно..  
Он бы пошел, если б не боялся ее...

.....

Неужели и Н. станет отраженьем, памятью? Неужели и она — из их рода? В любви душа входит в другую душу... А вместе с тем... — пытался он выразить что-то невыразимое. Но мысль не могла охватить всего — и отступилась, замерев на дне сознания, вспыхнув напоследок вопросом: неужели и Н. станет отражением, памятью...

Федор Степанович заснул...

Красновато-оранжевое облако окружило его, постепенно сгущаясь, и оказалось вдруг большим и сочным апельсином, в котором дольки были: К Л М Н... Они рядом расположились под красной кожей, спросишь ногами и понимающе переглядываясь, будто знали что-то тайное, понятное только им. Апельсин завертелся, они стали чуть расходиться, как лепестки, и он встал в центр этого хоровода. Движение ускорялось, и вскоре все слилось в единый круг. Их песня становилась все громче, и дойдя до неистовства, они стали выкрикивать что-то невнятное хриплыми голосами. Они приближались к нему — вот уже их распущенные волосы обвивают его и протянутые руки сейчас в него вцепятся... Они сейчас меня растерзают!..

Звонок в дверь прервал хоровод менад.

Федор Степанович поднял голову и посмотрел на часы.

Наступил назначенный час.

За дверью не было никого.

Какой-то хулиган, проходя мимо, нажал на кнопку звонка!

Федор Степанович взглянул на ручные часы: было пять минут первого.

Назначенный день прошел. Она не пришла.

И, пытаясь осознать то, что хотела ему сказать этим судьба,

он уже знал наперед: она никогда не придет...

— Раз так — то я возвращаю свой билет обратно!!! — воскликнул Федор Степанович и исчез из поля нашего зрения.

#### 4

Читатель будет, верно, разочарован, когда вместо Федора Степановича столкнется вдруг с новым лицом — с автором. Но здесь — ничего не поделаешь. Федор Степанович ничего не может. Он лежит пьяный в тех местах, о которых впоследствии и сам не сможет вспомнить, да еще будет уверять нас в том, что он там никогда и не был.

Дорогой читатель! Это не литературный прием, он действительно и к телефону подойти не может, он пьян — и скрыть этого мы не в силах. Однако у нас не теле-

фонный разговор, а художественное произведение. Поэтому я предлагаю вам записки Федора Степановича, сделанные им во время запоя (который длился около месяца). Их, ввиду крайней фрагментарности (доходящей иногда до афористичности), придется все же дополнять авторским текстом.

...Как будто проснувшись после долгого сна, я вдруг понял, что так было всегда, что то, над чем летал в высоких снах, на самом деле лежит во мне страшным грузом.

Соединение двух миров в одной личности есть проба души на разрыв.

"Я" по природе своей противоположно церковности: для "я" прийти в храм — как улитке выползти из своего домика. Прикоснуться к другой душе — еще труднее: здесь выползти надо двоим. И любовь и литургия — выход из своей раковины. Но выход кажущийся, в снах. На деле — это либо невозможно, либо смертельно опасно.

Любовь?

Этот кажущийся мост между мной и другим — начинается во мне и приходит в меня же, ничто и никого на деле не связывая и не соединяя. Наоборот: в любви-то и познается в полной мере разобщенность между людьми; в любви-то и испивается до дна вся безысходность этой разобщенности; любовь-то и дает ощутить весь ужас одиночества. Земная любовь — всегда мезальянс: любим богиню, а дело имеем с кем попало.

Что же держало меня раньше, как не вера? Ничто не держало — я держался сам, из последних сил. Но вот кончились силы — и упал, провалился.

Этот мир — тот мир. Жизнь — смерть... У меня — все есть, а жизни как противовеса смерти — нет. Падает вера, слабеют силы — жизнь начинает идти на убыль, прекращается сама собой. Волоку за собой свою жизнь. Я остановлюсь — и она не идет сама. И тащить тяжело. И с завистью смотрю на детей: они ведь едва сдерживают бег своей жизни, едва успевают за ней...

Пусто стало: любовь-то была, оказывается, "от недостаточности"! Какой уж там переполненный сосуд!

Сколько воздвигнуто в себе непобедимых крепостей: в неуязвимости, неподвластности, независимости; сколько оружия, стали, мечей, щитов, камня: запасов, рассчитанных на вечную осаду; силы, бесстрашия — не страшна и смерть. Ах, чтобы все это затопило единым потоком! Каменные глыбы башен и стен так давят! Крепость надежна — но в ней тесно. Крепость — спасение, но в ней — смерть от удушья. И хочется, чтобы залило, захлестнуло ее, чтобы размыло жесткие углы-границы...

Единственно живое, подлинное, что пришло в мою жизнь — и то погубил, не сумел сохранить, предал. Так на кого же теперь жаловаться?

Она должна была прийти, но не захотела. И все, что построю, разбивается об это "не захотела". Я должен ее оставить. Но... не могу. И все, что построю, разбивается об это "не могу". Что-то знакомое... А-а, когда одни не хотят, а другие не могут, возникает... революционная ситуация!

**Продолжение следует**

## СУДЬБА ИМПЕРИЙ

*Империй призрачных орлы...*

В марксистской литературе принято считать империализм политическим продуктом зрелого капитализма, в который Европа вступила приблизительно с 80-х годов прошлого столетия. Экономические мотивы (борьба за рынки, сырье и помещение капиталов) действительно отмечают новейшую колониальную политику европейских империй. Но экономика лишь одна из многих сторон политической экспансии, которая стара, как мир. Здесь социология непосредственно продолжает биологию. Борьба за власть есть лишь политическое выражение всеобщей борьбы за существование. Можно было бы утверждать как историко-социологический постулат, что каждое государство или даже каждое политическое образование (род, племя, орда) непрерывно раздвигает границы своей территории за счет соседей, до тех пор пока не встретит достаточно сильного сопротивления. В результате устанавливаются более или менее твердые границы, но всегда оспариваемые, всегда подвижные. Война в истории более постоянное явление, чем мир. Даже в периоды длительного мира нельзя забывать, что он лишь результат равновесия враждебных сил. Гра-

ницы государства не статические формы, а силовые линии, где скрещивается и уравнивается внутреннее и внешнее давление. Равновесие постоянно нарушается, и тогда происходит расширение, сжатие или гибель государства.

Вся история может быть рассматриваема (и даже преимущественно рассматривалась в узкополитической историографии) как смена процессов интеграции и дезинтеграции. Можно называть первый процесс ростом, развитием, объединением или же завоеванием, порабощением, ассимиляцией; второй — упадком, разложением или освобождением, рождением новых наций, в зависимости от того, какая государственность или народность стоит в центре наших интересов. Галльские войны Цезаря принесли с собой смерть кельтской Галлии и рождение Галлии римской. Разложение Австро-Венгрии есть освобождение Чехии, Польши и Югославии. Объективная же или сверхнациональная оценка историка колеблется. Рост государства означает расширение зоны мира, концентрацию сил, и, следовательно, успехи материальной культуры. Но гибель малых или слабых наро-

---

*«Новый журнал», XVI, Нью-Йорк, 1947.*

дов, ими поглощенных, убивает, часто навеки, возможность расцвета иных культур, иногда многообещающих, быть может, качественно высших по сравнению с победоносным соперником. Эти гибнущие возможности скрыты от глаз историка, и потому наши оценки великих империй или, точнее, факта их образования и гибели, содержат так много личного и условного. В отличие от евразийцев, мы признаем безусловным бедствием создание монгольской империи Чингисхана и относительным бедствием торжество персидской монархии над эллинизмом. С нашей точки зрения, империя Александра Великого и его наследница — Римская — создали огромные культурные ценности, хотя в случае Рима нельзя не сожалеть о многих нераспустившихся ростках малых латинизированных культур. Враги греческого гуманизма, которых так много в наше время, конечно, другого мнения. Борьба эллинизма и Востока еще продолжается в нашей современной культуре.

Когда экспансия государства переходит в ту стадию, которая позволяет говорить об империи? На этот вопрос не так легко ответить. Во всяком случае, нельзя сказать, что империя есть государство, вышедшее за национальные границы, потому что национальное государство (если связывать национальность с языком) явление довольно редкое в истории. Может быть, правильное определение было бы: империя — это экспансия за пределы длительно-устойчивых границ, перерастание сложившегося, исторически оформленного организма.

Историки давно говорят о египетской империи для эпохи азиатских завоеваний Рамесидов, о вавилонско-ассирийской и персидской империях — в их расширении за пределы Междуречья и Ирана до берегов Средиземного моря. Рим превращается в империю, когда выходит из границ Италии; европейские державы, когда приобре-

тают обширные колониальные владения за океаном. Но завоевание или ассимиляция немцами западных славян или русскими славянами финнов не создавали империи. Выход государства, даже непрерывно растущего, из его привычной геополитической сферы есть тот момент, когда количество переходит в качество: рождается не новая провинция, но империя, с ее особым универсальным политическим самосознанием.

\*\*\*

Наши привычные понятия о государстве сложились в опыте XIX века, когда национальное государство из исключения превратилось в норму, в тип государства вообще. Современное государство-нация есть продукт скрещения двух первоначально враждебных сил: романтизма и французской революции. Романтизм, с его переоценкой всего иррационального в человеке и культуре, строил идею народа на подсознательных или полусознательных элементах его жизни, какóвы язык, фольклор, языческая религия природы. Народ романтиков совпадал с языковой общиной. Французская революция сделала народ (конечно, другой, насковзь рассудочный народ) сувереном, единственным носителем государственной власти. Народы Европы, поработанные революционной Францией, в борьбе против нее прошли через ее школу. Их культурный, бытовой, религиозный национализм превратился в политический. Каждый народ (нация) имеет право на свою государственность, и только национальные государства оправданы. Такова была вера XIX века. И его внешнеполитическая история сводилась главным образом к революционно-военной перекройке европейской карты по национальным границам. Для одних (немцев, итальянцев) это было движение к единству, для других — к отделению, освобождению от наций завое-

вательниц. Некоторые страницы этой истории достойны Плутарха. Нельзя без волнения читать о героях и мучениках освободительных движений в Италии, Польше, Ирландии. Счастливые, немцы и итальянцы, создали свои крепкие национальные государства уже в XIX веке. Даже более слабые, балканские народы, добились своей независимости, пользуясь слабостью Турции и поддержкой мощной России. Несчастливым пришлось ждать до первой мировой войны, которая принесла долгожданное освобождение полякам, ирландцам, чехам и другим австрийским славянам.

Но задолго до того, как процесс национализации Европы завершился, или, вернее, достиг своего возможного апогея, началась эра нового империализма. Конечно, и он не сводился к голой экономике. И в нем говорила воля к власти, пафос славы (Киплинг) или голос тщеславия. Но для великих европейских держав конца XIX века колониальная экспансия была хозяйственной необходимостью. Все растущая индустрия требовала заокеанского сырья (хлопок, каучук), изобретение двигателей внутреннего сгорания вызвало колоссальную потребность в нефти и борьбу за ее ограниченные естественные источники. Наконец, победоносный капитализм, по природе своей не способный удовлетворяться внутренними рынками, начинает погоню за внешними. Политическое господство становится формой, орудием и броней экономической эксплуатации. Старые колониальные империи Англии и Голландии просятся от вековой дремы для новой лихорадочной работы. Поздно пришедшие народы спешно строят свои новые империи за морем: Франция, Бельгия, Италия, Германия. Впрочем, *sego venientibus ossa*. Для Германии не нашлось уже "места под солнцем" Африки или Азии, достаточно рентабельного, и она обратила главную ось своей экспансии на Ближний Восток. Здесь

она проникла в империалистическую зону сил Англии и России, что и было одной из главных причин первой мировой войны. В эту войну вступили уже не европейские народы или нации, а мировые империи, подобные драконам, головы которых еще уместались в Европе, но туловища покрывали почти весь земной шар.

Конфликты, приведшие к войне, были двух порядков: национальные и империалистические. Национальной в старом смысле слова была борьба Франции и Германии из-за Эльзас-Лотарингии, борьба немцев и славян на Дунае, внутри и вне австро-венгерской монархии. Империалистическая экспансия поссорила Германию с Англией и Россией. На Версальской конференции явно преобладали мотивы национальные, даже этнографические. Ее идеальным планом, на практике оказавшимся неосуществимым, было воплощение старой романтической мечты: для каждой народности свое государство. Крушение нескольких империй позволило кроить новые государства в Европе щедро и, на первый взгляд, безболезненно. Вопрос о колониях, о переделе мира и мировых богатств стоял на втором плане.

Вторую войну можно понять лишь в теснейшей связи с первой, как ее второй акт. Основной силой взрыва было болезненно-раздраженное, в результате поражения, национальное чувство Германии, самой динамической нации Европы. В ее сознании давно уже национальные мотивы неразрывно сплетались с империалистическими. Это значит: пафос освобождения становился для нее волей к власти. Гитлер и выставил для нее программу в сущности беспредельного господства: сначала в Восточной Европе, потом в Европе вообще, — наконец, во всем мире. С поразительной легкостью ему удалось осуществить две части своей программы. Впервые со времен Наполеона Европа подчинилась единому "порядку". Этот поря-



док, т.е. господство Германии, приняла и Франция, казалось бы ее вечный и непримиримый враг. На службу мечу стали и новые идеологии, в которых расовые и буржуазно-классовые мотивы сплетались с самыми передовыми, сверхнациональными и социалистическими. Бессилие и малодушие находили опору в стремлении к миру, к европейскому единству, к универсальной организации.

Потеря чувства меры (как в случае с Наполеоном) и ассирийское варварство методов завоевания сгубили Гитлера и Германию. Он нес народам не мир на основе права и порядка, который побежденные могли бы принять скрепя сердце, но унижение, порабощение, для многих физическое истребление. В результате Германия вызвала против себя взрыв национальных чувств и страстей, который оказался сильнее потребности в порядке и единстве. Англия и Россия боролись за свое существование. Движения "сопротивления" возродили революционный национализм, напоминающий эпоху наполеоновских войн. Второй акт мировой войны окончился крушением германского варианта мировой империи.

В результате этих двух "раундов" старая Европа с ее сложившейся системой международных отношений отошла в вечность. Погибли или погибают все ее империи, кроме России, на равновесии которых держался мир. Нет больше Австро-Венгрии, Турция ушла из Европы, Италия потеряла все колонии, Германия — конечно, временно — не существует даже как государство. Франция сведена на ступень второстепенной державы, которая делает бессильные попытки спасти свою распадающуюся заморскую империю. Англия, хотя и дважды победоносная и способная к героической борьбе, ослаблена тяжким кровопусканием и вынуждена сама начать ликвидацию своей империи. В отличие от Франции, она проявляет в этом процессе

свертывания много пронциательности и великодушия. Она действительно стремится перестроить свою империю в добровольную федерацию наций, преимущественно англосаксонской культуры. Но, занятая огромными внешними трудностями, она бессильна помочь Европе в организации ее хаоса.

Этот хаос создан не только военными потрясениями. Если погибли империи, то и государства-нации не смогли организовать жизни в образовавшейся политической пустоте. Прежде всего выяснилась утопичность чисто этнографической государственности. Историческая чересполосица племен, естественные географические рубежи (Богемия), исторические воспоминания и притязания делают национальную проблему Восточной Европы неразрешимой. Чем дальше мы идем по путям мнимых решений, тем больше накапливается ненависти, к старым прибавляются новые несправедливости, открываются источники новых конфликтов. С другой стороны, национальное чувство в наши дни, столь беспощадное к слабым соседям, оказывается неожиданно и жалко покорным перед торжествующей силой. Франция покорилась Гитлеру почти без сопротивления. Чехословакия добровольно отдалась во власть московскому властелину. А ведь Франция и Чехословакия были классическими странами современного демократического национализма. Почти все силы "сопротивления" в Европе, боровшиеся с Гитлером, предают теперь свою родину новому восточному завоевателю. Точно цель всей их борьбы была в том, чтобы переменить одного тирана на другого.

Нет, не национальное сознание способно сейчас организовать мир; скорее оно мешает новой организации, стремится увековечить хаос. Нечего и говорить о том, что за столетие индустриального капитализма оно растеряло все те великие ценности, которые некогда национальный романтизм

писал на своем знамени. Культура — или бескультурность — современных наций становится все более космополитической, безнадежно-однообразной. Национальные традиции служат больше для декоративной рекламы внутренне пустой технической цивилизации.

\*\*\*

Итак, ни равновесие империй, ни мирное строительство малых наций не даны для новой исторической эпохи. Пока над руинами и хаосом Европы выносятся два гиганта, два победителя, вознесенные мировой войной на небывалую высоту. Для всех ясно, насколько неустойчиво новое равновесие. При всяких обстоятельствах дуализм политических сил, направления которых пересекаются почти во всех точках общего "жизненного пространства", неизбежно приводит к их столкновению. Правда, сейчас нет недостатка в карликах, которые в страхе от приближающейся грозы пытаются играть роль посредников между гигантами. Но их политический вес слишком ничтожен, чтобы поддерживать шатающееся равновесие. В данном случае нельзя даже говорить о столкновении как о событии будущего. Борьба между двумя империями уже ведется методами дипломатии, экономики, пропаганды. Даже прямые военные действия идут, хотя и под прикрытием чужих флагов. Сейчас СССР ведет войну в Греции и в Китае, как ранее вел ее в Иране и во всей уступленной ему, но подлежащей покорению территории Восточной Европы. Для СССР война еще продолжается; мир не подписан, да он и не должен быть подписан. Сталин явно выступил в качестве преемника Гитлера не только в сфере фактического господства Германии, но и ее притязаний. Для правящего слоя в России дело идет о господстве над миром путем завоевания и революции.

Америка не мечтает о мировом господстве. Она думает больше об организации своей безопасности, но поняла уже, что мир стал слишком тесен для безопасности одиноких. Она уже преодолела свой врожденный изоляционизм и пытается организовать мировой хаос. Пока еще только долларом и хлебом, неадекватными пулеметами и пушкам ее вездесущего противника. Но военный потенциал Америки огромен. В случае военного столкновения ее победа несомненна: по крайней мере при настоящем соотношении вооружений и сил. Ее беда в том, что она не умеет реализовать свой военный потенциал в обстановке мира главным образом благодаря "викторианской" отсталости своего политического мышления.

Но Америке не чужда мысль о мировом единстве. Она пыталась воплотить ее в бескровном призраке ООН, этом ухушенном издании Лиги Наций. По-видимому, она сейчас уже не верит в нее. В мире, разделенном пополам непримиримыми противоречиями, не может быть никаких Объединенных Наций. Но как ни компрометирует это жалкое учреждение великую идею единства, она сейчас жива как никогда. Жива, несмотря на разлив национальных страстей, несмотря на подготовку третьей войны. Ведь эта война готовится не для защиты национальных, ограниченных интересов, но во имя организации мира. Сталин, подобно Гитлеру, мыслит эту организацию как порабощение и подчинение мира своей социальной системе и единой воле господина; Америка и Англия — как союз юридически равных, как федерацию демократических народов.

До сих пор идея мирового государства не защищается правящими кругами англосаксонских союзников. Они вынуждены считаться с самолюбиями средних и малых народов, с узким национализмом своих собственных стран. Потеря национального су-

веренитета пугает. XIX век держит в плену их сознание. Но уже Черчилль имеет смелость говорить о Соединенных Штатах Европы. Но уже Маршалл требует единой экономической организации Европы как условия американской помощи для хозяйственной реконструкции. И в перспективе атомного оружия Америка вместе со всеми демократиями Запада настаивает на частичном ограничении суверенитета. Однако это частичное ограничение означает отказ от права войны и от свободы вооружений. При современной атомной технике оно, в сущности, означает всеобщее разоружение и создание мировой армии. Лишенное права войны и мира, государство перестает существовать как суверенное. Оно вынуждено отказаться и от внешней политики, которая станет внутренней политикой рождающегося сверхнационального государства.

При неизбежном сопротивлении России этот план является совершенно утопическим. Но попробуйте мысленно устранить Россию, и он завтра же станет реальностью. Мысленное устранение, конечно, не может реализовать. Но мы видели, что почти стихийный ход событий (включающий и сознательную волю правителей России) ведет к войне, которая может реально устранить либо Россию, либо Америку со всеми оставшимися демократиями мира.

Все вероятности говорят в пользу того, что новое мировое государство, или новая универсальная империя, родятся, как и все бывшие империи, в результате войны, а не мира. Теоретически мыслимо, конечно, образование федерации народов в результате совершенно свободного соглашения равных. Хотя мир никогда не знал такого опыта, но новое, небывалое — как, например, фашизм, или коммунистическая революция — рождается на наших глазах. Однако совершенно свободный отказ от суверенитета предполагает слишком высокий уро-

вень политической морали. Об этом позволительно было мечтать в девятнадцатом или начале двадцатого века, когда старая Европа стояла в апогее своей политической цивилизации. Женевская Лига Наций давала ей последний шанс. С тех пор, в результате двух страшных войн, политическая мораль европейских народов пала так низко, как, может быть, никогда за время всей христианской истории. Политическая фразеология находится в кричащем противоречии с политическими реальностями. Для всех практических соображений можно принять, что сейчас народы мира движутся близоруким эгоизмом, ненавистью и, всего больше, страхом. Это значит, что они готовы принять единство, только продиктованное силой, только в форме империи.

Сила еще не значит завоевание, империя еще не значит господство. Сейчас история предлагает народам мира два варианта империи, из которых один является действительно небывалым, хотя и вполне возможным. Эти два варианта соответствуют двум возможным победителям, на долю которых выпадет организовать мир.

Легко себе представить, как будет выглядеть мир в случае победы России. Распространение коммунистической системы по всему земному шару. Истребление высших классов и всех носителей культуры, дышавших воздухом свободы и не желающих от него отказаться. Массовые казни в первые годы, каторжные лагеря на целое поколение. Закрепощение всех профессий на службу всемирному государству. Управление им, централизованное в Москве, при фиктивной независимости федеративных наций.

Постепенное (а может быть, и быстрее) заглушение всех высших сфер культуры за счет технического знания. До сих пор краски этой картины взяты из действительного опыта России и Восточной Европы. Идя дальше, можно представить себе, что в обстановке

мира и технической цивилизации материальные потребности покоренных народов будут удовлетворены, чего никогда не было достигнуто в СССР. Парии Азии и негры Африки впервые наедятся риса досыта. Вероятно, они будут благословлять свою судьбу. Мировая империя Москвы будет прочна, как древние тоталитарные империи — Египта, Китая, Византии. Конечно, удушение свободы поведет к постепенному падению не только духовной культуры, но, в конце концов, и самого технического знания. Конец "прогресса". Медленное понижение уровней. Одряхление, которое может тянуться века, чтобы закончиться новым варварством. В этом прогнозе не предусмотрено одно: способность человеческого духа к творческим взрывам вроде рождения новых религий или реформации старых, которые могут разрушить или преобразовать самые твердые, неподвижные цивилизации.

Менее ясен, но более светел другой вариант империи: Pax Atlantica, или лучше Pax Americana. В случае победы Америки, Англии и их союзников единство мира должно отлиться в форме действительной, а не мнимой федерации. Такова сама структура и Соединенных Штатов, и британского Commonwealth. В настоящее время англосаксы и не представляют себе власти, организованной вне самоуправления. Даже молодой империализм Америки, при всей жадности к стратегическим базам, начинает с освобождения своих старых колоний. Опасность Атлантического варианта империи не в злоупотреблении властью, а скорее в бездействии власти. У свободных народов нет вкуса к насилию, и это прекрасно. Но в настоящее время у них нет и вкуса к власти, и это опасно.

В отличие от России, Америка не может не считаться со своими союзниками, из которых Англия, или ведомая ею Федерация доминионов, представляет еще серьезную силу. Самолюбия

и эгоизмы европейских народов тоже создают немалые препятствия. Они безропотно покорятся самой гнусной из тираний, но будут роптать при легких ограничениях их суверенитета. Заставить их войти в мировую империю, организованную в форме федерации, нелегко. Нужна большая воля и большая гибкость, чтобы добиться повиновения слабых в рамках демократической законности. Юная федерация не может быть федерацией равных по существу, но лишь по форме. Лишь время и общее разоружение сделают излишней гегемонию сильного и возможным уравнивание политического влияния. Если сильный откажется от своей тяжелой ответственности, мир снова развалится, и уже безнадежно.

Но опыт двух войн показал, что англосаксонские демократии, часто пассивные во время мира, находят в себе волю и способность к героическому напряжению в роковой час. Чувство ответственности может заменить для них вкус к власти.

Итак, нет основания бояться порабощения народов в случае победы Америки. Экономические интересы, конечно, потребуют своего удовлетворения. Надо признать, что спасение мира стоит известных материальных жертв в пользу победителя. Да и распространенные в Европе опасения американской эксплуатации страшно преувеличены. Пока что Америка бросает миллиарды для восстановления Европы и не видно, чтобы она получила что-либо взамен.

Атлантическая империя столь же мало предполагает единство экономической системы, как и единобразие политическое. Социализм и капитализм в разных дозах могут уживаться в общих экономических рамках. Пример социалистической Англии показывает, что в наши дни не экономика соединяет народы или разводит их по разным лагерям. Общие основы англосаксонской цивилизации не изменились с

отказом Англии от капиталистической системы. Но, конечно, необходимость регулирования мирового хозяйства в единой империи чрезвычайно усилит сама по себе социалистические тенденции отдельных стран.

Здесь кончается возможность предвидения. В отличие от четких очертаний коммунистической империи, общество, построенное на свободе, таит в себе неограниченные возможности. Где свобода, там и возможность конфликтов. Где борьба, там и возможность поражений. Но также и необычайных побед. Мы знаем, что западная цивилизация тяжело больна; международные столкновения лишь один из симптомов общего недуга. И по устранении их остается возможность социальных потрясений, моральных кризисов, духовных бурь. В конце концов вопрос о спасении нашей культуры есть вопрос духа. Но если будет устранена угроза войны между народами, если будет достигнуто всеобщее разоружение, человечество получит еще одну отсрочку — как древняя Ниневия в книге пророка Ионы.

Одной из главных проблем грядущей империи будет установление отношений между членами западной семьи и возрождающимися народами "Востока". Но это тема будущего. Сейчас Восток еще слишком слаб технически, чтобы не включиться, охотно и с выигрышем для себя, в новую федеративную империю. Как удержать его в ней, по достижении им технического совершеннолетия, это проблема наших детей и внуков, которая, конечно, займет когда-то главное поле истории.

Ceterum censeo: нельзя забывать о третьей возможности — возможности не победы одной из двух империй, а всеобщего разрушения и гибели, если столкновение произойдет в условиях приблизительного равенства сил и оружия.

\*\*\*

Остановимся на одном из возможных исходов. Какая судьба ожидает Россию в случае ее поражения? Если бы Россия была национальным государством, как Франция или современная Германия, ответ был бы сравнительно прост и не столь для нее трагичен. Да, она, конечно, прошла бы через ужасы разорения, унижения, голода, через которые сейчас проходит Германия, с той только разницей, что в отличие от Германии ей не привыкать стать к голоду и рабству. Для большинства ее населения падение ненавистной власти, даже ценой временной иностранной оккупации, явится освобождением. Ведь американцы не собираются колонизовать Россию, как Гитлер, или истреблять ее "нижние" расы. Но дело осложняется тем, что Россия не национальное государство, а многонациональная империя; последняя, единственная в мире, остающаяся после ликвидации всех империй. Было бы чудом, если бы она вышла невредимой из ожидающей ее катастрофы в тех географических очертаниях, в которых ее застала революция.

Правда, Россия является империей своеобразной. По своей национальной и географической структуре она занимает среднее место между Великобританией и Австро-Венгрией. Ее нерусские владения не отделены от нее морями. Они составляют прямое продолжение ее материкового тела, а массив русского населения не отделен резкой чертой от инородческих окраин. Но Дальний Восток или Туркестан по своему экономическому и даже политическому значению совершенно соответствуют колониям западных государств. Типологическое, т.е. качественное сходство с Австро-Венгрией еще значительнее. Однако процент господствующего великорусского населения в империи Романовых был гораздо выше немецкого в импе-

рии Габсбургов. Это сообщало России несравненно большую устойчивость. Сходство будет полнее, если вместо Австро-Венгрии последних десятилетий взять Германскую империю до 1805 года. Русские и немцы играли одну и ту же цивилизаторскую и ассимиляционную роль. Правда, среди подданных Германии были страны древних и богатых культур. Вместо одной Русской Польши Германия имела три: Польшу, Венгрию и Богемию. Однако с подъемом культуры народностей России и соответствующим ростом их сепаратизмов Россия приближалась к типу Австро-Германии.

Но мы не хотели видеть сложной многоплеменности России. Для большинства из нас перековка России в СССР, номинальную федерацию народов, казалась опасным маскарадом, за которым скрывалась все та же русская Россия или даже святая Русь.

Как объяснить нашу иллюзию? Почему русская интеллигенция в XIX веке забыла, что она живет не в Руси, а в империи? В зените своей экспансии и славы, в век "екатерининских орлов", Россия создала свою многоплеменность и гордилась ею. Державин пел "царевну киргиз-кайсацкие орды", а Пушкин, последний певец империи, предсказывал, что имя его назовет "и ныне дикой тунгуз и друг степей калмык". Кому из поэтов послепушкинской поры пришло бы в голову вспоминать о тунгузах и калмыках? А державинская лесть казалась просто непонятной — искусственной и фальшивой. Но творцы и поэты империи помнили о ее миссии: нести просвещение всем ее народам — универсальное просвещение, сияющее с Запада, хотя и в лучах русского слова.

После Пушкина, рассорившись с царями, русская интеллигенция потеряла вкус к имперским проблемам, к национальным и международным проблемам вообще. Темы политического освобождения и социальной справедливости завладели ею всецело, до

умоисступления. С точки зрения гуманитарной и либеральной, осуждалась империя, все империи, как насилие над народами, но результаты этого насилия принимались как непререкаемые. Более того, девятнадцатый век для большинства интеллигенции означал сужение национального сознания до пределов Великороссии. Россия была необъятно велика, и мало кто из русских образованных людей извездил ее из конца в конец; непоседливых манила сказка Запада. Но и путешествуя по России, русский не выходил из своего привычного уклада: обаялся везде по-русски, видел везде одну и ту же русскую администрацию и туземцев, побогаче и познатнее, уже входящих в быт, язык и культуру завоевателей. Интеллигенция возмущалась насильственной русификацией или крещением инородцев, но это возмущение относилось к методам, а не к целям. Ассимиляция принималась как неизбежное следствие цивилизации. Еще полвека или век, и вся Россия будет читать Пушкина по-русски (так поминался "Памятник"), и все этнографические пережитки сделаются достоянием музеев и специальных журналов.

Есть еще одна неожиданная сторона русского западничества. Россией вообще интересовались мало, ее имперской историей еще меньше. Так и случилось, что почти все нужные исследования в области национальных и имперских проблем оказались предоставленными историкам националистического направления. Те, конечно, строили тенденциозную схему русской истории, смягчавшую все темные стороны исторической государственности. Эта схема вошла в официальные учебники, презираемые, но поневоле затверженные и не встречавшие коррективы. В курсе Ключевского нельзя было найти истории создания и роста империи.

Так укоренилось в умах не только либеральной, но отчасти и революционной интеллигенции наивное пред-

ставление о том, что русское государство, в отличие от всех государств Запада, строилось не насильем, а мирной экспансией, не завоеванием, а колонизацией. Подобное убеждение свойственно националистам всех народов. Французы с гордостью указывают на то, что генерал Федерб с ротой солдат подарил Франции Западную Африку, а Лиотэ был не столько завоевателем Марокко, сколько великим строителем и организатором. И это правда, то есть одна половина правды. Другая половина, слишком легко бросающаяся в глаза иностранцам, недоступна для националистической дальновзоркости.

Несомненно, что параллельный немецкому русский *Drang nach Osten* оставил меньше кровавых следов на страницах истории. Это зависело от редкой населенности и более низкого культурного уровня восточных финнов и сибирских инородцев сравнительно с западными славянами. И однако — как упорно и жестоко боролись хотя бы вогулы в XV веке с русскими "колонизаторами", а после них казанские инородцы и башкиры. Их восстания мы видим при каждом потрясении русской государственности — в Смутное время, при Петре, при Пугачеве. Но с ними исторические споры покончены. Несмотря на искусственное воскресение восточно-финских народностей, ни Марийская, ни Мордовская республики не угрожают целостности России. Уже с татарами дело сложнее. А что сказать о последних завоеваниях империи, которые несомненно куплены обильной кровью: Кавказе, Туркестане?

Мы любим Кавказ, но смотрим на его покорение сквозь романтические поэмы Пушкина и Лермонтова. Но даже Пушкин оборонил жестокое слово о Цицианове, который "губил, ничтожил племена". Мы заучили с детства о мирном присоединении Грузии, но мало кто знает, каким вероломством и каким унижением для Грузии Россия от-

платила за ее добровольное присоединение. Мало кто знает и то, что после сдачи Шамиля два полумиллиона черкесов эмигрировало в Турцию. Это все дела недавних дней. Кавказ никогда не был замирен окончательно. То же следует помнить и о Туркестане. Покоренный с чрезвычайной жестокостью, он восставал в годы первой войны, восставал и при большевиках. До революции русское культурное влияние вообще было слабо в Средней Азии. После революции оно было такого рода, что могло сделать русское имя ненавистным.

Наконец, Польша, эта незаживающая (и поныне) рана в теле России. В конце концов вся русская интеллигенция — в том числе и националистическая — примирилась с отделением Польши. Но она никогда не сознавала ни всей глубины исторического греха, совершаемого — целое столетие — над душой польского народа, — ни естественности того возмущения, с которым Запад смотрел на русское владычество в Польше. Именно Польше Российская империя обязана своей славой "тюрьмы народов".

Была ли эта репутация заслуженной? В такой же мере, как и другими европейскими империями. Ценой эксплуатации и угнетения они несли в дикий или варварский мир семена высшей культуры. Издеваться над этим смеет только тот, кто исключает сам себя из наследия эллинистического мира. Для России вопрос осложняется культурным различием ее западных и восточных окраин. Вдоль западной границы русская администрация имела дело с более цивилизованными народностями, чем господствующая нация. Оттого, при всей мягкости ее режима в Финляндии и Прибалтике, он ощущался как гнет. Русским культуртрегерам здесь нечего было делать. Для Польши Россия была действительно тюрьмой, для евреев гетто. Эти два народа империя придавила всей своей тяжестью. Но на Востоке, при всей

грубости русского управления, культурная миссия России бесспорна. Угнетаемые и разоряемые сибирские инородцы, поскольку они выживали, — а они выживали, — вливались в русскую народность, отчасти в русскую интеллигенцию. В странах ислама, привыкших к деспотизму местных эмиров и ханов, русские самодуры и взяточники были не страшны. В России никого не сажали на кол, как сажали в Хиве и Бухаре. В самих приемах русской власти, в ее патриархальном деспотизме, было нечто родственное государственной школе Востока, но смягченное, гуманизированное. И у русских не было того высокомерного сознания высшей расы, которое губило плоды просвещенной и гуманной английской администрации в Индии. Русские не только легко общались, но и сливались кровью со своими подданными, открывая их аристократии доступ к военной и административной карьере. Так плюсы и минусы чередуются в пестрой картине. Общий баланс, вероятно, положительный, как и прочих империй Европы. И если бы мир мог еще существовать как равновесие империй, то среди них почетное место занимала бы империя Российская. Но в мире уже нет места старым империям.

Национально-романтическое движение докатилось до пределов России с некоторым запозданием. Не сразу оно приняло и политический характер. Быть может, это соответствовало и слабости романтического национализма (славянофильства) в самой Великобритании. Тяготение к западной культуре (через посредство России) долго перевешивало в меньшинственных интеллигенциях их этнографическую связь со своими народами. Но неизбежное наступило. Одним из первых Рунеберг, создатель Калевалы, положил начало финской литературе, создавая новую нацию из того, что было лишь этнографической народностью. Во второй половине столетия возрож-

даются или просто рождаются на свет эстонская и латышская литературы — будущие нации, творимые поэтами. Тогда же происходит новый расцвет древних литератур Кавказа — грузинской и армянской. Одной из первых, в начале девятнадцатого века, романтическое веяние коснулось и оживило литературу украинскую. Уже к середине века, в Кирилло-Мефодиевском братстве, украинское движение принимает политический характер.

Пробуждение Украины, а особенно сепаратистский характер украинофильства изумил русскую интеллигенцию и до конца остался ей непонятным. Прежде всего потому, что мы любили Украину, ее землю, ее народ, ее песни, считали все это своим, родным. Но еще и потому, что мы преступно мало интересовались прошлым Украины за три-четыре столетия, которые создали ее народность и ее культуру, отличную от Великороссии. Мы вообще не различали, по схемам русских националистов, что малороссы, изнывая под польским гнетом, только и жаждали, что воссоединиться с Москвой. Но русские в польско-литовском государстве, отталкиваясь от католичества, не были чужаками. Они впитали в себя чрезвычайно много элементов польской культуры и государственности. Москва с ее восточным деспотизмом была им чужда. Когда религиозные мотивы склонили казачество к унии с Москвой, здесь ждали его горькие разочарования. Московское вероломство не забыто до сих пор. Ярче всего наше глубокое непонимание украинского прошлого сказывается в оценке Мазепы.

Новый этап в создании украинской нации падает на вторую половину девятнадцатого века. Бессмысленные преследования украинской литературы перенесли центр национального движения из Киева во Львов, в Галицию, которая никогда не была связана ни с Москвой, ни с Петербургом. Это имело двойные последствия. Во-пер-



вых, литературный язык вырабатывался на основе галицийского наречия, а не полтавского или киевского, то есть гораздо более далекого от великорусских говоров.

Польский, а не русский язык стал источником новых отвлеченных и научных словообразований. Русский мог без труда понимать Шевченко, но язык Грушевского был ему непонятен, казался искусственным. Как будто не все литературные языки были искусственными при своем создании — русский язык Ломоносова или латинский Энниа! Но мы по-прежнему упрямо продолжали считать малороссийский язык лишь областным наречием русского, хотя слависты всего мира, включая Российскую Академию наук, давно признали это наречие за самостоятельный язык. То, что этот язык из языка фольклорной поэзии сделался языком отвлеченной мысли, на котором уже существует большая научная литература, окончательно решает вопрос об украинской нации. Грушевский может быть назван ее создателем.

На наших глазах рождалась на свет новая нация, но мы закрывали на это глаза. Мы были как будто убеждены, что нации существуют извечно и неизменно, как виды природы для доэволюционного естествознания. Мы видели вздорность украинских мифов, которые творили для Киевской эпохи особую украинскую нацию, отличную от русской. Но мы забывали, что историческая мифология служила лишь для объяснения настоящей реальности. Нации не было, но она рождалась — рождалась веками, но в ускоряющемся темпе в наши дни. 1917 год был актом ее официального рождения.

То обстоятельство, что центр движения был в Галиции, обособляло и политически новую нацию от общей судьбы народов России; облегчало для нее переход от федеративной идеологии Костомарова и Драгоманова к идее "самостоятельности".

Было еще одно движение среди народов России, центр которого оказался за рубежом и которое мы совершенно проглядели. Это было пантюркское движение, связывавшее литературное и политическое пробуждение русских татар с возрождением Молодой Турции.

Русские националисты первые заметили опасность, угрожающую империи. Они ответили на нее усилением русификации, травлей инородцев, издевательством над украинцами и еврейскими погромами. Они старательно раздували искры сепаратизмов. Два последних императора, ученики и жертвы реакционного славянофильства, игнорируя имперский стиль России, рубили ее под самый корень. Революционная интеллигенция лишь накануне первой революции пошла навстречу национальным движениям меньшинств. Некоторые из левых партий (не большевики) включили в свою программу федеративный строй Российской республики. С этим и застал нас 1917 год.

Трудно возразить что-либо против идеи федерации. Это прекрасная, разумная программа. Для малых народов она обещает и свободу, и преимущества жизни в великом, веками сложившемся организме. Экономические блага имперской кооперации бесспорны, так же, как и преимущества военной защиты. Может быть, если бы федеративный строй России осуществился в 1905 году с победой освободительного движения, он продлил бы существование империи на несколько поколений. Но, к сожалению, народы, по крайней мере в наше время, — живут не разумом, а страстями. Они предпочитают резню и голод под собственными флагами.

Как страстно славяне ненавидели "лоскутную" Австро-Венгрию, и как многие теперь жалеют о ее гибели. Старая Австрия давно уже перестала быть габсбургской деспотией. С 60-х годов она претраивалась на федера-

тивный лад. Некоторые из ее народов — венгры, поляки — уже чувствовали себя хозяевами на своей земле, для других время полного самоуправления приближалось. Все вообще пользовались той долей политической свободы, какая была немислима в царской России. И однако они предали свое отечество в годину смертельной опасности.

В 1917 году демократическая интеллигенция, полгода управлявшая Россией, октроировала федеративное самоуправление некоторым из ее народов. Но в обстановке развала и падения военной мощи России федерация уже не удовлетворяла. А когда в Великороссии победил большевизм, от нее побежали как от чумы. Большевики силой оружия собрали империю и террором, как железным обручем, держат, вот уже почти три десятилетия, ее распадающийся состав.

Многим казалось, даже среди непримиримых врагов большевизма, что решение национальной проблемы в СССР принадлежит к самым удачным их достижениям. Оно сводится к двум принципам: полная культурная автономия и никакой политической.

Отсутствие политической свободы прикрывалось обильными побрякками национальному тщеславию. Даже имя России было уничтожено. Одиннадцать республик СССР жили "под своими собственными флагами": по конституции они имели даже право на отделение. В первые годы Революции национальные силы всех народов, кроме великорусского, не только освобожденные, но и получившие государственную поддержку, привели к расцвету национальных культур. Значительная часть интеллигенции нашла удовлетворение в культурном народничестве. Конечно, вся власть принадлежала коммунистической партии, а партия управлялась из Москвы.

Этот расцвет продолжался недолго. Большевизм был системой не только политической, но прежде всего

идеологической. Национальный романтизм, неизбежно принимавший идеалистическую окраску, был ему ненавистен. На десятках языков Союза должны были печататься и читаться только полные собрания сочинений Маркса и Ленина. Это было достигнуто, с прибавлением од Сталину. Для этого понадобилось задушить национальные литературы (особенно украинскую и тюркскую) с истреблением значительной части их интеллигенции. С тех пор национальные движения были загнаны в подполье. Но это значит, что опять, как в царские времена, на окраинах скопляются центробежные силы, готовые взорвать мнимо-федеративную империю. И чем более они сдавлены прессом НКВД, тем эффективнее должен быть их взрыв после освобождения.

Большевицкий режим ненавистен и огромному большинству великороссов. Но общая ненависть не сплавляет воедино народов России. Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей. Великоросс не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны в равной мере за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но хотя и верно, что большевицкая партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление. Вероятно, было нечто в традициях Великороссии, что питало большевизм в большей мере, чем остальная почва империи: крепостное право, деревенская община, самодержавие. Украинец или грузин готовы преувеличивать национально-русские черты большевизма и обелять себя от всякого сообщничества. Но их иллюзии естественны.

Железный занавес тоталитарной лжи мешает нам видеть ясно, что происходит за пределами общеизвестного застенка. Но есть три факта, которые заставляют предполагать рост сепаратизмов в СССР. Во-первых, по свидетельству беглецов, "националы" составляют заметный процент населения концлагерей. Их присутствие там не уравнивается представительством политических течений или партий Великобритании, ибо таковых не существует. В бесформенной оппозиционной массе, смешанной с уголовными, выделяются, хотя бы с ярлыками шпионов, только представители малых народов России.

Во-вторых, после второй войны правительство уничтожило пять республик (или областей) за сотрудничество с немцами. Республики не велики, но показательны; до других ведь и не дотянулась германская оккупация. Украйны уничтожить было нельзя без всеобщего позора, но, кажется, и она заслуживала той же участи. Мы знаем об украинских воинских частях, сражавшихся вместе с немцами, об украинской церкви, об эмбрионе украинского правительства. Пораженчество, конечно, захватило и Великобританию, но на Украине оно сказалось много яче.

И, наконец, мы видим то, что происходит в эмиграции, среди нас. Можно утверждать, что зарубежные настроения не вполне соответствуют в утросоветским: преувеличения революционеров неизбежны. Но не надо думать, что они совершенно оторваны от советской действительности; по крайней мере, для нас, великороссов, война и новая эмиграция принесли скорее подтверждение наших оценок. И вот, среди всех групп русской эмиграции представились другие национальностей России блистают своим отсутствием. Они строят свои собственные организации, даже не пытаются установить какие-либо связи с русскими товарищами по борьбе или обратиться

ми по судьбе. Более того, ни с чьей стороны мы не встречаем такой ненависти, как со стороны украинцев, которых мы-то считали — ошибочно — совсем своими. Как далеки мы от времен старой эмиграции, когда, в чаянии грядущей революции, вожди всех народов России объединялись в борьбу "за нашу и вашу свободу"!

Нетрудно предвидеть, что в случае военного поражения России произойдет не только падение советского режима, но и восстание ее народов против Москвы. Даже те экономические и политические мотивы, которые могли бы говорить в пользу их связи с Великобританией, превращаются в свою противоположность в условиях поражения. Быть с Россией значит разделить ее ответственность, ее тяжкую судьбу. С другой стороны, перед победителем встанет вопрос, подобный тому, который стоит после поражения Германии. Как обеспечить мир и в будущем отвисшей над ним угрозы русской агрессии? Большевизм умрет, как умер национал-социализм. Но кто знает, какие новые формы примет русский фашизм или национализм для новой русской экспансии? Если бы не было никаких сепаратизмов в России их создали бы искусственно; раздел России все равно был бы предрешен. Фактическое положение сделает возможным произвести его в согласии с волей большинства ее народов, в условиях демократической справедливости. На плечи победителей, ко всем их мировым проблемам, ляжет добавочная тяжесть: организация хаоса на территории Восточной Европы. Мировая империя — не легкое предприятие. Но военная оккупация обещает первые шаги.

Перспективы войны и поражения России способны потрясти не одних националистов, но всякого русского, не совсем потерявшего связь со своим народом и его культурой. Теоретически, есть еще шанс — кажется, единственный шанс — предотвраще-

ния новой войны: это падение большевистской власти в России. От скольких ужасов оно избавило бы мир! Не будем говорить сейчас, возможно ли оно, — нам представляется, что шансы его ничтожны. Но в судьбе России, как обреченной империи, этот вариант ничего не меняет. Снятие страшной тяжести, висевшей над народами России тридцать лет, означает взрыв всех подспудных, революционных и центробежных сил. Пока русский народ будет сводить счеты со своими палачами, в общем неизбежном хаосе большинство национальностей, как в 1917 году, потребуют реализации своего конституционного права на отделение. Вероятно, произойдет гражданская война приблизительно равных половин бывшей России. Если даже победит Великобритания и силой удержит при себе народы империи, ее торжество может быть только временным. В современном мире нет места Австро-Венгрии. Если миром будет править единая власть — единственный шанс его спасения — она будет обязана прекратить всякое насилие одних народов над другими. Ликвидация последней частной империи станет вопросом международного права и справедливости.

Для самой России насильственное продолжение имперского бытия означало бы потерю надежды на ее собственную свободу. Не может государство, существующее террором на половине своей территории, обеспечить свободу для другой. Как при московских царях самодержавие было ценой, уплаченной за экспансию, так фашизм является единственным строем, способным продлить существование каторжной империи. Конечно, ценой дальнейшего удушения ее культуры.

\*\*\*

Finis Russiae? Конец России или новая страница ее истории? Разумеет-

ся, последнее. Россия не умрет, пока жив русский народ, пока он живет на своей земле, говорит своим языком. Великобритания, да еще с придачей Белоруссии (вероятно) и Сибири (еще надолго) все еще представляет огромное тело, с огромным населением, все еще самый крупный из европейских народов. Россия потеряет донецкий уголь, бакинскую нефть — но Франция, Германия и столько народов никогда нефти не имели. Она обеднеет, но только потенциально, потому что та нищета, в которой она живет при коммунистической системе, уйдет в прошлое. Ее военный потенциал сократится, но он потеряет свой смысл при общем разоружении. Если же разоружения не произойдет, то погибнет не одна Россия, а все культурное человечество. Даже чувство сожаления от утраты былого могущества будет смягчено тем, что никто из бывших соперников в старой Европе не займет ее места. Все старые империи исчезнут.

В конце концов имперское сознание питалось не столько интересами государства — тем менее народа — сколько похотью власти: пафосом неравенства, радостью унижения, насилия над слабыми. Этот языческий комплекс для России девятнадцатого века означал кричащее противоречие между политикой государства и заветами ее духовных вождей. Русская литература была совестью мира, а государство пугалом для свободы народов. Потеря империи есть нравственное очищение, освобождение русской культуры от страшного бремени, искажающего ее духовный облик.

Освобожденная от военных и полицейских забот, Россия может вернуться к своим внутренним проблемам — к построению выстраданной страшными муками свободной социальной демократии. Но после тридцатилетия коммунизма русский человек огрубел, очерствел, — говоря словами народного стиха, покрылся "еловой

корой". Вероятно, не одно поколение понадобится для его перевоспитания, т.е. для его возвращения в заглохшую традицию русской культуры, а через нее и русского христианства. К этой

великой задаче должна уже сейчас, в изгнании, готовиться русская интеллигенция, вместо погони за призрачными орлами империи.

**Михаил АГУРСКИЙ**

## СОВЕТЫ: ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕЛКИ

Загадочная история советских дезинформаций и подделок еще ждет своей очереди быть выявленной на свет. Не может быть никаких сомнений, что эта чисто советская методика обманов возникла не на пустом месте, не из вакуума: секретная полиция царской России, по крайней мере некоторые отделы ее, успешно использовали и дезинформацию и подделки. Один из лучших образцов — знаменитые "Протоколы сионских мудрецов", незаурядный успех русской полиции, влияние которого ощущается по сей день. Как бы советская тайная полиция ни относилась к своим предшественникам времен царизма в других областях деятельности, дезинформации и подделки были характерны для нее с первых же дней существования.

Самой известной из удачных ранних попыток такого рода был "трест", вымышленная монархическая организация 1920-х годов, которая заставила широкие эмигрантские круги поверить в существование всемогущей тайной сети, проникшей якобы по все поры государственного организма Советской России, включая и ГПУ. Эмигранты верили, что "Трест" только и ждет возможности захватить в СССР политическую власть — мирным путем, без кровопролития.

На деле "Трест" был организован руководством ГПУ, которое использовало с этой целью некоторых бывших чиновников царского правительства, что и позволило завлечь в ловушку ряд видных представителей русского зарубежья. Первоначально основной задачей "Треста" была борьба против террористической активности белой эмиграции. Но по мере того, как эта фальшивая организация динамично развивалась, руководство ГПУ, не исключено, что с одобрения Сталина, получило возможность внедрять в эмигрантскую среду альтернативную идеологию. Иными словами, эта фальшивка играла двойную роль и позже послужила моделью для различных дезинформационных операций советской тайной полиции.

В 1926 году "Трест" убедил одного из самых выдающихся лидеров белой эмиграции Василия Шульгина тайно, с фальшивым паспортом посетить СССР. Шульгин совершил путешествие по стране и вернулся к себе домой в Югославию. Во время визита работники ГПУ, о роли которых он, конечно, не догадываясь, убеждали его написать книгу о "тайной организации", которая созрела в недрах советской системы и только ждет подходящего момента, чтобы мирным пу-

тем захватить власть в стране. Шульгину был свойствен ярый антисемитизм: он предлагал удалить всех евреев из советской политической системы. Он обратился с воззванием к белоземigrантам — не вести борьбу против СССР, а тайно поддерживать новую, многообещающую линию.

Можно предположить, что единственной целью "Треста", в который, кстати, Шульгин истово верил, была нейтрализация белой эмиграции. Тем не менее книга его разошлась не только за рубежом, но и — через систему партийных библиотек — внутри страны. Почти вся советская элита получила возможность прочитать ее, хотя мало кто знал подоплеку "секретного" визита Шульгина в СССР. Только годом позже, в 1927 году, советская тайная полиция сама разоблачила эту тайну, объявив "Трест" фальшивкой. Причиной такого неожиданного вольта могли стать протесты некоторых советских политических лидеров против антисемитской провокации. Однако идеи, высказанные Шульгиным, не пропали втуне — они легли в основу сталинского антисемитизма, начало которому было положено стараниями ГПУ еще в 20-х годах.

В 1929 — 1930 гг. ГПУ успешно практиковало новый вид обмана: ложных перебежчиков. На первых порах такие "перебежчики" яростно критиковали советскую систему, но, в сущности, их критика не приносила СССР никакого вреда, ибо была лишь каплей в море враждебности, которую весь мир питал к Стране Советов. С самого начала "перебежчики" выдали обильную дезинформацию о советской политической системе, особенно в искаженном свете представив Сталина как безжалостного, но честного и благородного руководителя, который пришел к власти с одной-единственной целью — возвеличить Россию. Сталинская жестокость и безжалостность изображались в виде традиционного для России образа правления, при помощи которого, мол, только и можно было править этой дикой страной, а он — человеком, который несет груз смертельной борьбы с близорукими фанатиками, только и мечтающими о мировой революции, пока он думает о России и единственно о ней.

Позже этот образ обрел черты достаточно мягкого и вполне прозападного советского лидера, даже заложника Политбюро. И действительно, Чарльз Болен, американский дипломат, который служил в Москве в 1930-х годах, а с 1953 года был американским послом в Москве, признал, что при подготовке к Потсдамской конференции (1945г.) он сам рекомендовал американскому правительству во время переговоров как можно ближе придерживаться позиции Москвы, чтобы не повторить "ошибки" Тегеранской встречи 1943 года. Болен полагал, что, поскольку Сталин в Тегеране был слишком отдален от Москвы и не мог повседневно консультироваться с членами Политбюро, большинство подписанных им взаимоприемлемых соглашений было позже торпедировано экстремистскими сторонниками твердой линии в советском руководстве, а близость Потсдама к Москве позволит избежать повторения печального тегеранского опыта.

Уолтер Беддел Смит, американский посол в СССР в 1946 — 1949 гг., также не

---

*Михаил АГУРСКИЙ — доктор наук, специалист в области славистики и кибернетики. В 1975 г. эмигрировал в Израиль. Постоянно выступает с политическими анализами в израильских средствах массовой информации, читает лекции в Еврейском университете в Иерусалиме. Среди публикаций: "Из-под глыб" (вместе с Александром Солженицыным и другими, 1975), "Советский Голем" (на русском языке, 1982), "Горький; из литературного наследия" (с Маргаритой Шкловской, на русском языке, 1986). "Третий Рим: национал-большевизм в СССР" ("Вествью", 1987), "От Октябрьской революции до перестройки" (на иврите, 1988), а также главы в книгах "Многоликий коммунизм" (1984) и "Советский Союз и вызов будущего" (1989). Предлагаемая статья переведена с английского И.Полоцком.*

считал, что Сталин обладает в Кремле абсолютной властью, хотя в отличие от Блэнна и колебался в этом своем мнении. Президент Трумэн открыто воспринимал Сталина как наилучшего представителя Кремля, которого просто вводят в заблуждение его помощники. "Я часто чувствовал, — говорил Трумэн, — что Молотов скрывает от Сталина некоторые факты или придерживает их при себе, пока его не заставляют изложить их. С Молотовым всегда было труднее договориться, чем со Сталиным". В августе 1948 года Трумэн был убежден, что Сталин проявляет большую готовность к взаимопониманию, чем Вячеслав Молотов, в то время советский министр иностранных дел.

Американские дипломаты не могли понять, что этот сценарий, в котором "голубь" Сталин выступал против "ястреба" Молотова, был продуманно создан самим Сталиным, чтобы оправдать его позиции в переговорах. Молотов придерживался лишь одной линии, действуя в рамках, определенных ему самим Сталиным, и лишь Сталин мог их менять. Трудно утверждать, чего удалось достигнуть Сталину с помощью этого примитивного обмана, но что касается Потсдама, выгода была налицо. Потсдам был расположен на территории, занятой Красной Армией, полностью контролировался и прослушивался советской разведкой.

Корни этих неправильных представлений о Кремле тянутся из кампании дезинформации 1929 — 1930 гг., которую вели ложные перебежчики.

В начале октября 1929 года советский поверенный в делах в Париже 32-летний Григорий Зиновьевич Беседовский (бывший левый эсер, который позже стал видным советским дипломатом), предпринял драматическую попытку бегства из советского посольства в Париже: перемахнул через высокую стену, окружавшую посольство, и был таков. Сообщениями об этом бегстве были полны заголовки во всех средствах массовой информации, особенно в эмигрантской прессе.

Никто не сомневался тогда в подлинности бегства Беседовского, но сегодня, оглядываясь назад, видишь, что его версия выглядела совершенно невероятной и служила лишь "легендой". Беседовский утверждал, что получил из Москвы указание немедленно возвратиться на родину, но не подчинился ему. Конечно, он не был столь наивен, чтобы не понимать, во что ему обойдется такое непослушание. Тем не менее, он продолжал оставаться на рю де Гренель, пока в Париж не явился высокопоставленный сотрудник ГПУ Ройзенман и потребовал его отъезда на родину. Хотя Ройзенман и угрожал ему арестом, Беседовского он не задержал в посольстве и, по его словам, он мог свободно передвигаться по всему зданию. Никто даже не попытался изъять у него оружие. В то время советская политическая система еще не прибегала к похищениям, в котором ГПУ преуспело позже, похитив из того же Парижа генерала Кутепова, главу Русского Общевоинского Союза, символической русской эмигрантской армии.

Беседовский сообщил, что сделал попытку покинуть посольство через парадный ход, но был остановлен охраной, которая, тем не менее, ничего не предприняла, чтобы предотвратить его бегство. Он просто перемахнул через стену и попросил во Франции политического убежища.

В эту неуклюже состряпанную историю все, однако, поверили, и с того времени Беседовский прославился в западной масс-медиа как бывший член коммунистической партии, разочаровавшийся в ней и ставший борцом против бесчеловечной советской системы. Он опубликовал свои воспоминания, другие работы, напечатанные под псевдонимами, — вся эта продукция впоследствии была разоблачена как фальсификация и подделка. Его мемуары, казалось, полны неприкрытой враждебности к СССР, но современный читатель без труда определит грубую дезинформацию среди потоков яростных обвинений. Можно считать, что выражение враждебности к

СССР в различных операциях по дезинформации служило одной цели — тем или иным образом пустить пыль в глаза Западу.

Например, в своей первой книге Беседовский излагает искаженную историю Бориса Савинкова, известного лидера эсеров, который боролся с большевиками. Арестованный в 1925 году и приговоренный к десяти годам заключения, Савинков вскоре после суда совершил якобы самоубийство. По официальной версии, он выпрыгнул из окна Лубянской тюрьмы в Москве. Скорее всего, он был убит — тожен ГПУ, но Беседовский предлагает западным читателям ложную версию его смерти, чтобы скрыть убийство. По Беседовскому, Савинков жил в тюрьме, пользуясь многими свободами, едва ли не в роскоши. "В одно солнечное утро, — вспоминает" Беседовский, — Савинков вызвал из гаража ГПУ "роллс-ройс", которым сам управлял. На сумасшедшей скорости он помчался из Москвы по направлению к Ярославлю. Перекусив со своей охраной в придорожной столовой, он вернулся затем в Москву".

В соответствии с этой историей, Савинков, вернувшись в свою камеру, выпрыгнул из окна! (Если на Лубянке вообще оставляли открытыми окна!) Причина этой грубой фальсификации заключалась скорее всего в том, что в ней советская пенитенциарная система представляла как исключительно гуманная.

Но фальшивая история самоубийства Савинкова — еще самый невинный пример подделок в этой работе. Гораздо более далеко идущие цели преследует дезинформация об окружении Сталина, чей образ Беседовский начинает золотить сразу после побега. В первой же книге Беседовский пытается представить Сталина как сильного харизматического лидера, национального вождя. С одной стороны, утверждает, что те, кто пытается сопротивляться Сталину, "не принимают во внимание, что Сталин едва ли не политический оппортунист, который готов за одну ночь сменить все политические лозунги". С другой стороны, на той же самой странице, говорит, что противники Сталина также не учитывают "его сильную волю и мужество". Более того, заявляет, что "Сталин — политически честен, он не хочет быть Бонапартом, твердо идя к намеченной цели, он выражает собой прогресс".

Продолжая публикацию своих воспоминаний, Беседовский не только выступал в них как яркий антикоммунист, но и демонстративно отказался от советского гражданства и заочно был осужден. Двумя годами позже Беседовский опубликовал насквозь фальшивую биографию Сталина, которая, в сущности, служила его неприкрытому восхвалению. В этой "биографии" Беседовский начисто отвергает обвинения в адрес Сталина в том, что тот был политическим интриганом. Сталин, пишет он, распахнул перед людьми величественные горизонты, к которым всегда стремилось человечество. Окружение Сталина — вот воплощение зла. Беседовский особо подчеркивает, что Сталин придерживается русской национальной ориентации.

Подлинная биография Сталина была откровенно искажена автором, и в книге уже чувствовались черты, характерные для позднейших фальшивок Беседовского. Похоже, что эти грубые искажения объяснялись не невежеством Беседовского, не тем, что он не владел темой, а были сознательной частью замысла. Он начал с утверждения, что корни Сталина уходят глубоко в русскую историю: дальний его предок, мол, боролся на стороне Петра Первого против турок, а другой был кавалерийским офицером на Кавказе. Беседовский лез из кожи вон, доказывая, что Сталин являлся лидером большевиков еще до Октябрьской революции и, в сущности, имел в то время большее значение, чем сам Ленин. В соответствии с ложными утверждениями Беседовского, уже в 1901 году Москва воспринимала Сталина как "главную фигуру в революционном движении".



Беседовский выдумал историю о том, что Сталин был выдан полиции агентом-provokатором Иваном Окладским. Такая личность в самом деле существовала, но Окладский выдал народников в 1880 (!) году, а затем исчез с горизонта. В середине 1920-х годов, он, уже глубокий старик, был найден ГПУ и осужден судом за преступления 45-летней давности. Окладский не имел никакого отношения к большевикам или к Сталину. Тем не менее Беседовский сделал его самым зловещим супершпионом царского правительства, который предал и Ленина, и Сталина, и многих других революционеров.

В доказательство того, что перед революцией Сталин представлял собой вторую фигуру в партии после Ленина, Беседовский цитирует несуществующее письмо Ленину, датированное 16 июля 1916 года, в котором Сталин якобы сообщает, как успешно он справляется с порученными делами и анализирует обстановку в стране. Ленин, указывая Беседовский, лишь продолжил этот анализ, а также, веря каждому слову Сталина, публиковал его статьи, присылаемые из Сибири. Таких статей вообще не существовало, они никогда не были написаны (...). Ну и, соответственно, Сталин руководил большевистским восстанием в октябре 1917 года.

В стремлении приписать Сталину главенствующее значение в истории большевизма, Беседовский цитирует несуществующую статью Максима Горького, которую тот якобы опубликовал в газете "День". Статья, мол, начиналась с перечисления имен — Ленин, Троцкий, Сталин...

В то же самое время Беседовский всеми силами старался дискредитировать Троцкого, утверждая даже, что в октябре 1917 года Троцкий не был членом партии, — вовсе откровенная ложь.

Одной из самых важных тем этой книги была попытка представить Сталина как спасителя Европы от кошмара немецкой революции 1923 года. Как считает Беседовский, Сталин недвусмысленно отверг революцию. Из этого вытекало, что среди всех советских лидеров именно Сталин представляет для Запада наилучшую возможность. Беседовский пытается убедить западных читателей, что сталинское правление не должно подвергаться осуждению. Иными словами, доказать, что, пока Сталин у власти, Запад сможет противостоять советской экспансии.

В начале апреля 1930 года, через полгода после чудесного "бегства" Беседовского, в Стокгольме, практически при таких же обстоятельствах, произошло еще одно "чудо". Сергей Дмитриевский, бывший правый эсер, тесно связанный с ГПУ, подобно Беседовскому, стал видным советским дипломатом (он достиг поста генерального директора в Министерстве иностранных дел). Дмитриевский служил политическим советником — этот пост обычно заполнялся ГПУ — в советском посольстве в Стокгольме, откуда, как широко известно, он сбежал, попросив на Западе политическое убежище. История этого "бегства" доказывает, что оно было сфабриковано еще более грубо, чем похождения Беседовского.

Дмитриевский рассказывал: сидя у себя дома в Стокгольме он внезапно услышал по радио, что советское правительство сместило его с дипломатического поста; он поспешил в посольство, но был остановлен у входа тремя вооруженными людьми. Как ни странно, но эти трое всего лишь потребовали от него немедленного возвращения в Россию! По словам Дмитриевского, он оставил на своем письменном столе в посольстве рукопись, пронизанную инакомыслием, — "Ленин и Русская революция". В это, конечно, очень трудно поверить.

История эта была сфабрикована от начала и до конца. Ни один советский дипломат никогда не узнавал о своей отставке по радио; никто не вел бы себя

настолько глупо по отношению к потенциальному перебежчику, стараясь убедить его вернуться в Россию и в то же время запрещая ему доступ в посольство!

Дмитриевский действовал по тому же сценарию, что и Беседовский. Вскоре после "бегства" он опубликовал книгу, в которой утверждал, что русская революция главным образом была русской национальной революцией. Россия, оповещал он, ныне полностью охвачена антикоммунизмом, так же как и большинство партии. Иными словами, западным читателям сообщалось, что СССР ныне не представляет никакой опасности, ибо его ориентация носит сугубо национальный характер. Дмитриевский прославлял Сталина куда более старательно, чем Беседовский; он не переписывал его биографию, как это сделал Беседовский, но недвусмысленно заявил, что Сталин — величайший харизматический вождь России, а Троцкий всегда представлял собой инородное тело, он чужак и для современной России и для ее будущего. По Дмитриевскому, русские люди всегда были для Троцкого только пушечным мясом. Точно так же Дмитриевский прилагал большие усилия, чтобы дискредитировать Григория Зиновьева, Максима Литвинова и других евреев, занимавших видные посты.

Хотя критицизм Дмитриевского по отношению к советской системе носил очень резкий характер, он утверждал, что Сталин искренне заботится о благосостоянии русского народа, и старался представить Сталина как трагическую фигуру, которой Запад должен оказывать поддержку. Националистические мотивы, свойственные Дмитриевскому, только усилились в двух его последних книгах (1931 и 1932 гг.), проникнутых ярим антисемитизмом, весьма схожим с теми нотками антисемитского сценария ГПУ, которые отразились в книге Шульгина.

Дмитриевский был лишен советского гражданства, как и Беседовский.

Эта парочка близнецов вращалась в русских эмигрантских кругах, гневно понося СССР, с одной стороны, и восхваляя Сталина и доказывая, что нельзя допустить никакого военного вмешательства Запада в советские дела, — с другой.

В 1933 году Дмитриевский вступил в нацистскую партию и написал книгу о Гитлере, которая была опубликована в Швеции. Он попытался стать мостом между нацистской Германией и русской эмиграцией, но позже лидеры наци заподозрили его в том, что он советский шпион. И действительно, в 1940 году он тайно обратился к нацистской Германии с призывом отказаться от планов вторжения в СССР на том основании, что в России после Великих Чисток господствующие коммунистические убеждения сменились национал-социалистской идеологией.

Истории Беседовского и Дмитриевского могут показаться малозначительными, но это не так. Имеются убедительные доказательства того, что еще в 1930-х годах Беседовский начал заниматься фабрикацией и других фальшивок. Они имели двойную задачу — оказать влияние на Запад, представляя ему искаженную картину событий в СССР, и готовить почву для провокаций, преследующих необходимые Советам цели.

На свет плодились книги, под именами различных несуществующих личностей: "Имам Разуза", турок-телохранитель Сталина (!), офицер Генерального штаба Иван Крылов, племянник Сталина "Буду Сванидзе". Некоторые фальшивки приписывались реальным людям, например, М. Литвинову, а другие были подписаны западными журналистами, среди которых можно назвать Ива Дельбара. Большая часть таких фальшивок появилась в 1950 — 1952 годах. Рука Беседовского чувствуется почти в каждой из них. Например, он написал предисловие к книге Буды Сванидзе "Мой дядя Джо", дополненной фотографией "автора", с которым Беседовский, по его словам, был знаком лично. Ив Дельбар признал помощь Беседовского в работе над своей книгой.

Присутствие Беседовского чувствуется и в "Дневниках Литвинова". Предполагаемый автор дневника, заместитель министра иностранных дел, а впоследствии и сам министр, по какому-то странному совпадению упоминает только те страны, в которых разворачивалась деятельность Беседовского: Япония, Польша, Китай и Франция. США и Англия как-то остаются "вне интересов" Литвинова. Ну и кроме этого Беседовский играет центральную роль в "воспоминаниях Литвинова".

Все эти подделки единодушно изображали Сталина как жестокого, но выдающегося руководителя, честного и глубоко преданного интересам своей страны. Необходимо добавить, что эта кампания одурачивания общественности относительно облика Сталина была только частью общего замысла. Похоже, что фальшивки делались таким образом, что они могли служить и определенным внутренним целям. Так, сочинения "Крылова" легко могли быть использованы как оправдание широкомасштабных чисток, которые в 1951 — 1953 годах должны были быть проведены против остатков старой правящей элиты в СССР.

"Иван Крылов" в свое время был помощником военного атташе во Франции. Честный советский офицер противостоял коррумпированному Политбюро, которое было виновато во всех бедах Советского Союза и к тому же чинило препятствия честному и благородному Сталину. Центральной фигурой военной оппозиции был объявлен маршал Борис Шапошников, который был главой Генерального штаба в начале войны.

В подделке также оправдывалось уничтожение ленинградской партийной организации в 1948 — 1949 г.г. Всерьез утверждалось, что эта организация, которую до 1943 года возглавлял Андрей Жданов, в свое время, в 1941 году, предполагала сместить все Политбюро и не осмелилась лишь противостоять Сталину. Там же бросалась и тень на Жданова, который якобы втайне поддерживал идею поездки Сталина в 1943 году в Касабланку для встречи с Черчиллем и Рузвельтом, с надеждой там избавиться от него. Ясно, что такие намеки помогают понять не только опалу, в которую впал Жданов перед смертью, но и, возможно, саму его смерть.

Основная вина за военные неудачи 1941 года возлагалась на Лазаря Кагановича, Николая Вознесенского, Анастаса Микояна, Вячеслава Молотова, Лаврентия Берия и Алексея Кузнецова. Любопытно, что Вознесенский был назван членом Политбюро уже в 1941 года, хотя стал им значительно позже, — точно так же, как и Кузнецов, который фактически никогда не был членом Политбюро, а только секретарем ЦК партии. Автору фальшивки понадобились эти утверждения, чтобы оправдать чистку 1949 года. Сообщалось, что Ворошилов действовал рука об руку с Берия, надеясь стать наследником Сталина. Против него было выдвинуто обвинение в том, что он ответствен за отвод советской армии от границы в преддверии войны. Ворошилов, мол, состоял в широком заговоре и передал все бумаги Генерального штаба, подготовленные Шапошниковым, в Берлин — через Берия и его человека — советского посла в Германии Владимира Деканозова. Этим объяснялись успехи немцев в начале войны, и это было основанием для обвинения в государственной измене. Автор также утверждал, что Деканозов был евреем или наполовину евреем. Об этом имеет смысл упомянуть потому, что начиная с 1951 года Сталин планировал убрать Берия и вычистить его ведомство с помощью Никиты Хрущева и Георгия Маленкова.

Любопытно сравнить обвинения против Ворошилова, выдвинутые в этой подделке, с теми, которые, по воспоминаниям Хрущева, бросал ему лично сам Ста-

лин. Интересно также отметить, что Микоян назван тут английским шпионом. Немало информации можно почерпнуть при знакомстве не только с этими именами, но и с теми, кто назван в положительном контексте. Первым делом, конечно, сам Сталин, а затем его секретарь Александр Поскребышев; нет критических ноток в адрес Маленкова, Хрущева и Михаила Суслова. Это вполне совпадает с последовавшей затем раскладкой на политической карте.

В фальшивке "Крылова" много и других обвинений, а также целый ворох ложной информации. Например, приказ о депортации в конце войны с Кавказа и Крыма национальных меньшинств оправдывается тем, что там произошло (на самом деле ничего этого не было) восстание, в котором участвовало 8 000 000 (именно так!) калмыков, ингушей, чеченцев и татар. Утверждалось, что Сталин лично прибыл в Саратов в 1942 году, чтобы непосредственно руководить военными операциями по подавлению очень опасного бунта. Численность людей упомянутых выше национальностей была во много раз преувеличена — в явном стремлении драматизировать эту выдуманную историю.

Тут же становилось ясно, что Ленин не имел никакого отношения к подавлению восстания моряков Кронштадта в 1921 году; оно приписывалось только Льву Троцкому и Феликсу Дзержинскому, которые и утопили в крови большинство революционеров Балтийского флота. Такое искажение сведений прозрачно намекало на неиссякаемое желание Сталина еще раз переписать всю историю гражданской войны.

Интересным образом отношение к религии в СССР тоже нашло свое отражение в подделках. Сообщалось, что в 1940 году состоялся религиозный диспут (!) между московским архиепископом Николаем и представителем московской партийной организации на тему "Бог — это человек в коммунистическом обществе". Хорошо известно, что все религиозные диспуты были запрещены в середине 20х годов. Тем не менее мудрый Сталин лично приглашал архиепископа Николая на беседу.

Проблематичные "дневники" Литвинова вышли в свет в 1955 году, после смерти Сталина. Можно предположить, что фальшивка стала готовиться при жизни Сталина, но ее не успели завершить к моменту его кончины. "Дневники" сфальсифицированы таким образом, что они могут служить важным свидетельством для преследований участников так называемого еврейско-масонского заговора, который включал в себя многих евреев из руководящих кругов. На его страницах есть намеки, что преданность "Литвинова" еврейству была сильнее, чем его верность системе, и он был уязвим поэтому для тайного еврейско-сионистского давления. Например, в дневнике утверждалось, что в 1926 году некий Шехман (выдуманное лицо) просил "Литвинова" помочь организовать то, что можно было бы назвать лобби в защиту преследуемых сионистов. "Литвинов" отказался, но Шехман пошел на то, чтобы оказать на него давление и побудить действовать, после чего Литвинову пришлось провести напряженный и опасный разговор со Сталиным в попытке спасти этих сионистов — что, в свою очередь, дало "Литвинову" возможность спекулировать на еврейской проблеме:

"Шехман снова позвонил мне. Я сказал, что не в состоянии помочь ему. Он настаивал, что как еврей я не имею права отказывать в помощи, даже рискуя навлечь на себя очень неприятные последствия. Это был долгий и утомительный разговор...

Наконец я уступил ему и решил позвонить Кобе. Он пришел в ярость и сказал: "Думаю, что мы мало еще расстреляли этой сионистской сволочи. Нам придется издать указ о ссылке в Сибирь всех сионистов как классовых врагов". Коба также сказал, что он приказал Артузову составить полный список тех евреев в

СССР, которые "платят шекель" синагоге и что все эти люди будут немедленно высланы в Сибирь или получат "минус шесть". Я попытался объяснить ему, что такие меры заставят всех американских евреев немедленно же восстать против СССР. Он ответил, что они и так всегда были против нас, потому что мы коммунисты и атеисты. Он добавил: "Мы объясним, что эти сукины дети были высланы потому, что спекулировали иностранной валютой. Нет никакой необходимости подчеркивать, что к ним были применены репрессивные меры лишь потому, что они были сионистами. И если ты хочешь любой ценой избежать ссоры, вот ты и должен будешь все это объяснить американским евреям..."

Мне рассказывали, что Менжинский был ярким антисемитом. Бывая на вечеринках у Клина (Ворошилова), он часто травил пошлые антисемитские анекдоты, которые сочинял спившееся животное Демьян Бедный. Менжинский постоянно побуждал Кобу очистить Москву от евреев под тем предлогом, что они наводняют ее иностранной валютой. Коба тоже не любил евреев, но, по моему мнению, он понимал всю абсурдность таких антиеврейских мер. Лазарь Моисеевич (Каганович) как-то рассказал мне, что Коба долго объяснял ему всю трудность превращения в истинного коммуниста любого еврея, даже еврейского рабочего, потому что евреи, сказал он, пропитаны типичной мелкобуржуазной психологией и страстью к стяжательству, которую они пронесли через века. Кроме того, они пронизаны духом пантеизма, хотя питают отвращение к внешней религиозной символике...

Лазарь Моисеевич был сильно сконфужен, ибо в его партийном досье доказывалось его пролетарское происхождение. На самом же деле его отец владел сапожной мастерской в Гомеле, где у него было несколько наемных рабочих. Бедный Коба не обсуждал со мной эту тему. Я бы сказал ему, что думаю на этот счет. Более чем странно, что люди с врожденным мелкобуржуазным инстинктом смогли произвести на свет Карла Маркса...

Конечно, антисемитизм Кобы был следствием того, что большинство евреев в нашей партии поддерживало Троцкого и оппозицию. Но я хотел бы особо отметить, что у Кобы была и унаследованная враждебность по отношению к нам. Григорий Евсеевич (Зиновьев) как-то в шутку сказал, что мог бы объяснить этот феномен с марксистской точки зрения. В Гори было всего две сапожные лавки, одна из которых принадлежала отцу Кобы, а другая — какому-то еврею из Мцхеты, который поселился в Гори. Эта ситуация и заставила Кобу стать антисемитом... Конечно, объяснение это очень примитивно, но в нем есть зерно истины".

Хрущев в своих мемуарах утверждает, что Сталин планировал покушение на Литвинова, и с этой точки зрения для Сталина было бы вполне естественно ответить Литвинову главную роль в "еврейском заговоре", а "Дневниками" воспользоваться на процессе. Необходимо подчеркнуть, что "Литвинов" всегда говорит о евреях в целом. "Но я хотел бы особо отметить, что у Кобы была унаследованная враждебность по отношению к нам". В фальшивке оправдывается антисемитизм Сталина: "Антисемитизм Кобы был следствием того, что большинство евреев в нашей партии поддерживало Троцкого и оппозицию". Тем не менее, несмотря на намерения Кобы, сионисты не подверглись гонениям.

Часть фальшивки, производящая особенно зловещее впечатление, посвящена доказательствам связей Троцкого с масонством:

"Коба послал за мной и попросил как можно скорее получить доказательство того, что Троцкий занял определенное положение в ложе "Великий Восток" во время его пребывания во Франции. Он сказал, что "сосед" доставил ему сообщение об этом, но он хотел бы проверить некоторые данные... Разговор этот произвел на меня странное впечатление: можно предположить, что "сосед" сам

имел отношение к этим делам и сделал попытку вовлечь Троцкого в какой-то масонский заговор, как это было с Флоринским...

Мне нанес визит Ягода. Он сказал, что получил инструкции относительно франкмасонов и хочет сообщить мне информацию, полученную от очень значительного агента "соседей", человека, который занимает значительное положение в "Великом Востоке"... Разговор с Ягодой оставил у меня впечатление, что тот хотел бы заручиться "свидетелем"; чувствовалось, что он хочет защитить себя от всяких случайностей. Случись, что оппозиция придет к власти, он мог бы сказать, что действовал против Троцкого, только подчиняясь давлению... Так что если Ягода будет действовать достаточно умно, у Троцкого сохраняется какой-то шанс... И тогда ясно, почему Коба хочет как можно скорее выслать его за границу...

Я прочел информацию, доставленную "соседом". Я никогда не проявлял интереса к франкмасонам, и то, что я выяснил, не говоря уж о том, что все было мне в новинку, представляло большой интерес. У Троцкого была девятая степень посвящения — один из Избранных Мастеров Девятки. Сравнительно невысокое звание...

Я был приглашен на встречу в Инстанцию (так называлось Политбюро на кодовом языке), где Ягода представил сообщение о масонской активности Троцкого. Он упомянул также и Раковского, который, как он сообщил, имел двадцать пятую степень Рыцарей Стальной Змеи, нескольких масонов из Киева, что были высланы в Сибирь за их контакты с Моркотуном (киевский адвокат) и Пилсудским, который сам обладал тринадцатой степенью среди Рыцарей Кадоша, которая в свое время была степенью в ложе Белого и Черного Орла. Просто невообразимая путаница... Клим блеснул остроумием: "Если его в самом деле избрали одним из девяти, его следует вернуть в Политбюро: нас тут тоже девять". Дискуссия продолжалась, и Коба удивил меня своими познаниями в этой теме. Чувствовалось, что он изучал ее. С усмешкой он спросил у Ягоды относительно степеней в масонстве. Ягода несколько смешался и стал рассказывать о ступенях Шотландского Ритуала. Коба сказал: "Чувствуется, что вы незнакомы с предметом разговора. В свое время в Шотландском Ритуале было двадцать пять ступеней, но 22 сентября 1804 года на заседании ложи "Великого Востока" было принято тридцать три ступени. Восемь соответствующих ступеней "Великий Восток" позаимствовал в США из Чарльстонской ложи. Вот вам, кстати, пример американского экспорта в Европу..." Молотов задал вопрос относительно масонской деятельности в СССР и не было ли с их стороны попыток вести антисоветскую агитацию. То же спросил и Рудзутак... Дискуссия завершилась принятием резолюции, которая считала установленным факт связей Троцкого с тайным советским масонством. Вот уж действительно — начали за здоровье, а кончили за упокой. Они хотели продемонстрировать за границе широкие связи Троцкого с масонством просто для того, чтобы ему вручили визу, и избавиться от него, но кончили тем, что "соседям" была выдана инструкция состряпать дело против Троцкого и масонов, обвинив их в тайном заговоре против СССР... Просто удивительно, что столь солидное учреждение, как Инстанция, может тратить время на такую ерунду... Конечно, это может быть и не ерундой. Но необходимо же иметь в руках какие-то серьезные данные, а не полагаться на сомнительные сообщения Ягоды... отвратительно".

И это свидетельство также могло служить прекрасным доказательством тайного "жидо-масонского заговора". Оно снова всплыло в советской литературе в 1970 году в книге Михаила Колесникова.

Еще об одном еврейском "заговоре" стало известно из разговора меж-

ду "Литвиновым" и Ароном Сольцем, одним из старейших членов партии. "Мы говорили на идише, — сообщает "Литвинов", — чтобы нас никто не понимал!" В этом разговоре Сольц жаловался на Сталина, но "Литвинов" его не выдавал, что было "примером" его неверности по отношению к Сталину.

"Литвинов" сообщает, что еврейская жена Молотова имела брата, который жил в Америке (что было правдой). Он вменяет ей в вину намерение вовлечь брата в советско-американские финансовые операции. "Она хотела, чтобы он стал нашим неофициальным агентом в отношениях с американскими банками... Амторг не возражает... Непотизм". В 1953 году это было прекрасным свидетельством против Молотова! К тому времени, когда книга вышла в свет, Молотов по-прежнему был советским министром иностранных дел, хотя и находился в оппозиции к Хрущеву.

В некоторых других местах "Литвинов" пишет: "Я вспомнил, как в юности читал труды Маймонида. Какой блистательный ум — он был еврейским Платоном. Я начинаю думать, что эта философия более доказательна, чем марксизм!"

Если бы кто-нибудь решил дискредитировать эту подделку как сборник нелепостей, ему пришлось бы обратить внимание, что предисловие к ней написал не кто иной, как Э.Карр. Лишь это одно могло поставить в данном случае под сомнение научную добросовестность этого крупного специалиста. Трудно понять, как Карр мог вообще допустить, что Литвинов вел такой дневник, да и подделка была столь откровенной! В СССР в то время писать нечто подобное было слишком опасно. Кроме того, нетрудно было увидеть накладку в тексте дневника: Литвинов не мог говорить с Николаем Вознесенским в 1930 году, потому что в то время Вознесенский был всего лишь студентом. В книге Менжинский назван Рудольфом Мечиславовичем, в то время как его звали Вячеславом Рудольфовичем. Пьеса Булгакова "Дни Турбиных" появилась на сцене в декабре 1926 года, а не в мае 1926 года, как утверждается в тексте. В нем много подобных накладок, и можно просто предположить, что Карр оказался недостаточно сведущ, чтобы обнаружить их, — но как он мог поверить, что обвинения Троцкого в "масонстве" в самом деле серьезно обсуждались на Политбюро?

Необходимо отметить, что на советских процессах 1936 — 1938 годов использовались доказательства такого же качества, как в вышеупомянутых фальшивках, и эти доказательства снискали доверие многих западных наблюдателей.

## НУЖЕН ЛИ МАТ РУССКОЙ ПРОЗЕ?

Тема, которой посвящены ниже следующие заметки, — тема неблагодарная. Заранее можно сказать, что кроме неприятностей автору она ничего не принесет. Правда, это в какой-то мере должно оправдать автора, ибо совершенно очевидно, что пишет он, по слову выдающегося (согласно табели о рангах 1985 г.) советского поэта, "не ради денег и не ради славы". Ну в самом деле, какую пожну я славу оттого, что напишу статью, вопросительный знак в заглавии которой свидетельствует лишь о моем нежелании с порога отнимать у читателя всякую надежду на то, что вопрос о необходимости мата будет в итоге решен в отрицательном смысле? Разве что скандальную, да и то — это еще как посмотреть... Пусть же почти полное отсутствие корысти в авторе будет скромной данью генеральной традиции отечественной словесности — в компенсацию за нарушение ряда второстепенных ее запретов.

Итак, берусь я за эту тему вовсе не для того, чтобы, как сказал другой наш выдающийся поэт, "честных граждан позабавить", равно как и не для того, добавлю уже от себя, чтобы их эпатировать. Легко вообразить, что теоретику на этом поприще может прийтись еще хуже, чем практику. У всех в памяти свежий пример Тимура Кибирова, не так давно едва-едва не подвергшегося штрафу за весьма рискованное словоупотребление в стихотворном послании Л.С.Рубинштейну (отрывки из него были напечатаны рижской "Атмодой" №35-36, 21 августа 1989 г. — полностью см. Синтаксис, №26, 1989), да и то спасло его лишь заступничество

ряда авторитетов, среди которых следует прежде всего поблагодарить М.Гаспарова. Не знаю, как для Кибирова, но для меня угроза штрафа — веский аргумент, ибо у данной нам на вырост шинели есть лишь один недостаток — тот именно, что в карманах у нее гуляет ветер. Уже одно это гарантия того, что автор приложит все силы, дабы не нарушать общественных приличий. После такого жеста доброй воли я, со своей стороны, вправе ожидать ответных шагов и от читателей, иными словами — рассчитывать по меньшей мере на их спокойное, интеллигентное внимание.

Я понимаю, что нам сейчас вообще трудно говорить о чем бы то ни было спокойно и интеллигентно, а на эту тему — трудно вдвойне. Трудно — не значит, что невозможно. В этом меня убеждает одна беседа, состоявшаяся в редакции "Иностранной литературы" (ее материалы см. ИЛ, №7, 1990). В числе вопросов, которые спокойно обсуждались авторами и издателями журналов русского зарубежья, был и вопрос о том, допустимо ли использовать мат в русском литературном тексте? Интеллигентность и спокойствие в данном случае обусловлены, впрочем, как личными качествами выступавшего (им был Ю.Карабчиевский), так и не в последнюю очередь тем, что дискуссия проводилась редакцией "Иностранной литературы" — журнала, пользующегося традиционным нейтралитетом в силу своей общепризнанной экстерриториальности. С другой стороны, не следует думать, чтобы такой характер обсуждения вовсе не имел прецедентов. Так, в той же



ИЛ, еще в глубоко застойные годы, была проведена дискуссия, целиком посвященная нашей проблеме (см. ИЛ, №1, 1984 — "К проблеме передачи разговорной речи в переводах современной зарубежной литературы"), участники которой также сумели проявить завидную для нас сегодня сдержанность. Поскольку во время этих дискуссий было высказано практически все, что можно возразить против использования мата в художественной литературе, в дальнейшем мы, вероятно, будем не раз обращаться к ним, параллельно, по мере сил, делая вид, что однообразных инвектив по адресу "матерщиников", без коих в последнее время не обходится ни одно из публичных заявлений наших патриотствующих литераторов, просто не существует.

Было бы ошибкой думать, что вопрос о допустимости мата прост. Напротив, он запутан и, что всего печальнее, запутан он людьми серьезными и уважаемыми. Уже одно то, что о нем вспоминают в связи с переводческими проблемами — свидетельствует о нежелании разобраться в этом деле по существу. Хотя было бы крайне забавно, если бы мат проник в русскую литературу окольным путем, путем перевода, и мы наконец примирились бы с существованием этого достаточно своеобразного создания народного гения, получив его с Запада, однако поднимать в этой связи проблему перевода, по моему глубокому убеждению, означает ставить телегу впереди лошади. Поскольку перевод так или иначе ориентируется на оригинальную литературу, то с нее и надо начинать, причем ставить вопрос не абстрактно: допустим ли мат как таковой? Ибо как таковой мат ни в коем случае недопустим, особенно в присутствии малолетних. Вопрос о допустимости мата должен решаться в зависимости от того, существуют ли в оригинальной литературе процессы, неотъемлемые и закономерные, а рамках которых использование мата, равно как и других форм обесцененной лексики, становится необходимой необходимостью, а не проявлением волюнтаризма того или иного лица.

И с этой точки зрения, встав на

которую мы гарантируем себя от субъективных пристрастий и постоянных соображений, приходится сразу же отстранить как не имеющий отношения к делу, один из самых ходовых аргументов противников легализации мата, выдаваемый Ю. Карачиевским за свое личное убеждение в "традиционном целомудрии русского литературного языка", которое "происходит не от косности его, или отсталости, или от какого-то особенного ханжества, но является его органическим, необходимым качеством". Вряд ли можно назвать органичным существование целомудренного литературного языка у народа совсем не целомудренного, каков наш русский народ (впрочем, не отличающийся в этом своем качестве от большинства прочих народов), если, конечно, не выдавать это за еще одну умом непостижимую антиномию национального характера, свод которых дан в "Русской идее" Бердяева. Впрочем, не исключено, что мое недоумение вызвано тем, что Карачиевский как интеллигент до мозга костей и либерал до кончиков пальцев понимает целомудрие несколько иначе, чем привык понимать его я, архаичный человек. Но если уж на то пошло, дело не в том даже, каков язык — дело в том, почему он стал таким, т.е. почему у нас не дозволено то, что давно и широко допустимо в большинстве других европейских языков?

И тут нельзя не отметить достоинство той давней переводческой дискуссии в ИЛ, ибо уважаемые господа переводчики сразу же поставили вопрос именно так, что и позволило им повести разговор в максимально широком историко-культурном контексте.

"Различный культурно-исторический опыт народов ответственен за различное восприятие многих слов, обозначающих, казалось бы, одни и те же понятия... Действительно, почему слова, обозначающие определенные части тела или интимные отношения, вполне терпит, скажем, испанская бумага, а мы невольно отводим глаза, встречая их нацарапанными на заборе? Почему там они не несут никакой нагрузки, кроме смыс-

ловой, а у нас входят в разряд непристойных и запретных?" По мнению Людмилы Синянской, известной переводчицы испаноязычной прозы, все, опять же, упирается в отсутствие у нас Возрождения "с интересом к человеку как части Природы, с культом человеческого тела".

При видимой серьезности ответ этот заводит нас в тупик — не хуже разговоров об исконном целомудрии русского языка. Историю ведь не изменишь, и раз у нас не было Возрождения, с чего бы это нам претендовать на те его плоды, коими пользуются народы, имевшие Ренессанс? А посему будем и впредь, не заглядываясь по сторонам, двигать своим путем, куда бы путь этот нас ни привел.

Впрочем, я последний буду сетовать на отсутствие у нас Возрождения. Я-то считаю, что нам здесь очень и очень повезло, причем сразу в нескольких смыслах. К тому же, применительно к нашей теме, отсутствие Возрождения само по себе вообще ничего не объясняет.

Площадное слово, связанное с материально-телесным низом, было неотъемлемым элементом народной смеховой культуры — как средневековой Европы, так и Древней Руси. Отношение к ней со стороны культуры официальной в обоих случаях было неоднозначным: смеховая культура терпелась, с ее существованием мирились, хотя и пробовали с ней бороться, так что периоды запретов чередовались с периодами послаблений, признания за ней особых прав. Точно так же и "карнавализация культуры" на отрезке европейского Возрождения, о которой писал Бахтин, вполне сопоставима с реабилитацией смеха, предпринятой Петром в рамках его реформ (см. Лихачев Д.С., Панченко А.М. "Смеховой мир" Древней Руси. Л., 1976; Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984). При всех различиях в масштабах, времени и характере этих процессов в Европе и в России говорить о коренной их противоположности, однако, нельзя. Принципиальные отличия следует искать в топике культуры. Так, если культуры новоевропейские потому и

унаследовали хартию "карнавальных свобод" (признававшую в том числе и свободу площадного слова), что писатель нового времени чувствовал себя законным наследником тех, кто создавал рекреативную и ярмарочную литературу средних веков — всех этих продавцов и рекламистов различных снадобий, ярмарочных зазывал, нищих школяров и т.п.; то когда в России пришла пора определить место "трудника слова", писателя в светской культуре, из трех вариантов — скомороха, профессионала и пророка — выбор был сделан в пользу последнего, чей образ принадлежал к топике официальной культуры и подчинялся ее законам, накладывавшим на площадное слово однозначный запрет. "Больше всего русские поэты боялись прослыть шутами" — и эта их боязнь, выражавшаяся в том, что наибольшее отталкивание вызывали образы скомороха и юродивого, дала свои плоды, так что "почитатели и враги согласно стали воспринимать их как преемников пастырей и как новых пастырей" (Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ, Л., 1984, стр. 196, 181).

Этим были predeterminedены дальнейшие судьбы культуры на Западе и в России. Если в Европе писатель получил в наследство от ярмарочных зазывал охранную грамоту, гарантировавшую личную неприкосновенность, то в России с писателем обращались так, как всегда и везде обращались с пророками — гнали и побивали камнями. Уже первого русского писателя, погибшего от руки палача, Сильвестра Медведева обвиняли в том, что этот преемник Симеона Полоцкого хотел стать Патриархом. "В материалах розыска нет ни малейшего повода для обвинения Медведева в посягательстве на патриаршество, И все-таки это не клевета: "учительствующий" поэт в глазах традиционалистов естественным образом ассоциировался с архипастырем" (Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ, Л. 1984, стр. 174).

Закономерным итогом узурпации русской литературой функции истинных, духовных пастырей стал 1917

год, поставивший перед культурой вопрос о роли писателя и о реальном месте его слова. Раньше всех, по горячим следам, об этом заговорил В.В.Розанов: "Еще никогда не было случая, "судьбы", "рока", — чтобы "литература сломила наконец царство", чтобы она "разнесла жизнь народа по косточкам", "по лепесткам", чтобы она "разорвала труд народный", переделала "делание" в "неделание", — завертела, закружила все и переделала жизнь... в сюжет одной из повестей своего писателя: "Записки сумасшедшего"... "Литература", которая была "смертью своего отечества". Этого ни единому историку не могло вообразиться. Но между тем совершенно реальна эта особенность, что "ни одной полочки корабля" и "порчи машины" нельзя указать без ее "литературного источника" ("С вершины тысячелетней пирамиды"). Очень выразительно писал о неумеренном социальном профетизме русской литературы XIX века В.Т.Шаламов, чьи размышления на этот счет становятся ныне весьма популярными ("Критик и писатель приучили поколения писателей и читателей русских к мысли, что главное для писателя — жизненное учительство, обучение добру, самоотверженная борьба против зла. Все террористы прошли эту толстовскую стадию, эту вегетарианскую, морализаторскую школу. Русская литература второй половины XIX века хорошо подготовила почву для крови, пролитой в XX веке на наших с Вами глазах. Литературоведение наше нуждается в такой капитальной работе — установление истинного места Толстого в нашей жизни, и нашей культуре, и нашей истории... Во вторую половину XIX века (Достоевский выше, а главное вне) в русской литературе укрепляется антипушкинский нравоучительный описательный роман... пока не будет осужден самый принцип описательности — литературных побед нет. Да и чему писатель может научить человека, прошедшего войну, революцию, концлагеря, видевшего пламя Аламогордо" — письмо Ю.А.Шрейдеру от 24.03. 1968 г. ("Вопросы литературы" №5, 1989). Порвать с этой традицией должна

быть, по замыслу Шаламова, "новая проза", в шаламовском манифесте которой уже неоднократно пытались опознать теоретическую платформу нынешней "другой" прозы (напр.: О.Дарк. "Дружба народов", №6 1990). Чаемого разрыва, однако, у Шаламова не произошло, ибо неизменным оставался сам образ писателя как феномен не только литературной, но и общественной жизни. Мы говорим: Шаламов (или: Достоевский, Лев Толстой, Солженицын), подразумеваем: большой авторитет. Шаламова можно цитировать, можно апеллировать к нему в самых неожиданных контекстах — подобно тому, как инстанцией для решения самых неподходящих вопросов были наши классики прошлого века. Подлинно новая или, если хотите, другая проза связана с изменением самого образа писателя в читательском сознании, что влечет за собой новое (другое) отношение к авторскому слову. Такое переосмысление образа автора, связанное с добровольным отказом от функций пророка, было совершено не Шаламовым, но Абрамом Терцем, сознательно ориентировавшимся при этом на традицию юродства, как помним, не фигурировавшую в качестве альтернативы в XVII веке, когда перед русской культурой встала "проблема автора". Юродство оставалось неустребованным резервом русской культуры, и, хотя к его традиции восходит ряд замечательных ее достижений (князь Мышкин Достоевского — первый, но не единственный тому пример), однако именно Терц первым попытался строить из этого материала свой образ, то есть образ писателя, а не, как это бывало и раньше, конструировать из него литературных героев. Так что если кого и выводить в "отцы-основатели" "другой" прозы, то не Шаламова, но как раз Абрама Терца.

Своим словом, зачастую площадным (а следует иметь в виду, что именно в устах юродивого оно было вполне легальным в Древней Руси), юродивый ничего не возмещает, никого не судит, не критикует и не обличает. Критикой и обличением любого статус-кво является само присутствие юродивого, его поведение.

Наедине с собой юродивый не юродствует, в известном смысле он — актер. Поэтому реализация эстетических потенций юродства для литературы означает целенаправленную работу писателя над своим образом, работу, которая должна по идее завершиться созданием маски, двойника, начинающего вести "автономное" от своего создателя существование. Таков Абрам Терц, которого не следует путать с почтенным литературоведом Андреем Донатовичем Синявским. Последовательное проведённое "раздвоение", напоминающее об автономности литературы от жизни, является критикой господствующих в литературе тенденций, враждебных такой автономности.

Образ писателя и является тем критерием, по которому целесообразно определять реальную степень новизны любой прозы, претендующей называться "новой". И с этой точки зрения, Саша Соколов или Юрий Мамлеев — вполне традиционные для русской литературы фигуры (Мамлеев же, как автор философских трактатов, и вовсе не расходится с традиционными представлениями о том, что должен делать и как должен себя держать русский писатель). То же следует сказать и о Викторе Ерофееве: его полемические выступления, пафос которых близок к позициям, на которых стоим мы, однако бьют мимо цели — ведь это выступления того же Виктора Ерофеева, который написал "Жизнь с идиотом", то есть в итоге читатель невольно поясняет для себя ситуацию, подкладывая под нее "архетип" — Гоголя и "Выбранные места..." — тот самый "архетип" русского литературного развития, с которым полемизирует Виктор Ерофеев. Тогда как по-настоящему новы для русской литературы Абрам Терц, Венедикт Ерофеев, Эд. Лимонов — первые полноценные юродивые русской литературы (это не значит, однако, что Соколов непременно хуже Лимонова или лучше его — это значит только то, что они разные. Странная, в сущности, оговорка, но, зная отечественные нравы, необходимая).

Реализация эстетических потенций юродства оправдывает использо-

вание obscene лексикой и, в частности, мата. Использование последнего имеет целью не столько эпатаж публики, сколько снижение образа автора (причем, опять же, не произвольное, но ставящее задачей напомнить, во что ценилась жизнь писателя на Руси — при всеобщем преклонении перед его словом), "поругание" традиционных представлений о функциях писателя в русской жизни (ср. у Г.П.Федотова: "Юрод" и "похаб" — эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси — по-видимому, выражают две стороны надругания над "нормальной" человеческой природой: рациональной и моральной... Юродивый стал преемником святого князя в социальном служении. С другой стороны, едва ли случайно святое поприще быта в юродстве совпадает с торжеством православия. Юродивые восстанавливают нарушенное духовное равновесие". Подобно этому — писательское юродство должно стать преемником писательского профетизма, пророческого служения писателя, коль скоро последнее, стараниями Горького, было вменено в обязанность запертым в клетку буревестникам коммунистического элизима).

Тем самым вопрос о допустимости мата — не есть в собственном смысле вопрос расширения рамок дозволенного в тематическом плане. Характерно, что именно те произведения, авторы которых вполне в русле заветов "века реализма" ставят своей исключительной целью обследование социальных окраин и маргинальных слоев общества, игнорировавшихся официальной литературой, могут в принципе без мата и обойтись. Пример тому — тот же Шаламов. С точки зрения тематической — ничего не прибавляет написание неблагопристойного слова целиком, также как ничего не убавляет замена его достаточно разработанными у нас для этого способами. То же следует сказать и о чисто экспрессивной функции матерных слов, теряющих в этом случае всякую смысловую нагрузку. И — напротив — в деле построения нового образа писателя, полемически заостренного против традиционных представлений о его

роли, согласно которым писатель — это звучит гордо, а слово его — веко, совершенно необходимо использование мата во всех функциях и, не в последнюю очередь, в качестве термина. Справедливо, что такое употребление действительно обрекает язык на "утрату иерархии слова", при сохранении которой только и возможен феномен "векового авторского слова", как предупреждает нас Карабчиевский (изумительная особенность которого как критика, кстати сказать, состоит в умении весьма тонко подметить симптомы, но дать им абсолютно неверное истолкование). Однако такая утрата оказывается целесообразной, если ставится задача дезориентировать читателя, привыкшего обращаться к литературе в поисках однозначного ответа на вопрос: ке-фэр?

Вот этого, к сожалению, никак не хочет уразуметь Карабчиевский. Доводом в свою пользу он считает, в частности, то, что "наиболее известные наши эмигрантские авторы, которые преуспели в данной области, упившись свободой на всю катушку, насытившись вдоволь и насладившись, теперь, сколько я могу судить, отказываются от мата как термина, да и проходные выражения матерные начинают использовать куда как экономней, далеко не с той, прежней безоглядной свободой". Что до эмигрантских авторов, то, сколько могу судить я, отказываются от мата как раз те из них, кто пользовался им либо исключительно как идиомой, либо в плане расширения тематического диапазона, то есть именно в тех функциях, которые, кажется, скрепя сердце готов амнистировать Карабчиевский. В то же время очевидно, что задачи, которые решал Вен.Ерофеев, исключали для него возможность отказаться от мата.

Впрочем, для Вен.Ерофеева Карабчиевский также готов сделать специальную поблажку, равно как и для протопопа Аввакума. Но этим Карабчиевский только вредит самому же себе и, напротив, невольно подтверждает наши соображения, излагать которые мы уже заканчиваем. Ведь в том и значение Аввакума для советской литературы, что он самым

решительным образом порвал с традиционными для его времени представлениями о функциях автора и его образе — во-первых, самочинно решив, что его жизнь достойна стать житием и, во-вторых, написав это житие сам, не дожидаясь, пока до этого дойдут руки у анонимного агиографа. Переосмысление роли автора нарушало традиционную для агиографии иерархию слов, внося в нее хаос и неразбериху, давая возможность использовать все запасы "природного русского языка", который Аввакум любил не меньше, чем все мы. Насколько эта работа была сознательной — мы оставим в стороне, указав лишь, что определенную роль здесь сыграло то, что Аввакум оказался в положении аутсайдера, изгоя, лишнего человека — словом, в том положении, в которое любили ставить своих героев писатели "века реализма", но оказаться в котором они больше всего боялись сами.

Сознательное аутсайдерство, роль парии, юродивого — неперенный элемент в облике автора новой прозы. Продуманно и, я бы сказал, изящно, он выражен у Абрама Терца; достаточно определено у Вен.Ерофеева, умалившего себя до образа Венички — персонажа интеллигентского фольклора (чем и ввел в заблуждение известного слависта В.Казака, поставившего между ними знак равенства); несколько прямолинейно, с нажимом — у Лимонова. Внимание читателя их книг по традиции фокусируется на авторе, словам которого мы готовимся внимать со всей возможной серьезностью. Помешать нам — одна из задач упомянутых авторов. Радикальное средство для этого — мат, который становится препятствием для любых попользований выстроить серьезное суждение, идеологическую мысль — либо присвоить этот статус суждения и мыслям, отнюдь к тому не предназначенным (ср. у Бахтина: "У всех современных народов есть еще огромные сферы непубликуемой речи, которые с точки зрения литературно-разговорного языка, воспитанного на нормах и точках зрения языка литературного, признаются как бы несуществующими. Лишь жалкие и при-

глаженные обрывки этих непубликуемых сфер речевой жизни проникают на книжные страницы в большинстве случаев в качестве "колоритных диалогов" действующих лиц (они появляются в речевом плане, наиболее отдаленном от плоскости прямой и серьезной авторской речи). Строить в этих речевых сферах серьезное суждение, идеологическую мысль представляется невозможным — не потому, что эти сферы обычно пестрят непристойностями... но потому, что они представляют нечто алогичным, границы в них проводятся совершенно иначе, чем это требует и допускает господствующая картина мира" — "Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса". М., 1990, стр.465 — 466). Мат позволяет скомпрометировать авторское слово в глазах читателя, отбить

у него охоту превращать роман в цитатник на все случаи жизни, а в самом писателе видеть "глашатая правды, беспристрастного судью пороков своего народа и борца за его интересы" (М.Горький).

Занимавшийся феноменологией юродства Г.П.Федотов выделял три основных момента в этом "парадоксальном подвиге", ставя на первое место, как доминирующий в русском юродстве, момент аскетического покаяния тщеславия и гордыни, всегда опасных для монашеской аскезы. В лице своих юродивых русская литература ныне приносит покаяние за грех гордыни, в который она впала в XIX веке, вознамерившись заменить народу истинных пастырей и пророков, убедить народ в том, что одной ее праведностью простоит вся наша земля.

---

## ПОЧТА "ДАУГАВЫ"

### ... БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК

Вам пишу г члены инициативной группы по созданию экологического поселения общины. В 1990 г. мы приступили к созданию такого поселка, где не нарушают природного равновесия. Одновременно ставилась цель сформировать коллектив единомышленников, уважающих друг друга людей. Мы были готовы к тому, что наряду с множеством экономических проблем нам предстоит также решать сложные вопросы психологической совместимости.

Пройден организационный этап. Началась практическая деятельность. Выработаны концептуально-уставные документы, сформирована и действует экономическая структура поселения — малого предприятия. Прибыли первые семьи. Собственными силами запущен небольшой цех производства стройматериалов. Заложены основы будущего аграрного сектора. Мы живем в арендуемых помещениях закрывшегося пионерлагеря, накапливаем силы для собственного строительства.

Конечно, все дается ценой невероятных усилий. В финансовом отношении мы стартовали почти с нуля. Нам оказывают сильную помощь Всероссийское общество охраны природы и Уральский экологический фонд СССР. Но сегодня эти организации сами не очень богаты. Основным вопросом для нас был и остается отбор новых членов. Желающих немало, но тут не все выдерживают, не всех устраивают нормы взаимоотношений в поселении.

Неоценимая помощь, которую редакция могла бы нам оказать — это напечатать наше письмо. Пусть люди знают, что на Урале есть такое место, куда можно приехать, где нет места вредным привычкам, грубости и жестокости.

Те, кого заинтересует эта информация, могут написать по адресу: 620063, Екатеринбург, а/я 273.

*А.БАШКОВ,  
директор МП "Ноосфера"*

# ...И ТЕНИ ТЕХ, КОГО УЖ НЕТ

## ЗАПИСКИ О ПРОЖИТЫХ ДНЯХ

Потомок сдного из ливских старейшин, светлейший князь, в роду (породнен) остзейская и русская знать — Ганны, Васильчиковы, Бенкендорфы, Орловы, Давыдовы, Мантейфели, Чернышевы, Фирксы, Салтыковы, Бреверны, Палены, Гагарины, Кейзерлинги... Родился в 1875 г. в Санкт-Петербурге, семья владела поместьями и именьями в Лифляндии (в Зегевольде, Мезотене, Смильтене), в Малороссии, центральных губерниях. Окончил Петербургский институт инженеров путей сообщения. В русско-японскую и первую мировую войны — в Российском обществе Красного Креста. Жил в северной столице, в Лифляндии, а эмигрировав — в Швеции, Дании, Латвии, Германии, Бельгии, Ирландии. Умер в 1963 г. в Лондоне. В начале 1950-х гг. написал воспоминания о прошедших днях.

— Кто может позаботиться изданием воспоминаний П.П.Ливена?

— Латвийские историки.

— Возможно, но не сейчас. Сегодня в истории ищут, как правило, союзников, а П.П.Ливена трудно причислить к идеологам национально-государственной идеи, он даже не прочь слегка иронически отнестись к символической этой мирской для него идее, которая к тому же обернулась для него безвозмездным отчуждением значительной части семейной недвижимости, лишением покоя. Конечно, оценят, что всю ситуацию он принял как данность (Божья воля); вспомнят, что даже в 1905 г., когда жгли усадьбы немецких баронов, рижская "Диенас лапа" назвала П.П.Ливена "одним из достойнейших прибалтийских помещиков"; еще в начале 1930-х гг. в путеводителях по Смильтене не забывали отметить его вклад в развитие городка (больница, электричество, ж/д Смильтене—Айнажи).

Но, — обронит кто-нибудь из блюстителей, — ведь он из рода Каупо! И тем в очередной раз может заставить историков уйти из истории в повседневность. Ведь Каупо традиционно рассматривался в латышской ли историографии, советской ли как предатель интересов Латвии ли, России: принявший на рубеже XII-XIII вв. христианство Каупо становится опорой на пути продвижения тевтонцев на Восток (а дальний потомок его, старший брат П.П.Ливена, семь веков спустя, сражаясь с большевиками, принимает активнейшее участие в борьбе за независимость Латвии и даже удостоивается почетных полгосударственных похорон).

— Значит, Германия может содействовать публикации воспоминаний?

— Не исключено. Но нужно учесть, что автор, насколько можно понять из некоторых деталей его биографии, кажется, не отождествлял себя исключительно с немецкой культурой. Если, оказавшись в 1915 г. в плену, он впоследствии говорил о весьма удовлетворительных условиях содержания пленных в офицерском лагере под Штральзундом (а пресса писала только "о немецких зверствах"), то простецало это не из отсутствия патриотизма и подсознательного германофильства, а из сугубо лагерной реальности. К тому же именно в плену, ухаживая за ранеными и больными, ему удалось хоть в какой-то степени преодолеть тягостную его скованность во взаимоотношениях с незнакомыми людьми. Может ли помешать публикации в Германии, где регулярно издается много работ, посвященных остзейскому вопросу, где активно работают союзы остзейцев по происхождению, — тот факт, что профессионализм лифляндских сестер милосердия П.П.Ливен предпочитал "душевность" петербургских? Какое значение в Германии придадут тому, что П.П.Ливен, очутившись вскоре после революции в Ростке, отметил оказанное ему там гостеприимство, обозначив тем самым свое особое положение в Германии? В отличие от большинства "согубернцев" П.П.Ливен не прижился в Германии (как, впрочем, и некоторые другие

бывшие остзейцы; а иные и попытки такой не делали). И воспоминания свои написал по-русски. Признаюсь, однако, что тип "остзейца", пребывавшего по крайней мере в трех культурах одновременно, для нас не очевиден.

— Так, может, немецкая община сегодняшней Латвии побеспокоится об издании воспоминаний и заодно растолкует непонятное?

— Могла бы, но община эта сегодня немногочисленна, бедна и, кажется, озабочена пока иными проблемами.

— Большую часть своей эмигрантской (беженской) жизни П.П.Ливен прожил в Великобритании, там и рукопись его воспоминаний хранится. Ее должны издать в Англии.

— Отнюдь нет. Похоже, что П.П.Ливен так и не вписался в ее жизнь, ничем, вроде, не соприкоснулся с ее духом, разве через сыновей, сестру. Англии он посвятил всего несколько строк и, живя в Ирландии, все не мог забыть кремонских вечеров: "Этих вечеров мне больше всего на Западе не хватает, и их в Ирландии вообще тут нет".

— Тогда воспоминания наверняка заинтересуют "консерваторов".

— Сомнительно. Императора П.П.Ливен читал, пребывание царской семьи и Великого князя Кирилла Владимировича с супругой в Риге описал, но ничего не сделал для прославления и защиты монархии, России.

— А не окажут ли ему покровительство "либералы"?

— Маловероятно. Ведь нет в воспоминаниях политической энергии, соответствующего словаря, попыток спорить. Если патетика, то всего лишь напоминающая восклицания сентиментальных путешественников конца XVIII в., замиравших в виду божественной картины восходящего или заходящего солнца, горных вершин или бескрайних равнин, степей... величественных соборов. И если разочарование, то не в планах и программах, не в друзьях и союзниках, а в том, что худо, далеко от идеала было исполнение им работ, а "непосвященным казалось хорошо". И если сожаление, то без сарказма. Даже не ламентация, а констатация: "...Понимать душу ближнего, гореть к ней любовью, этого дара понимания ближнего у меня никогда не было и потому вся моя деятельность была только медь звенящая и кимвал звучащий".

— А не найдется ли П.П.Ливену места в трудах Петербургского института инженеров железнодорожного транспорта — бывшего института инженеров путей сообщения?

— Только отчасти, несколько цитат в главе о методике преподавания. Крупным инженером он не стал, путевским делом занимался недолго, гордости инженера-путейца почти не выказал, в студенческих сходках участия не принимал и не понимал участвовавших.

— Друзья должны были бы опубликовать его воспоминания.

— А были ли у него друзья, особенно в старости? Ведь он был человеком деликатным, сблизился с людьми трудной, больше всего ценил искреннюю веру и способность к самопожертвованию. Такие люди остались в его детстве, провидческих встречах молодости. Много ли их, подобных ушедшим, стояло рядом с ним на склоне лет?

— А не найдется ли П.П.Ливену страниц в религиозных изданиях?

— Должно бы найтись. Но очевидна лишь его принадлежность к христианству. Вот что писал П.П.Ливен о своем религиозном наставнике (помяну о словах апостола Павла): "Был ли пастор Тофель кальвинист, лютеранин или католик, но я, откровенно говоря, не знаю, в чем их разница, но я убедился, что наш учитель был глубоко убежденный христианин, а остальные подробности, по моему убеждению, человеческие перегородки, не достигающие неба".

— Но уж в краснокрестной-то печати П.П.Ливен может появиться беспрепятственно? Ведь в русско-японскую он возглавлял Лифляндский полевой лазарет на Дальнем Востоке, в первую мировую был уполномоченным Красног Креста на фронте.

— Пожалуй, так. Но когда еще краснокрестное движение возродится в полной мере?

Конечно, воспоминаниям нашлось бы место в прилтийских исторических сборниках, наподобие тех, которые издавал в 70—80-е гг. прошлого века в Риге Е.В.Чешин (аналогичные издания были в Латвии в 20-х — первой половине 30-х гг.). Но таких сборников пока нет.

— А зачем "Даугаве" эти воспоминания? Кажется, читатель не любит "скучных историй"?



— Действительно, на фоне сегодняшней мемуаристики П.П.Ливен может показаться пресноватым. Да не все же перченую пишу. Личных, частных, семейных, беженских повествований, подобных ливеновским, много. Жанр пока не востребован. Не пора ли?

*Текст печатается с сокращениями. Заглавие дано редакцией. Публикация Р.Ти-менчика, предисловие и примечания Б.Равдина.*

*Рукописный текст любезно предоставлен Библиотекой School of Slavonic and East European Studies Лондонского университета. Особую благодарность выражаем сотруднику этого института Джулиану Граффи.*

Подобно тому, как небесные созвездия кажутся нам изо дня в день и из года в год неподвижными и вечными, в то время как мы знаем, что каждая звезда, планета и всякое небесное тело вращается и летит со неимоверной быстротой в пространстве, так и жизнь человека, кажущаяся нам в детстве неподвижной, проносится с огромной скоростью, и лишь под старость замечаешь, как поредело кругом тебя число твоих знакомых и как быстро оно заменяется подрастающим молодым поколением.

Что знаем мы о наших предках, дедах и даже родителях, об их нравах, радостях и скорбях, и имена их даже быстро забываются. А в то же время сколько ценного опыта, знания и понятий теряются уходящим поколением...

Поэтому, хотя я и не мечтаю быть писателем и я лично и не играл никакой роли в современном мне обществе, я хотел бы по возможности в простых словах изложить факты и эпизоды моей жизни, в надежде, что то или другое слово заинтересует читателя или принесет ему какую-нибудь пользу.

Пожалуй, доброй приметой для ожидавшей меня судьбы на земном моем прище было то, что я родился накануне Пасхи в 1875 году под благовест колоколов Исаакиевского собора в С.-Петербурге и оказался сыном именно моей матери<sup>1</sup>. Она до моего рождения потеряла свою старшую дочь и перенесла на меня, если могу так сказать, всю свою любовь.

Встреча ее в начале семидесятых годов с лордом Редстоком<sup>2</sup>, представителем особого религиозного движения в Англии, послужила поворотным пунктом всей ее дальнейшей жизни.

Учение, проповедуемое Редстоком и называвшееся "евангельским", призывало верующих вернуться к церкви первых времен христианства. Учение основывалось исключительно на словах евангелия, отвергая все обряды установленных церквей и учения отцов церкви и считая веру в искупительную жертву Христа единственным способом спасения души. Ревностными последователями этого учения в Петербурге оказались Василия Александрович Пашков<sup>3</sup> и гр. Модест Модестович Корф<sup>4</sup>, которые устраивали собрания по частным домам, распространяя повсюду Евангелия и брошюры, куда бы они ни ходили. Движение это обрело такие размеры, что правительство решило принять строгие меры, и когда, какжется в 1882 году, съехались в Петербурге представители штундистов, баптистов, молокан и евангельских христиан на общую конференцию<sup>5</sup>, они все были полицией арестованы, а В.А.Пашков и гр.Корф были бессрочно высланы за границу. К моей матери, в чьем доме состоялось собрание этой конференции, явился адъютант государя с объявлением, что хотя ей и не грозит высылка, но запрещается заниматься пропагандой пашковского учения.

Эта строгая расправа с сектантским движением приписывалась влиянию Константина Петровича Победоносцева, обер-прокурора Св.Синода, на вступившего

на престол императора Александра III, после убийства его отца 1 марта 1881 г. Мой отец<sup>6</sup>, которому было тогда 60 лет, занимал должность обер-церемониймейстера Высочайшего Двора и был по делам службы в Зимнем дворце утром того же дня. Событие это его так сразило, что он захворал и скончался три месяца спустя. Я отлично помню, как я с моею сестрой, в этот роковой день, сидя в кабинете нашей матери, решали, что теперь придут врачи и будет что-то ужасное, а солнце тепло светило в окно, и снег, тая, капал с крыши за окном. Врачи решили послать моего отца за границу к специалистам в Берлин. Позтому наша тетя Вера Гагарина<sup>7</sup> в мае взяла моих сестер с собою в Тульскую губернию, в ее имение Сергиевское, а моего брата и меня мои родители взяли с собою за границу.

Мне было тогда 6 лет. Помню я гостиницу "Kaiserhof" в Берлине и наш приезд в Tepplitz, куда врачи направили моего отца. Я был несносным, упрямым мальчиком, и еще за несколько дней до своей смерти мой отец сказал мне: " Sei doch ein gutez+mmeschen". 24 июня нас с братом позвали в комнату, где лежал наш отец, и он нас, обоих мальчиков, благословил. Когда же на следующий день я его снова увидел в той же постели, но с неподвижным восковым лицом, мной овладел непреодолимый страх и я не понял, что случилось.

Моя мать, не имевшая понятия о ведении дел, т.к. до сих пор заведовал всем отец, оказалась как в лесу, не зная, с чего начать. Тут на помощь к ней приехала тетя Вера с дядей Сережей<sup>8</sup>, ее мужем, а из Берлина приехал наш посланник гр.Шувалов<sup>9</sup> с женою Еленой Ивановной, рожд. Чертковой<sup>10</sup>. Благодаря их помощи и распоряжениям из Берлина для перевозки гроба и сопровождавших его были устроены всевозможные удобства, но подробностей обратного путешествия в наше курляндское имение Мезотен, у церкви которого и находится наше семейное кладбище, я не помню, только трезвон колокола в день похорон мне врезался в память на всю жизнь.

Имение Мезотен было подарено императрицей Екатериной моей прабабушке, рожд. Гаугребен<sup>11</sup>, за воспитание ее внуков и находится в Курляндской губернии на берегу реки Аа, в 37 верстах на юг от Митавы.

Жилой дом в этом имении был вроде загородного дворца — в три этажа, с залой в два света и с двумя флигелями. Я не стану описывать анфиладу комнат, паркетные полы, стены, покрытые копиями итальянских и голландских картин, и мебель стиля ампир, мраморные бюсты в зале и длинный коридор в третьем этаже с комнатами направо и налево для гостей. Я только в зрелые годы понял красоту и роскошь всей обстановки и был откровенно рад, что не я наследую этот громадный дом.

В Мезотене мы всегда проводили вторую половину лета, а осень и зиму — в Петербурге, где в год моего рождения родители купили дом Демидова Сандonato<sup>12</sup> на Большой Морской улице, №43. Дом этот, собственно говоря, был построен для больших приемов, и первый этаж состоял главным образом из ряда зал, а жилые комнаты были расположены во втором этаже, которые были очень удобно и красиво устроены.

Окончательной причиной для покупки именно этого дома были два обстоятельства: во-первых, соседний дом №45 принадлежал Гагаринам, т.е. сестре моей матери — тете Вере, во-вторых, при доме, купленном моими родителями, была отличная конюшня на 8 лошадей, а моя мать очень любила лошадей, и я должен сказать, что у нее был всегда отличный выезд. Я помню наших чудных рысаков — гнедого жеребца Мурзу и серую пару Светляка и Волокиту. Парные и одиночные сани, коляска, купе и ландо, все работы Брейтингама<sup>13</sup>, все содержались в блестящем состоянии Христофором, являвшим лучший тип истинно русского кучера.

Наш старый дворник Иван Ильич Раков был ловкий и весьма расторопный кре-

стьянин Тверской губернии. В нашем полицейском участке он был, как дома, и я думаю, что благодаря ему полиция, хотя отлично знаящая, что по воскресеньям у нас в доме бывали довольно большие собрания, никогда не чинила нам неприятностей и, кажется, иногда просила только расходиться из ворот после собрания не толпой. Очень часто у нас в доме останавливались приезжавшие из-за границы проповедники. Благодаря избранному направлению моей матери, дух нашего дома, если могу так сказать, принял в Петербурге особое положение. О светских приемах, обедах и участии в светских увеселениях, театрах и концертах у нас и помину не было, обмен же визитами был самый ограниченный. К счастью, нас было пятеро детей, из которых мой брат Анатолий<sup>14</sup> был на два с половиной года старше меня, а все три сестры были моложе меня и по именам назывались Мэри<sup>15</sup>, Алена<sup>16</sup> и Софья<sup>17</sup>, или Фокка. Весь интерес моей матери был направлен на доставление нам приятного и счастливого детства.

Кажется, уже в 1880 году молодой барышней, только что окончившей Елизаветинский институт, поступила к нам гувернанткой Наталья Владимировна Клиесовская<sup>18</sup>, которая, сделавшись почти членом семьи, оставалась с нами до самой смерти. Няня Аннушка добросовестно наблюдала за нашим физическим благополучием, а благодушный доктор Гарфинкель<sup>19</sup> был нашим семейным врачом.

Кроме упомянутого мной кучера и дворника было много других служащих с их женами и детьми, составлявших большую дворню. Начиная с дворецкого Яковлева, почтенного господина с бакенбардами, швейцара Ивана Гусева, нашего общего с моим братом дядьки Парфения Прокофьевича Нагибова и повара, были выездной лакей, буфетный мужик, конюх, истопник, сподручный дворник, не говоря о горничных моей матери и сестер и двух девушках для уборки комнат.

Когда на Рождество вокруг громадной елки собиралось все это множество мужчин, женщин и детей для раздачи им подарков, я всегда удивлялся, где скрывались все эти люди в обыкновенное время, и как, живя под одной крышей, мы так мало знали друг друга, и что они про нас и мы о них думаем и знаем.

Начиная с октября, когда ежегодно мы всей семьей возвращались в Петербург, Рождество казалось мне конечною целью и пределом моих надежд и ожиданий. Но как бесконечно долго тянулись эти темные, сырые и холодные месяцы нашей северной столицы, и Рождество мне всегда рисовалось в недосыгаемой туманной дали, и как пусто и бесконечно казалось мне время, когда на елке погасала последняя свеча и исчезала таинственная тень, бросаемаемая ею на потолок.

Неизбежное зло домашнего воспитания олицетворяется мне в лице гувернера, коих в моем случае у нас перебивало четыре. Вероятно по свойственному мне характеру, я ни с одним из них не подружился. Дольше всех у нас пробыл швейцарец Jupon, который возвратился к своим родным Альпам только по окончании мной реального училища.

Мой брат был гораздо способнее и общительнее меня. Он действительно подружился с нашим швейцарцем, путешествовал с ним по Венгрии, ездил с ним на выставку в Чикаго<sup>20</sup> и переписывался с ним потом. При виде этого я неоднократно спрашивал себя, почему я никогда не чувствовал потребности сближения с другом и не имел такого среди мужчин, в то время как среди встретившихся мне женщин я нашел целый ряд душ, с которыми имел духовное общение.

Но когда приближалась весна и полыньи на Неве делались все больше, а в "Новом Времени" начинали появляться весенние бюллетени Кайгородова<sup>21</sup> и наконец мы читали, что Нева у Шлиссельбурга вскрылась на 2 версты, меня неудержимо тянуло на набережную, где в ожидании ледохода я мог бы проводить часы. Я не знаю явления природы, приводящего меня в такой восторг своею элементарной мощью, как ледоход. Когда сплошная льдина, с еловыми ветками, обозна-

чавшими зимнюю дорогу, встречала бык Николаевского моста и давала трещину, казалось, что не льдина, а мост подвигался вверх по Неве, топя и ломая могучие льдины в победоносном шествии весны. Как тогда, прожоя уезжавших знакомых на Варшавский вокзал, нас увлекало вместе с уходящим поездом от городской жизни, от каменных громад домов и от предстоявших экзаменов, отравлявших каждую весну молодежи.

Наконец, в конце мая и для нас наступал день отъезда в наш любимый Кремен, с которым связаны мои самые дорогие воспоминания детства. Кремен лежал на берегу реки Гауи, или Лифляндской Аа, в 50 — верстах на восток от Риги в Лифляндской губ. По преданию под или около Кременской церкви похоронен родоначальник нашей семьи — Каупо<sup>22</sup>, предводитель ливов, принявший христианство в 1203 году и крещенный папою Иннокентием III в Риме и павший в битве с эстонцами.

Его укрепленный лагерь Кубецель находился недалеко от церкви в кременском полумызке Кипзале.

До постройки в конце 80-х годов Псково-Рижской ж.д., на которой станция Зегевольд оказалась в 3 верстах от Кремена, нам приходилось ездить из Петербурга по Варшавской ж.д. до Динабурга (теперь Двинск), там пересеживаться на Риги-Орловскую ж.д. и ехать до Риги. Там нас ожидала наша карета "dormeuse", в которую впрягались почтовые лошади, и мы ехали в Кремен.

В те времена, когда еще не было пульмановских вагонов, существовал особый тип вагонов, т.н. семейные, которые по заказу нанимались для перевозки, как в нашем случае, целой семьи с прислугой по одному назначению. На обоих концах такого вагона было по одному отделению во всю ширину вагона с мягкими скамейками вокруг трех стен, а у четвертой стены стояла чугунная печь и две двери вправо и влево от нее. Посреди такого отделения стоял большой стол. Посередине всего вагона, между обоими отделениями, было помещение для прислуги, тоже с мягкими скамейками. В Двинске семейный вагон отцеплялся от варшавского поезда, переводился на риги-орловскую станцию и прицеплялся к поезду, отходившему в Ригу. Этот маневр меня всегда очень интересовал, им я выводил из терпения нянь и смотревших за мною. Помню спиртовку с фарфоровой ручкой, появляющуюся на столе этого вагона, и приятный запах от погребца, полного всякой провизией.

В Риге, до подачи экипажа, мы останавливались либо у знакомых, либо в гостинице. Мне смутно кажется, что при таком приезде я видел пленных турок<sup>23</sup>, работавших в порту на Двине.

На полдороге на Псково-Рижском шоссе, между Ригой и Кременом, нам меняли лошадей на ст.Роденлойс, и мы обязательно пили там молоко с черным хлебом, казавшиеся мне вкуснее, чем где бы то ни было.

Надо признаться, что местность вдоль большей части дороги по Псково-Рижскому шоссе, на 40 верст от Риги, проходит по скучной, песчаной равнине, большей частью заросшей мелким сосновым лесом. Только переехав деревянный мост через реку Гаую, на старой Петербургской дороге, и свернув на проселочную дорогу у Энгельгардгофской мызы, местность значительно оживляется. Но хотя местность, где расположен Кремен, и называется вообще Лифляндской Швейцарией; вы, подъезжая уже к самому дому, никакою Швейцарии не замечаете. Стоит красивый каменный дом, стиля времен Александра I, с обязательными четырьмя коринфскими колоннами, с лужайкой перед домом и со службами позади нее. Поднявшись по каменной лестнице, ступеней двенадцать, вы, проходя через переднюю, входите в низкий зал в три окна, из которого одно есть в то же время дверь на балкон с крышей на четырех колоннах. С этого крыльца открыва-

ется совершенно неожиданный вид. Вы видите, что дом стоит на самом краю широкой долины, глубиной около 200 футов, сплошь заросшей столетними дубами, ясенями, кленами и липами, а на дне ее вьется серебряной лентой, среди песчаных берегов, широкая река Гауя, или Лифляндская Аа. На противоположном краю долины виднеются развалины замка Тевтонского ордена Зегевольда, а на востоке, вверх по течению реки, возвышается могучая кирпичная башня, тоже развалины бывшего епископского замка Турейда, или Трайдена.

Трудно описать на словах красоту и настроение открывающейся перед вами картины, но для меня это тот уголок в мире, который мне ближе всего к сердцу. Тут нет фабричных труб, ни мачт с электрическими проводами, нет фешенебельных гостиниц, ни пестрых объявлений. Тут природа, как Бог ее создал. Но хотя до сих пор так называемая культура и не коснулась, к счастью, этого уголка земли, эти развалины бывших замков свидетельствуют, что не всегда тут было так мирно и спокойно, как в счастливые дни моей молодости. Здесь столетиями, до прихода немцев в XIII веке, происходили постоянные войны между латышами, эстами и литвами. Тут огнем и мечом меchenосцами насаживалось христианство, ходили полки Иоанна Грозного, приходили поляки, были и шведы, пока наконец Петром Великим был установлен мир на 200 лет. Но уже в 1918 году, когда мы покидали наш дом в последний раз, в стене комнаты, бывшей кабинетом моей матери, зияла пробоина от орудийного снаряда, выпущенного из германской пушки в Зегевольде.

Люди приходят, воюют и уходят, а величественный и загадочный дух Кремонской долины как был, так и есть и так всегда и будет. Соловьи из года в год будут продолжать петь свои любовные песни, раскаты грома будут продолжать грохотать, отражаясь от берега к берегу, а река неутомимо будет продолжать гнать свои волны, размывая постоянно свои песчаные берега под новое русло.

Большим днем в Кремоне был всегда 29 июня, день Петра и Павла, — имени моего отца. В этот день его стул украшался гирляндой из дубовых листьев, а имевшиеся две бронзовые и четыре чугунные пушки заряжались стариком дворянцем Павловским и к утреннему чаю открывалась канонада, раскаты которой долго передавались из долины в долину. Нас, детей, страшно забавляла эта пальба, особенно когда чугунные пушки, опрокидываясь от разряда, скакали, как лягушки.

Почти рядом с домом начинался сосновый лес могучих старых сосен, какие у нас уже редко встречаются, так называемых мачтовых. Там же от времени до времени открывался вид на долину и этот лес был любимым местом моей матери, где она проводила время иногда часами.

Учиться летом в Кремоне было очень трудно, но распределение дня все же соблюдалось строго. Ровно в 8 часов мы все собирались в столовой и пили кофе с дома испеченным хлебом, а под конец июня появлялась лесная земляника на столе с густыми сливками и сахаром. В полдевятого была молитва в кабинете моей матери, куда приходили и кто успевал из прислуги. Затем полагалось два часа уроков, но это соблюдалось не так строго. Мы обедали обыкновенно в половине первого, причем созывались или собирались в столовой на второй звонок колокольчика. После 3 часов мы обыкновенно, кто верхом, кто на линейке, отправлялись в лес, где и пили чай. Особенно любили мы одно место, верстах в трех от дома, где протекал ручей, который мы прудили плотинами, устраивая пруды с водоппадами, мостами и водяными мельничными колесами, а кто собирал ягоды, цветы или просто лежал под деревом, наслаждаясь блаженством свободы. Но больше всего я любил вечера после ужина, который у нас всегда подавался в 7 часов и обязательно с простоквашей и с черным хлебом. Этих вечеров мне больше всего

на Западе не достает, и их в Ирландии вообще тут нет. Я не знаю, в чем вся тайна наших северных вечеров. В них есть какое-то таинственное, задушевное и бесконечно ласковое настроение. Вы готовы принять и поверить в какое-то неземное блаженство, и вы несколько бы не удивились бы, если тут же перед вами совершилось бы сверхъестественное чудо или явился бы ангел с неба.

Этих вечеров нельзя описать, их надо пережить.

В позднейшие годы мы иногда приезжали в Кремон и зимою, и при окончании образования детей моя мать продала петербургский дом под итальянское посольство и окончательно переселилась в Кремон. Не столько лыжи, как катание на салазках было тогда источником нашего любимого развлечения, и мы достигли большого искусства в этом спорте. Но, к сожалению, этому удовольствию был положен известный предел уездной администрацией после того, как раз, спускаясь по дороге на салазках, мы испугали лошадей почтовой кибитки с пассажиром, пожаловавшимся на нас полицию.

Но и сама река Гауя, или Аа, играла большую роль в нашей жизни. Я в позднейшие годы имел случай проехать по ней в трехдневном плавании, почти от самых ее верховьев мимо города Вольмара и бумажной фабрики Лигат до Кремона в лодке, а несколько лет спустя я с моими тремя сестрами и одним матросом спустились в лодке до устьев нашей реки в Рижский залив. Но море не оказалось для нашей ладьи достаточно спокойным, чтобы проехать в ней до устьев Двины, и мы, пристав к берегу, переночевали под сосной в дюнах и вернулись обратно в Кремон, что против течения было нелегко и заняло целые сутки.

Кроме Мезотена, которое было майоратом и, следовательно, по наследству переходило к моему брату, и Кремона, завещанного моей матери в пожизненное пользование, мой отец задолго до моего рождения купил в Екатеринославской губернии имение Александровское в 15000 десятин земли, заключив с английской фирмой Юза<sup>24</sup> контракт на 99 лет для разработки там залежей каменного угля. Чтобы познакомиться с этим имением, моя мать решила весной 1887 года, с моим братом и мною, в сопровождении ее управляющего Э.Я. Минкельдей поехать на юг до ст. Лозовой, где мы, сойдем с курьерского поезда, остановились в доме управляющего.

В те времена большая часть степи была девственна, не тронута плугом, и езда на тройке по необозримому простору степи была для меня новым, очаровательным открытием. Нам показали место, где плугом, запряженным в 3 пары волов, вспахивалась девственная степь и дальше, где паслось стадо овец в несколько тысяч голов, охраняемых громадными собаками. Повсюду шныряли, прячась в норы, суслики, а на горизонте, в дрожащем от жары воздухе, виднелись миражи озер и каких-то замков. Вид фабричных труб и горнозаводских построек, к которым мы не подъезжали, но видели издали, нарушал однородство и характер картины и известие, что шахтеры бунтуют и там наряд казаков, зародило во мне недоброе чувства к англичанам и к себе за участие в их предприятии.

Это имение, ввиду вичинных англичанами постоянных нарушений договоров и всяких неприятностей, грозивших процессом, удалось продать, и на часть вырученных денег было куплено в Лифляндской губ. имение Смильтен. Это бывшее казенное лесное имение было императрицей Екатериной подарено бывшему тогда лифляндскому генерал-губернатору гр. Брауну<sup>25</sup>, выходцу из Ирландии и, по странному совпадению, оказавшемуся дедом по матери моей жены. По окончании моего образования я поселился в этом имении и потратил много труда, времени и средств на его улучшение. Но, несмотря на все мои старания, отношение к куплен-

ному имению никогда не может сравниться с привязанностью и любовью, которые испытываешь к родному насыщенному месту.

Между тем время подвигалось, и мы, дети, росли, и наступало время решить, куда, особенно мальчиков, направить. Моя мать обратилась тогда к директору III гимназии г. Лимониусу<sup>26</sup>, и тот рекомендовал ей учителя древних языков Александра Андреевича Кеммерлинга<sup>27</sup>, который и стал нам давать уроки согласно программе классической гимназии. Весною каждого года предполагалось при гимназии сдавать экзамены для перехода в следующую класс. Он же рекомендовал прочих учителей по словесности, истории, математике, и было установлено полное расписание уроков на каждый день. Я не берусь судить о пользе и вреде такого учения.

Главная цель, преследуемая моей матерью при выборе этой системы образования, была по возможности долго уберечь от вредного влияния товарищей, в надежде, что при вступлении в высшее учебное заведение мы будем более способны противостоять искушениям мира.

Мне неприятно здесь критиковать поступки и решения моей матери, т.к. они совершались в полном убеждении и стремлении исполнять волю Божию для сохранения наших душ от зла. Но полное отчуждение от мира детей, которые в дальнейшей жизни все равно должны будут вращаться среди этого мира, весьма затрудняет этим самым детям подготовленными вступить в этот мир. Многому, чему не научился в молодости, не научишься в старости, и благодаря этой неподготовленности я испытал на практике немало неприятностей и обид. Я до сих пор стесняюсь при гостях, не умею вести разговора в обществе, и для меня до сих пор трудно входить в гостиную, полную народа, и выходить из нее вовремя.

Такую систему воспитания, чтобы быть в мире, но не быть от мира, возможно проводить только в исключительных условиях, из которых первое — обладать достаточными средствами, а второе — иметь вокруг себя соответствующую среду, а потому она применима лишь в исключительных случаях. В нашем случае оба этих условия были налицо, о результатах же судить не мне.

Говоря и вспоминая о среде, в которой я родился и вырос, я только могу сказать, что в дальнейшей моей жизни я больше не встречал таких чистых, благородных, без всякого лукавства людей поколения семидесятников, столь презираемых людьми двадцатого века. Они мне рисуются теперь, как вековые дубы, которые в лесу, уцелев от пожара и ветролома, окружены молодым ельником и березовыми деревцами.

Не говоря уже о моей матери, я думаю о ее сестре — тете Вере, к которой я всегда ощущал какое-то обожание. Она часто, когда мы были уже в постели, приходила прощаться с нами, и многое из ее слов, замечаний и поступков, сознательно и бессознательно, сделалось руководящими принципами моей долгой жизни.

Елизавета Ивановна Черткова<sup>28</sup>, двоюродная сестра моей матери, служит для меня эмблемой того загадочного редкого явления, которое мы называем "дамой". Когда, в ее молодости, она входила в бальный зал, говорят, все останавливались, любуясь ее появлением. Но и в старости, когда я ее знал, фигура ее была действительно царственной и глаза ее, голос, движения и руки были для меня всегда очаровательны, и тетя Лизина была для меня идеалом. Ее муж, Григорий Иванович Чертков<sup>29</sup>, командовавший Преображенским полком, лишился обеих ног, младший сын, редкой красоты, умер в молодости в ужасных страданиях, а Дима<sup>30</sup>, ее старший сын, сделался ревностным последователем гр. Л. Н. Толстого и как заведующий издательством "Посредник" навлек на себя неудовольство правительства и был сослан за границу. Между прочим, прощаясь с ним по этому по-

воду, я встретил у него Л.Н.Толстого, который на меня произвел холодное и неприятное впечатление, и, как мне показалось, это чувство было взаимно.

Не помню, в каком именно году, я впервые встретил баронессу Матильду Вреде<sup>31</sup>, дочь финляндского губернатора в Або. Будучи еще молодой барышней, она раз вступила в разговор с арестантом, поправлявшим замок в доме ее отца, и впервые узнала подробности о жизни этих людей. Непреодолимое желание больше узнать о жизни арестантов, чтобы по возможности помочь им, заставило ее упрости отца разрешить ей посетить арестантов местной тюрьмы. С этого дня и до конца своей жизни Матильда Вреде посвятила все свое время, силы и средства на благо арестантов. Для этой исключительной работы она и обладала исключительными дарованиями. Один вид ее стройной и тонкой фигуры и выражение ее добрых, больших и пронзительных глаз убеждали вас, что вы имеете дело с исключительным человеком, понимающим вас насковзь, желающим вам добра и без всяких сантиментальностей, преследующим одну цель в жизни: жертвуя собою, любить ближнего как самого себя. Она не однажды проводила по несколько дней в нашем петербургском доме и на отдых приезжала раза два к нам в Кремон.

Проездом в Стокгольм, осенью 1903 года, я в Або зашел к Матильде Вреде. и мы весь день провели с ней в каторжной тюрьме Какола, где я познакомился с очень многими из ее друзей и принял участие в их обеде. День этот остался мне памятным на всю жизнь, и для себя я его провел с большею пользою, чем если бы мы вместе посетили оперу, пообедав в наилучшем ресторане. Многие из моих новых знакомых были глубоко верующими людьми, с добрым и счастливым выражением в глазах, и я ясно почувствовал, что я ничем не лучше, а пожалуй, хуже многих из них и только случайно избегаю их участи сидеть за решеткой.

Когда пятнадцать лет спустя я в последний раз покидал навсегда Россию, я заехал в Гельсингфорс и зашел к Матильде Вреде, она сидела в кресле, окруженная подушками, ожидая перехода в лучший мир. Я считаю, что для меня это было великим счастьем встретить такого исключительного человека, каким была Матильда Вреде, в моей жизни, и ее пример был для меня решающим и направляющим светилом на моем пути.

В числе лиц, к которым я относился с особым уважением, был мой крестный отец и опекун по смерти моего отца и двоюродный брат моей матери граф Константин Иванович Пален<sup>32</sup>. Он в царствование императора Александра II в качестве министра юстиции провел реформу суда и сумел поднять состав судебного ведомства на небывалую высоту. Он в разговоре мог быть чрезвычайно интересным, особенно когда касалось вопросов начала XIX века, от которого у него сохранились интересные письма.

Возвращаясь к вопросу о нашем воспитании и образовании, я должен сказать, что мой брат был прилежнее и способнее меня и, переходя из класса в класс, учась дома, выдержал в 1891 году экзамены на аттестат зрелости и поступил на юридический фак лютет при Петербургском университете; меня же окончательно погубили древние языки, особенно неправильные греческие глаголы. Наконец было решено, чтобы я продолжал ученье согласно программе реального училища.

Я не понимал, какой смысл терять сотни часов, уча мальчиков мертвым языкам, когда имеются точные переводы древних писателей, которые, говорят, так облагораживают : азвивают правильное и философское мышление человека. Почему надо непременно читать их произведения на их языке, знания которого редкие ученики достигают в достаточной степени, чтобы вполне постигать смысл и красоту оных? Не гораздо ли важнее знакомить мальчика с законами окружающей природы и открывать его глаза на удивительный мир чудес и гармонию, которую открывают нам науки физика, химия, геометрия и математика?



Как интересны ботаника, зоология, астрономия, как важно образованному человеку быть знакомым с ними.

Во всяком случае, перейдя на курс реального училища, я наконец увидел свет и в 1894 году благополучно и довольно хорошо сдал выпускной экзамен, и предомной предстал вопрос — куда дальше?

Мой брат в это время, окончив университет с серебряною медалью за сочинение по международному праву, поступил вольноопределяющимся в кавалергардский Е<го> величества полк и, выдержав экзамены на офицера, остался в полку.

Прежде, нежели идти дальше, я хотел бы вспомнить, что после нашей поездки в Крым в 1887 году мы с братом и нашим воспитателем совершили ряд путешествий, из которых первое, кажется, в 1889 году в Австрийские Альпы, а в следующем за тем году в Норвегию.

На обратном пути наш пароход подъехал к Лофотенским островам, и я, рано утром выйдя на палубу и увидав их, бросился будить моего брата, думая, что мы подъезжаем к ним, но они до того громадны и далеко видны на море, что прошло несколько часов, прежде нежели мы действительно подъехали к островам. Капитан, казалось, нисколько не убавляя хода, прямо шел навстречу скале, как вдруг, повернув в сторону в узкий проход, открывшийся перед нами, провел нас благополучно через лабиринт островов.

Это произвело на меня глубокое впечатление, и часто, находясь в безвыходном положении и вспоминая про этот эпизод, я утешал себя мыслью, что капитан, управляющий моей ладьей, знает выход и из данного положения.

Между тем месяцы усиленного учения и приятных каникул составляли, накапливаясь, годы, и незаметно предстал перед нами вопрос о нашей конфирмации. Мать моя в некоторых вопросах не соглашалась с учением лютеранской церкви и, списавшись с одним пастором в Швейцарии, решила всей семьей, кажется, летом 1890 г. отправиться в Тун в Швейцарии, где мы прошли бы надлежащий курс.

Я надеюсь, что на том свете меня не спросят, был ли пастор Тофель кальвинист, лютеранин или католик, но я, откровенно говоря, не знаю, в чем их разница, но я убедился, что наш учитель был глубоко убежденный христианин, а остальные подробности, по моему убеждению, человеческие перегородки, не достигающие до неба.

По возвращении из Швейцарии в Петербург жизнь наша пошла установленным порядком, но под Рождество со мною сделался обморок и проф. Керних<sup>33</sup> установил у меня расширение сердца и воспаление его оболочки и прописал мне самый строгий, монашеский образ жизни и сказал, что это меня освободит от исполнения воинской повинности, чему я был чрезвычайно рад, не питая никаких симпатий к этому ремеслу. Прописанный мне режим оказался для меня лучшей защитой от всяких искушений дьявола. По природе и по наследству от семьи Паленов, которая имела знаменитый водочный завод в Экау и говорила, что вода полезна только для мытья, я охотно пью вино и, не обладая большой силой воли, легко бы взял привычку пить. И остальные некоторые правила монашества оказались для меня полезными, сохранив меня от некоторого отклонения от прямого пути истины.

Конечно, и от многого другого мне пришлось отказаться, как от гимнастики, игр и телесных напряжений. Я мальчиком мог, не задыхаясь, бежать по три версты рядом с едущим рысью экипажем, но и без всего этого можно жить и быть счастливым. К счастью, этот образ жизни не помешал мне окончить курс реального училища, и я очутился перед большим вопросом, куда дальше? Я стоял на перепутье. Перебирая все возможности выбора пути и отбросив все те, к которым я не ощущал никакого притяжения, я пришел к убеждению, что больше всего я люблю

наблюдать за сооружением и постройкой реальных ценностей. Быть врачом мне никогда не приходило в голову, к юридическим и историческим наукам я был более чем равнодушен, а к военной карьере я относился откровенно отрицательно. Таким образом, оставалось только зодчество, для изучения коего у нас были Технологический, Горный, Гражданский и Институт инженеров путей сообщения, куда я и решился подать прошение, что при моих слабых способностях к математическим наукам был с моей стороны необдуманной и очень рискованный шаг, и я до сих пор удивляюсь, каким образом после пяти лет усиленной работы мне удалось получить диплом инженера по 1 разряду.

Первые три курса были для меня самыми тяжелыми, и только перейдя на IV курс я почувствовал себя счастливым. Но самой привлекательной и для дела полезной стороной всего курса была обязательная летняя практика на работах в стране. Благодаря ей я познакомился вблизи на месте с действительной работой, проведя одно лето на постройке дороги в Воронежской губ., другое на приеме работ на Самарканд-Андижанской ж.д. в Голодной степи и третье — на изыскании Северного Сибирского пути в Костромской губернии.

Сдав весной 1895 года экзамен, хотя и с двумя переэкзаменовками, мы до начала каникул должны были в окрестностях Петербурга исполнить ряд геодезических работ вроде разбивки кривых, нивелировки, ловли солнца секстантом и измерения расхода воды в рукавах Невы, что заняло недели две.

Приятно было вернуться, после пережитых экзаменов и тяжелых трудов, в Кремень и отдыхать там на лоне природы. Так прошло первое лето моего студенчества, и под конец его мы всей семьей объехали имения наших ближайших родственников, которыми полна была Курляндия.

Печально думать, вспоминая всю красоту каждой отдельной усадьбы, этих старинных домов, где собраны были стараниями и с любовью поколений столько семейных воспоминаний, предметов искусства и приятной роскоши, где в каждой комнате был особый запах старинных книг, букетов цветов или специальных духов, и люди, жившие среди всего этого, так просто и гармонично составляли часть этой обстановки, как будто все пошлое, грязное и поддельное их не касалось и они рождены были быть господами, что все это бесследно и навсегда пропало, как потонувший мир.

Ах зачем, да зачем так жестоко  
Был разбит и разрушен тот мир,  
Вознеслись ли мы слишком высоко,  
Или был он для нас наш кумир?  
Что прошло, не вернуть уж обратно,  
Что упало, того не поднять.  
Нас куда-то несет без возврата,  
Но судьбы нашей нам не понять!

Второй год моего студенчества не был легче первого, и мне пришлось брать частные уроки по математике, но, в общем, работа была интересная, и мне удалось перебраться на III курс. В это время в Воронежской губ. строилась ветка Юго-Восточной ж.д. от ст.Графской до Унжи, куда я и устроился практикантом. Этот мой первый выход в свет из дому был довольно неудачен. Мой начальник был очень милый и добрый господин, и в служебном отношении я старался все делать, что мне поручалось, но в светском отношении я оказался совершенно неподготовленным к требованиям жизни и обстановки, и я думаю, что жена моего начальника была рада, когда осенью я наконец убрался. Она страстно любила играть в вилет, ожидала от студентов, приезжавших с других участков, ухаживаний за ней, и я, не понимая их двусмысленных шуток, не разбираясь в картах и не

умея ухаживать, был лишним и нежелательным элементом. Я и сам был в этом виноват и, проживши на свете, теперь сумел бы себя поставить лучше, но первый мой опыт был очень неудачен, и я мало чему научился по моей работе и был очень рад осенью вернуться наконец домой. Зато в следующем году, при переходе на IV курс, я получил работу на строящейся Самарканд-Андижанской ж.д. в Туркестане.

Приятно теперь вспоминать о минувших переживаниях, но переживать их тогда было не всегда весело. Сидя иногда с моим товарищем на земле на наших кошмах в юрте, мы вспоминали о разных блюдах, которыми дома нас угощали, о простокваше, о мороженом и считали себя мучениками, удивляясь, привыкнем ли мы скоро по возвращении домой к приличному поведению или будем все ненужное выплескивать на пол, как здесь мы все выливали за юрту.

Помню, как раз, вставши до рассвета для утреннего туалета, я зачерпнул ведром воды из колодеза, намылил себе голову, но не мог ее больше сполоснуть, т.к. верблюд, от расположившегося рядом с нами на ночь каравана, подошел незаметно к моему ведру и выпил все его содержимое. Я стал его отгонять, но он, посмотрев на меня злыми глазами, стал плевать на меня. Я тогда зачерпнул снова ведро, чтобы окончить туалет, но в это время подошел второй верблюд и тоже выпил все ведро до дна, и, к моему ужасу, я увидел, что весь караван стал подниматься, направляясь ко мне. Я тогда, схватив ведро, отступил с сохранением собственного достоинства, с намыленной головой и с недобрим чувством к кораблям пустыни, предоставив самому караванбеку поить своих верблюдов.

При встрече в степи с кочующими киргизами я всегда старался раздобыть у них кумысу, удивительно утоляющего жажду, от которой постоянно страдаешь ввиду жара. При этом, конечно, не надо слишком строго относиться к степени чистоты сосуда, в котором вам подают кумыс. Когда я раз попросил "су" (воды), чтобы сполоснуть чашку, хозяин снял с головы свою чалму и вытер ею чашку.

Окончив раз работу и увидав в степи киргизский табор, я отправился туда выпить кумысу. Увидав на земле лежащую палку, я удивился ей как редкому предмету в степи, но палка оказалась змеей, которая сразу куда-то исчезла. К счастью, в степи змеи редко встречаются, но довольно много черепаш, которых охотно едят орлы, предварительно бросая их с известной высоты, чтобы разбить их скорлупу. В таборе меня пригласили сесть на кошму и принесли кумыс. Женщины и дети меня обступили со всех сторон, ощупывая мою одежду и примеряя шапку. Расплатившись, я хотел уйти, но они меня задержали, пока не подъехал киргиз верхом и пригласил меня сесть на круп его лошади, и я был отвезен к моей юрте. Люди эти показались мне очень добродушными, и я очень жалел, что не имел возможности объясниться с ними.

Можно заполнить тетради описанием этой пестрой, разношерстной толпы, этих лавок с купцами в чалмах и пестрых халатах и все же не получить того впечатления, которое имеешь, попав сам в эту обстановку. Это восток как таковой, и чувствуешь, что когда он проснется, будет страшно. Меня туда занесло каким-то чудом, и я благодарю судьбу за то баловство. Я много лет спустя был в Мукдене, но Бухара куда интереснее.

Дома меня почти не узнали — до того я загорел и оброс, а мне даже полуденный свет казался полумраком после солнца и света в Туркестане. К домашним обычаям я вернулся скорее, чем боялся, и через две недели я способен был ехать на курс.

Если IV курс и требовал усиленной работы и огромного количества чертежа, все же предметы сами по себе были более живыми и интересными, и я весной благополучно перешел на последний курс. Но как раз во время экзаменов нас по-

стиг неожиданный удар. Мой брат, будучи офицером кавалергардского полка, женился на княжне Серафиме Николаевне Салтыковой<sup>34</sup>, премилой барышне, которую мы все очень любили, но при родах ее дочери Имы<sup>35</sup> она заразилась родильной горячкой и скончалась, к великому горю моего брата и всех нас.

По окончании моих экзаменов мне снова предстояло подыскать себе летнюю практику, и я нашел такую на изысканиях проектируемого тогда так называемого Северного Сибирского пути, т.е. из Петербурга на Галич, Вятку, Екатеринбург в Челябинск. Концессию на изыскание, между прочим, получил Савва Иванович Мамонтов<sup>36</sup>, контора коего находилась в Москве, куда я и подал прошение и был принят нивелировщиком в партию на участок от Галича до р.Унжи в Костромской губ. длиной около 200 верст. Партию должен был вести Борис Владимирович Кра-син<sup>37</sup>.

Возвращение на V курс института было событием особого рода. Интересна была встреча с товарищами, съехавшимися со всех концов России. Кто побывал на постройке Восточно-Китайской ж.д. в Маньчжурии, другие работали по водяным сообщениям на Волге, одни возвращались из Туркестана, другие из Армении. Все рассказывали с интересом и гордостью, о достижениях своей работы, и загорелые и живые лица их свидетельствовали о том, что они не проводили лета у себя на даче. Гордое сознание, что мы все послужили на пользу родины и собрали на местах много новых впечатлений и знаний страны и людей, воодушевляло нас приняться с новой силой за работу для достижения давно намеченной цели.

Выпускной экзамен был чисто формальный и скорее сводился к защите проектов. Но странно — он мне не дал никакого удовлетворения. Выйдя из двери института ИПС с дипломом инженера-строителя по 1 разряду, я только испытывал чувство, что я ровню ничего не знаю и что мне теперь делать?

Это очень странное явление, которое я часто наблюдал, что усилия и расходуемая энергия для достижения цели дают гораздо больше удовлетворения, нежели само достижение цели. Я думаю, что при достижении цели вы слишком хорошо знаете детали подступа к цели, и вы сознаете, насколько они далеки от идеала, которым вам самим рисовалась цель.

Убеждение, что вы не достигли действительной цели, а только его миража, отвращает всю радость достижения, и ненахождение истины, конечно, не может удовлетворить ее искателя.

Я могу откровенно сказать про себя, что я все пять лет старался работать сколько мог, но многие науки были мне недостижимы и программа учения куда слишком обширна и многостороння для человека средних способностей. Из нас хотели сделать универсальных инженеров, а получились дилетанты. У нас утверждали, что если сегодня нам задали бы составить проект броненосца, он к сроку был бы изготовлен. Инженерное дело ушло слишком далеко, чтобы знать все о железных дорогах, каналах, мостах и гражданских сооружениях, и к чему этот груз высшей математики, когда для каждого вопроса есть ответ в справочных книгах и таблицах. Гораздо важнее уметь в них находить нужное, чем самому, творя время, изучать теорию вероятностей, которую вы, вероятно, забудете при выходе от экзамена.

Это же разочарование испытывал я всякий раз и в дальнейшей жизни при окончании всякой большой работы, которой я предавался всей душой. После постройки больницы, по возвращении нашего лазарета из Маньчжурии, после постройки подъездного пути в Лифляндии и т.д. я слишком хорошо знал все ошибки и недостатки совершенной работы и как она далека от представлявшейся мне цели, чтобы радоваться тому, что непосвященным казалось хорошо, а я знал, что это худо. И теперь, озираясь

на всю мою долготелную жизнь, я могу только сказать, что как я был, я так и остался дилетантом. Работа, которую я в теории и на практике действительно исполнял и любил, есть изыскательная и при исполнении этой работы я действительно находил удовлетворение и удовольствие. Сознание, что ты создаешь новый путь сообщения, по которому взад и вперед будут двигаться несметное количество пассажиров и всякого рода товара и что для этой цели ты ведешь свою партию, как мирный полководец ведет свою армию, имело для меня всегда огромную прелесть и утешение, что этим ты творишь полезную работу.

1899 год в летописи высших учебных заведений будет, наверное, значиться как один из беспокойных и бурных годов дореволюционного периода, и это был тот год, когда мне надлежало закончить мое образование. По поводу исключения какого-то студента из Петербургского университета, подробности какого инцидента я не помню, произошли беспорядки, против которых были приняты соответствующие меры со стороны правительства. Из симпатии к товарищам-студентам заволновались и другие учебные заведения, пошли повсюду собираться сходки со всякими дикими решениями, что кончилось наконец закрытием почти всех высших учебных заведений на неопределенный срок. К счастью, в наших чертежных работа продолжалась, но выпускные экзамены были отсрочены до конца июня и общее настроение было подавленным.

Так кончилось, с концом века, и мое образование и открылась новая неиспанная страница моей жизни.

Остаток лета и осень я провел в Смилтене, где я стал заниматься подготовкой работы по сооружению электрической станции, больницы на 28 коек, а после Рождества, до встречи с моими тремя сестрами в Берлине, я объехал некоторые города Германии, навесил нескольких знакомых. В Берлине я встретил моих сестер в гостинице с горничной моей матери и с кучей багажа. Испугавшись этого количества, я упрощил их пересмотреть весь багаж и вернуть лишнее с горничной, взяв только нужное с собой. Операция эта прошла очень благополучно, и с облегченным багажом мы на следующий день были в пути в Баден-Баден, где жила наша тетя Таня Гагарина<sup>38</sup>, а горничная с багажом вернулась домой.

Мои три сестры и я, из которых по годам я был старшим, были все возраста от 20 до 25 лет и только что окончившие свое образование. Путешествие это являлось как бы заключительным актом, и мы, как отпущенные на свободу и снабженные соответствующими средствами нашей матерью, провели действительно три безоблачных счастливых месяца в чудном путешествии по Италии, вернувшись домой через Грецию, Константинополь и Одессу. Путешествовать молодыми, без забот о средствах, без спешки, в приятном обществе, действительно самое приятное удовольствие жизни, и я могу сказать, что мы все четверо воспользовались в полной мере этим случаем, собрав на всю предстоявшую нам жизнь неизгладимые впечатления и воспоминания о виденных красотах природы и искусства и встречах с людьми самых различных народностей, взглядов и нравов.

В начале июня мы вернулись благополучно в наш Кремон, богатые самыми лучшими воспоминаниями о совершенном чудном путешествии и счастливые быть опять дома с нашей матерью.

Мне, как владельцу имени Смилтен, надлежало явиться в Ригу на созванное тогда Дворянское собрание (Landtag) и как новичку, представиться предводителю (Landmarschal von Meyendorff)<sup>39</sup> очередному ландрату (Residierenden Landrat) (v. Oettingen)<sup>40</sup> и остальным членам Ландратской коллегии (das Landratscollegium) и уездным депутатам (Kreisdeputierte).

В те времена три Остзейские провинции: Эстляндия с гор.Ревелем, Лифляндия

дия с гор. Ригой и Курляндия с гор. Митавой, а кроме них остров Эзель с г. Аренсбургом, управлялись Дворянскими учреждениями со времени шведского владычества и учреждениями, утвержденными Петром Великим по Ништадтскому миру 1721 г.

В Лифляндской губ. Ландратская коллегия исполняла более или менее обязанности Земской управы центр. губерний, т.е. содержала почтовые лошадиные станции, заведовала дорожным капиталом, наблюдала за тюрьмами и больницами и т.д.

От каждого уезда избирался депутат. Всего 12 человек, которые по приглашению предводителя дворянства и под его председательством собирались в Доме дворянства (Ritterhaus) в Риге на совещание (Convent). Решения этого совещания передавались в совет 12 ландратов, которые давали свое мнение о деле для окончательного решения Дв. собрания (Landtag), созываемого от времени до времени. Меня, очень против моей воли, выбрали в депутаты от Венден-Валкского уезда, что связано было с известной перепиской, к которой я чувствовал себя совершенно неподготовленным, т.к. по образованию и воспитанию я вырос в другом духе и другой среде, чем то, что я нашел в Риге. Кроме того, я был лишен и намека на ораторский талант, которым обладали почти все мои новые коллеги, что меня весьма стесняло и я чувствовал себя довольно несчастным в своем новом звании.

Дома я энергично принялся за проект больницы и, выработав подробный план с разрезами и фасадом, приступил уже тою же осенью к копанью котлована под фундамент и дренажа кругом его, а рабочие стали подвозить с полей камни для бутовой кладки. В то же время я вступил в переговоры с фирмой Сименс и Гальске об устройстве силовой станции, пользуясь заездом речки Аббуль, протекающей через Смилтен. В этих работах прошли два года, и осенью 1903 года больница была открыта.

Трудно себе представить то огромное количество крупных и мелких предметов, необходимых для оборудования вновь построенного дома, а еще больше больницы на 28 коек, как было в данном случае.

Постели были выписаны из Варшавы, посуда заказана в Риге у Кузнецова<sup>41</sup>, белье куплено у Шейбера<sup>42</sup> в Риге, столы, стулья и шкафы сделаны были большею частью дома, а центральное отопление и водоснабжение с ванными поставила одна фирма в Риге. Одна престарелая особа из Смилтена взялась вести хозяйство, смотреть за бельем и выдавать провизию, а две диакониссы рижской общины ухаживали за больными. Кроме того, нанята была кухарка, судомойка и приставлен дворник. Сперва был взят хорошо мне знакомый врач, но он не оказался подходящим и пришлось его заменить молодым хирургом, под управлением которого дело пошло лучше и больница почти всегда была полна.

После утверждения устава и освидетельствования больницы медицинским инспектором настал день открытия. Приехала моя мать, мои сестры с Матильдой Вреде и несколько соседей, и перед собравшимся народом пастор прочел молитву и я по-латышски сказал короткое слово и объявил больницу открытой, после чего гостям был предложен больничный обед с квасом.

Сперва, конечно, было очень мало работы, но с годами дело пошло очень успешно и больница приобрела добрую славу по всей окрестности.

Но при постройке больницы я убедился, насколько бедно было мое знание по архитектуре, и я решил пополнить его изучением шведской архитектуры на месте. Списавшись с одним архитектором в Стокгольме по имени Линдбер я осенью того же года поехал туда, по дороге остановившись в Або, как я упомянул о том уже раньше.

Проработав у него месяца три, я успел спроектировать под его руководством

несколько домов различных типов, между прочим, один деревянный дом в древнем скандинавском стиле, который мне очень понравился.

Но в начале февраля я, возвращаясь в Стокгольме вечером домой, прочел экстренную телеграмму, что японцам удалось в Порт-Артуре взорвать несколько русских судов<sup>43</sup>. Известие это было так радостно принято шведами, что мне неловко было дольше оставаться в Швеции, и я, распрощавшись с моим архитектором и учителем, уехал домой.

Приехав в Петербург, я узнал, что Лифляндский Кр. Крест готовит полевой лазарет для посылки его в Маньчжурию, и что нашему соседу по Кремену князю Кропоткину<sup>44</sup> было предложено принять должность уполномоченного одного, но что он от этого отказался. Тогда я предложил свои услуги и был принят.

Моя старшая сестра поступила тогда на сокращенный курс сестер милосердия при Евгениевской общине, и на 15 апреля 1904 года был назначен день отправления лазарета из Риги на Дальний Восток.

Кроме уполномоченного и заведующего хозяйством кап. Скалона<sup>45</sup> в личный состав лазарета входили пять врачей, аптекарь, 15 сестер и 25 санитаров<sup>46</sup>.

К назначенному сроку все было готово и уложено, к 10 апр. я с сестрами представлялся в Аничкинском дворце императрице Марии Федоровне, а вечером, пообедав с ними у моей матери, мы уехали в Ригу.

Начальник Риги-Орловской ж.д. инженер Дараган<sup>47</sup> любезно предоставил в наше распоряжение один вагон II и один III класса, а в трех товарных вагонах было уложено все имущество лазарета, состоявшее кроме белья, инструментов и прочих принадлежностей еще из складного барака и рентгеновского аппарата.

30 дней и ночей длилось наше путешествие до ст. Урульчи в Забайкалье на границе Маньчжурии, где нас продержали 6 недель в резерве.

Только в конце июня получили наконец телеграмму и то срочно, минуя Харбин, следовать на восток и развернуться на ст.Эхо.

Шестинедельное сидение в ожидании начала работы в Урульчи было, с одной стороны, приятным отдыхом после месяца, проведенного в вагоне но, с другой стороны, все рвались начать работу, и нам скоро надоело праздно гулять по сопкам Забайкалья.

Путешествие от Урульчи по Восточно-Китайской ж.д. через Хинган мимо Цицикара, Харбина до ст.Эхо на реке Муданьцзянь заняло ровно 10 дней. Но не успели мы приехать в Эхо, как получили известие, что к нам направлен санитарный поезд с 400 ранеными. Оказалось, что в это время разыгралось кровопролитнейшее сражение под Даминчао.

Первые дни, после столь быстрого начала работы в лазарете, были всякие задержки, недоразумения и недочеты, но жизнь и работа скоро установилась в своем порядке и условия для успешной деятельности полевого лазарета оказались в Эхо более удачными, чем можно было ожидать. Сестры и санитары оказались на высоте своего призвания, только наши хирурги были недовольны отдаленностью от фронта и старались добиться перевода лазарета ближе к фронту. По этому вопросу у меня со старшим врачом<sup>48</sup> произошло разногласие, и он со своей женой нас вскоре покинул и я больше о них и не слышал. Из Риги пришло распоряжение назначить старшим врачом нашего доктора Фиргуфа<sup>49</sup>, кем он и остался до конца. Воспользовавшись наступившим долгим затишьем на фронте, я отправился в Мукден, где тогда была главная квартира Куропаткина и где я встретил Александровского<sup>50</sup>, главного уполномоченного Кр. Креста, д-ра Боткина<sup>51</sup> и Родзянко<sup>52</sup>, имевшего летучий лазарет.

Работой нашего лазарета в управлении были довольны и просили по возмож-

ности отделить из нашего отряда двух сестер и трех санитаров с нашим переносным баракон, в котором мы не нуждались, живя в постоянных хороших казармах.

По приглашению знакомого офицера я одно утро отправился на фронт, бывший тогда на р.Шахе. Мы с ним взобрались на Путиловскую сопку. Заметив нас, японцы пустили по нам три шимозы, но, к счастью, все три были с перелетом, и я должен сознаться, что за это утро я изобразил три очень глубоких кникса.

В Мукдене же, расположенном верстах в трех от станции, встретил я своего родственника доктора бар.Будберга<sup>53</sup>, глубоко уважавшего учение Конфуция и все китайское и говорившего на их языке. Он меня уговорил с ним пройтись в Мукден и, переночевав там в китайской гостинице, вернуться утром на станцию. Спать пришлось на кане — это совсем низкая печь, опаливаемая снаружи соломой гаоляна и покрытая кошмой. На дворе стоял мороз и бумажные окна мало защищали от холода, а кан был так натоплен, что от жары нельзя было долго лежать на одном боку. Ночью мулы во дворе сорвались с привязей, и толпа китайцев с криками пробежала через нашу комнату разнимать мулов. Утром товарищ уверял меня, что великолепно выспался, но, по честности, я должен был остаться при особом мнении. Завтрак для меня прошел тоже без пользы. Вооруженный двумя палочками, я ничего из дюжины тарелочек, расставленных на столе, не мог донести до рта. Я попросил дать мне рису с ложкой. Но и этим я едва мог воспользоваться, ибо ложка изобразила собой длинный прямой стержень с малюсеньким пустым полушарием на конце, и мне пришлось удовлетвориться чашкой чая с крышкой без ручки.

Я очень жалею, что не съездил на могилы китайских императоров вблизи Мукдена, но, как это часто бывает, откладываешь в надежде вернуться другой раз, а этот другой раз очень часто, как было и в моем случае, больше не бывает, et la moral de cette histoire est, что имеешь делать, делай сейчас.

По возвращении в Эхо, мы решили выделить отряд из двух сестер и трех санитаров и отправить их в Мукден с нашим складным баракон.

Спустя некоторое время моя сестра отправилась навесить наших двух сестер в Мукдене, и после ее отъезда пришла телеграмма от одной сестры Георгиевской общины из санитарного поезда императрицы Марии Федоровны со станции Ханьдаохедзы, что она приедет в Эхо ночью того же дня с посылкой из дому.

Не могу сказать, что телеграмма эта меня бы особенно обрадовала, т.к. никакой сестры Таубе<sup>54</sup> я не знал и в отсутствие моей сестры занимать следующий день неизвестную мне женщину мне вовсе не улыбалось. Я просил одну из наших сестер обожать прихода поезда, приготовить ночлег и чай для гости, а сам шел встречать поезд.

Было около полуночи, когда ожидаемый поезд загредел на мосту и, приближаясь к нашему переезду, стал замедлять ход. На площадке проезжавшего вагона знакомый мне офицер пограничной стражи крикнул мне, что в следующем вагоне едет к нам сестра Георгиевской общины, и я увидел ее готовой прыгнуть, т.к. поезду не пришлось бы остановиться. Я успел подать ей руку и проводить ее до наших домов, где сестра наша нас ожидала с самоваром.

Вопреки моим опасениям, наша гостья мне сразу очень понравилась, и стеснение, которое я обыкновенно испытываю при разговоре с барышней, вовсе не было, и на следующий день мы имели настолько интересные разговоры, что между нами, после ее отъезда на следующий день, завязалась переписка, а при возвращении моей сестры из Мукдена я должен был ей сказать, что за время ее отсутствия я, кажется, потерял часть своего сердца.

Для получения средств для содержания лазарета мне каждый месяц приходи-



лось ездить в Харбин и отправлять отчет лифляндскому губернатору в Ригу и разыскивать вагон, если нам присылали пополнение.

В то время на одной узловой станции Харбина было более ста верст путей, на которых мне часто приходилось разыскивать адресованный нам вагон. Почти всегда при этих розысках мне случалось где-нибудь встретить белый санитарный поезд императрицы Марии Федоровны, причем я не терял случая заглянуть в него. Встреча <...> 28 марта 1905 года имела решающее для меня значение. Боясь опоздать на поезд, отходивший по направлению Владивостока в Эхо, я вышел из белого поезда женихом.

Мы решили сохранить наше решение в тайне до окончания войны, и, вернувшись как во сне в Эхо, я продолжал мое обычное времяпрепровождение.

Благодаря сравнительной близости нашего лазарета от Владивостока и чрезвычайной любезности помощника коменданта крепости ко всему нашему персоналу мы стали смотреть на этот город как на место отдыха и перемены от однообразной и уединенной жизни в Эхо. Как воспоминание о Владивостоке наш милый полковник подарил моей сестре большого, очень добродушного пса Самсона, которого при возвращении домой мы взяли с собою и привезли его в Кремен.

Под Рождество из Риги нам было прислано так много подарков для наших солдат, что мы решили устроить им елку. Елка наша удалась великолепно, к общей радости солдат и персонала, а наша китайская прислуга, повар и кучер и три "бойки", благоговейно стоя позади и смотря на зажженные свечи на разукрашенной елке, думали, что мы молимся нашему Богу.

Ужасная битва на р. Шахе, с фронтом в 100 верст, и сдача Мукдена были днями уныния и последней усиленной работы. Этой битвой и кончилась собственно деятельная война и наш лазарет превратился в какую-то санаторию, куда, ввиду здорового климата, вдали от фронта, стали присылать сестер, уставших с работы, на отдых. Состав наших сестер, работавших уже год, сильно поубавился, и их пришлось заменить сестрами резерва. Такими прибыли к нам, кажется, шесть сестер Кауфманской общины. В смысле их технической подготовки они не были на высоте рижских сестер, прошедших долгую муштровку больничной работы, но с душевной точки зрения, по их взаимному отношению друг к другу и к солдатам, сразу была замечена разница душевной теплоты между русской и латышской<sup>55</sup>, и в палатах повеяло новым духом.

Раз весной насуже утром поразило дерзкое и грубое поведение китайцев и нашей прислуги, и мы от них только могли понять, что "луски шипоко ломайло", из чего можно было заключить, что русские потерпели большое поражение, и лишь гораздо позже мы узнали страшные подробности о Цусиме.

Зная и видя, что у Ливевича в это время стояла свежая армия в миллион солдат, что японцы израсходовали все свои последние силы, мы не могли понять, почему мы бездействуем и не переходим в наступление, а готовимся заключить позорный мир. Правда, что нам все чаще приходилось встречаться с прокламациями городских и земских организаций, подтачивавших все мероприятия правительства

Новых поступлений после Мукденского боя раненых не было, и жизнь в лазарете шла спокойно, мирным порядком, как в санатории, и посещение наших гостей было очень приятно и уютно. В июне санитарный поезд и.М.Ф. ушел в Россию и я был обречен на переписку.

Нудно тянулось лето, а слухи, приходившие с Запада, звучали все хуже и хуже. После столь несчастливой войны известие о заключении мира никого не обра-

давало и, хотя мы и были рады мысли вернуться домой, чувство стыда и позора угнетало всех.

В самом конце сентября мы получили предписание сдать оставшихся раненых и больных в ближайший военный госпиталь, а самим, свернувшись, ждать дальнейших распоряжений.

Наконец, настал день покинуть Эхо и, простившись с милым комендантом, которому мы были многим обязаны за всестороннюю помощь, оказанную нам в обслуживании нашего лазарета, и с нашими китайцами, из которых некоторые непременно хотели ехать с нами, мы, сложив все наше оставшееся имущество в товарные вагоны, разместились по местам в поезде.

За время войны была закончена Кругобайкальская ж.д. южного берега, где на расстоянии, вероятно, менее 100 верст прорыто около 80 тоннелей. Кроме того, вдоль всего Великого Сибирского пути было построено большое количество развязок, чем в высокой степени была усилена пропускная способность дороги. Но зато ужасное зрелище представляло собой большинство станций и их постройки. На многих из них были выбиты окна и двери, повсюду валялись обломки мебели, посуда и всякий хлам и, чем дальше на запад, тем хуже. До Уфы наш поезд еще придерживался расписания, но дальше мы стали двигаться все тише и тише, потом пошли без огней и наконец, придя на какую-то станцию, между Уфой и Сызранью, мы остановились. Было около 10 октября, а на станции набралось били 7 поездов, переполненные всякого рода пассажирами. К нам проникали самые дикие слухи из России. Рабочие из депо все время собирались на сходках, галдели, ругались и грозили. Вагоны не убирались и слабо освещались. Поездную прислугу надо было называть товарищами, а по ночам слышались выстрелы. К счастью, съестных припасов хватало в станционном буфете, и на десятый день нашей стоянки пронесся слух, что манифестом от 17 октября государем был обещан созыв Государственной Думы, и наконец прибыл к нам первый поезд с запада с какими-то депутатами, которые объявили конец забастовки. Наконец и наш поезд тронулся и понесся как сумасшедший по направлению к Сызрани, и я только удивлялся, как мы целыми доехали дотуда, но войти в станционное здание было невозможно. Стулья, столы и весь пол были так густо заняты лежащими, сидящими и стоящими, что и пола нигде не было видно, и ничего не оставалось делать, как стоять на месте и ждать, что будет. В конце концов и наш поезд тронулся, и мы дотащились до Москвы.

Быть в Москве и не зайти к моей невесте и не представиться ее родителям было невозможно, и потому я просил кап. Скалона сопроводить лазарет в Ригу, куда я постараюсь прибыть два дня спустя, и, простившись со всеми, уехал.

Полтора года, проведенные мною на Дальнем Востоке, и трехнедельное путешествие при вышеописанных условиях не содействовало украшению моего внешнего вида, но, не имея во что переодеться, я принужден был явиться к моей невесте и представиться ее родителям таким, каким был.

Мой будущий тесть Николай Эрнстович барон Таубе<sup>56</sup> был в то время председателем Московской судебной палаты, очень почтенный и милый старик, с белой бородой, а моя будущая теща Софья Артуровна, рожд. Келлер<sup>57</sup>, была очень представительная и чрезвычайно добрая и любящая дама, которая, невзирая на мой растрепанный вид, меня приняла, как родного.

Их единственную дочь Наталию Николаевну, мою невесту, нашел я еще не оправившеюся от года работы на санитарном поезде, она переутомилась и должна была лежать в постели, но была очень рада моему приезду.

Оказанный мне прием в Москве меня глубоко тронул, и я почувствовал себя в Ваганьковском переулке сразу дома. К сожалению, я должен был уехать из Моск-

вы на второй день, т.к. мне необходимо было сдать в Риге отчет по лазарету, по-видать своих и устроить мои личные дела.

Возвращение домой после полутора лет столь несчастной и кровопролитной войны было очень печально, и я хотя и был рад встретить мою мать, сестер и брата и быть наконец дома, но настроение было очень встревожено постоянными убийствами, грабежами и пожарами по всей стране.

В Риге я застал нового губернатора Пашкова<sup>58</sup>, очень милого, но тяжело больного человека, и ему, как Председателю Лифляндского Кр. Креста, я передал мой отчет как уполномоченного Лифляндского полевого лазарета, и мог ему вручить еще значительную сумму как остаток подотчетных денег. Это было мне тем более приятно, что мы все 18 месяцев деятельности лазарета просуществовали на собственные средства, без единой копейки субсидии от Главного правления. Вероятно, благодаря этому и по представлению Пашкова я получил от императрицы Марии Федоровны большой знак Кр. Креста с надписью: "Нет больше той любви, аще же кто душу своя положит за други своя", но этой-то любви у меня и не было. Ни постройка больницы дома, ни участие мое в экспедиции на Дальний Восток не были жертвой души моей за други своя. Ни в больнице в Смильтене, ни в нашем госпитале в Эхо я не помню, чтобы я хоть с одним больным или раненым вошел в личный душевный контакт. Как здесь, так и там меня привлекала работа устройства, создания и организации, но не нужда и душа тех, для которых все это делалось. Объяснить мне это очень трудно, но именно то, что я так уважал и ценил у Матильды Вреде, этот дар понимать душу ближнего, гореть к ней любовью, этого понимания ближнего у меня никогда не было, и потому вся моя деятельность была только медь звенящая и кимвал звучащий. [...]

Мать моя была вполне довольна моим выбором, т.к. она познакомилась с моей невестой до ее отъезда на Дальний Восток и дала ей посылку для моей сестры. Она моей матери очень понравилась, за исключением ее слишком малого роста, но это еще не большая беда. Ее заботами были предприняты в смильтенском доме всякие улучшения в смысле домашнего инвентаря, но, к сожалению, нанятая экономка была латышка, не говорившая ни по-русски, ни по-немецки, а лакеем был взят старый слуга из Кремона, что оказалось на практике большим препятствием впоследствии, т.к. на всякое данное ему приказание был всегда один и тот же ответ, что у старой княгини делалось так-то, а не как вы говорите.

По сдаче моего отчета Пашкову я отправился заявить о своем возвращении в ландратскую коллегию, где очередным ландратом был тогда Эттинген, а председателем бар. Пилар<sup>59</sup>. Они меня оба встретили очень любезно, расспрашивали о моих переживаниях, и я вновь вступил в исполнение своих депутатских обязанностей до следующего ландтага.

Свадьба наша была назначена на 19 ноября 1905 г. (н.с. 2 дек.) в Москве, на квартире Лилу в Ваганьковском переулке.

Несмотря на повсеместные забастовки, мои сестры все же приехали в Москву, где кроме них была наша троюродная сестра Саша Ливен<sup>60</sup>, известная по своей работе по тюрьмам, и два брата гр. Келлер<sup>61</sup> с их двумя очень милыми женами, из московских барышень.

Пастор перед столиком, покрытым белою скатертью и украшенным цветами, с распятием, Библией и парой зажженных свечей, прочел молитву, сказал соответствующие слова, и мы, обменявшись кольцами, были объявлены им мужем и женою.

Это скромное бракосочетание мне очень понравилось отсутствием шума и суеты, свойственных вообще свадьбам, и как не могло лучше соответствовало смут-

ному времени, которое мы переживали и которое к концу нашей жизни нас ожидало.

Я до сих пор жалею, что мы с Лили решили ехать в Смильтен, а не за границу, но после столь несчастной войны нам обоим казалось неуместным показаться за границей. Много есть обычаев, суеверий и примет, над которыми современные люди охотно смеются. Забывая, что все эти вещи большею частью создавались столетиями наблюдений, опыта и мудрости народной и при внимательном их изучении в них обыкновенно таится хотя и малая, но доля истины.

То же относится к обычаю соблюдения медового месяца. Молодые люди, будучи женихом и невестой, в ожидании свадьбы, в большинстве случаев живут в совершенно ненормальной атмосфере, ожидая от таинства брака какого-то чуда, могущего превратить их серую жизнь в земное блаженство. Однако на практике никакого чуда не совершается, характер человека со всеми его недостатками остается и выходит наружу, и действительное взаимное знакомство рельефно проявляется мало-помалу после бракосочетания. Этот период, если брак основан на духовной связи, чрезвычайно важен для дальнейшей совместной жизни, и мне кажется, что очень важно, чтобы окружающая новобрачных среда в этот первый период не была отягчена домашними заботами, вмешательством соседей и родственников и [была] вдали от критических [глаз] наблюдателей.

Вместо всего этого мы с моей женой поехали в наше имение Смильтен, где кругом нас горели имена, бродили банды и портрет государя в волостном правлении был снят. Прислуга в доме состояла из латышей, с которыми Лили не могла обменяться словом, и настроение с каждым днем становилось хуже.

Наш медовый месяц оказался горьким, и я никогда не мог себе простить, что я с первых же шагов поставил Лили, еще не отдохнувшую как следует от тяжелой работы на войне, в столь трудные условия жизни.

Только в середине декабря прибыл в Смильтен эскадрон гвардейских улан, и вскоре в губернии водворился порядок, а в продолжение двух лет, меняясь каждаю пару месяцев, квартировал у нас эскадрон того или другого полка.

Рядом с нашим домом стояла высокая мачта, на которой развевался флаг с нашим гербом, когда мы были дома. Наш герб состоит из трех лилий и семи звезд на красном поле. Раз командующий войсками ген. Орлов<sup>62</sup> с бар. Врангелем<sup>63</sup> приехали верхом из Мариенбурга и, увидав наш флаг, три раза обошли кругом мачты, чтобы убедиться, есть ли на нем герб, или это просто красный флаг, и только убедившись в первом, вошли в дом.

Узнав, что в Кремоне все обстоит благополучно, мы решили после Рождества поехать в Петербург, навестить там наших родственников.

Моя старшая сестра, проработав все полтора года в Лифляндском лазарете в Маньчжурии, где она проявила большую выдержку и усердие среди наших сестер, всегда готовых обижаться, интриговать и жаловаться, пришла к заключению, что для исполнения сестринских обязанностей ей недостает более глубокого знания этого ремесла, и потому решила пополнить его поступлением на сестринский курс в Лозанне в учреждении под названием "La Source".

Вспоминая о ней, я должен сказать, что из всей нашей семьи она, без сомнения, была лучшей, с большим любящим сердцем и чистой душой, с глубокими христианскими убеждениями, исполнение коих ей часто стоило тяжелой внутренней борьбы.

Я думаю, что крупное телосложение и некоторая неловкость в движениях, которые она сознавала, часто мешали ей, нарушая ее внутреннее равновесие.

Но недолго суждено было ей учиться сестринскому делу. Когда в холодное январское утро в "La Source" принесли больного ребенка, которого ей поручили

раздеть, и она с ним села перед зажженным камином, платье ее загорелось, причив ей смертельные ожоги. Прележав весь день в беспамятстве, она к вечеру вдруг открыла широко глаза и, чуть приподнявши голову, радостно и ясно сказала: "Jesus m'appelle" и перешла в иной мир<sup>64</sup>.

Эта смерть поразила всех присутствующих, и сестра Deleger, ходившая за ней, нам потом говорила, что эта смерть послужила поворотным пунктом всей ее последующей жизни.

Получив телеграмму из Лозанны, мы с Лили в тот же день выехали за границу, но очевидно не могли застать моей сестры в живых. Помолвившись у ее гроба, мы поехали в Ментону к моей матери, в то время как мой брат, приехав тоже со своей женой Эльзой<sup>65</sup> в Лозанну, занялся перевозкой гроба в Мезотен, где наше семейное кладбище. Проведя несколько дней с моей матерью, мы с Лили решили, пользуясь случаем, съездить в Рим, повидать там родственников и вернуться домой.

Собственно, только теперь мы с Лили могли всецело посвятить себя надлежащим образом организованной деятельности. Для этого прежде всего ей надо было научиться латышскому языку, и епархиальный учитель, почтенный старик Дамберг<sup>66</sup>, взялся давать ей уроки. При этом уроки эти обыкновенно кончались рассказами на немецком языке о старых временах и бывших владельцах Смильтена, но и это было интересно и полезно знать. Местный аптекарь Бергман<sup>67</sup> оказался тоже интересным собеседником и действительным знатоком римской истории. Он побывал в Риме и на Капри, имел у себя обширную библиотеку и писал сказки. Соседей же у нас было очень мало, а имевшиеся были вообще скучны.

Большое счастье было иметь хорошего садовника и одновременно человека, каким был Снедце [Сниедзе]. У нас зимою и летом всегда были свежие растения и цветы в комнатах, а в оранжерее все содержалось с любовью и хорошо.

С переменной экономки, с которой Лили могла разговаривать, в доме стало лучше, и с некоторой перестройкой в обширном чердаке и водопроводом и электрическим освещением в доме стало удобно и уютно, и мы чувствовали себя в нем очень счастливыми, а на второй год нашей жизни в нем пришлось подумать и о будущей детской.

Очень искусный и добросовестный столяр Звирбуль, мастер на все руки, изготовил все шкафы, столы, стулья и комод, так что к назначенному сроку детская и комната для няни были готовы.

После очень тяжелых родов в рижской клинике д-ра Кнорре<sup>68</sup> появилась на свет 18 сентября 1907 года наша дочь, названная в память моей покойной сестры Марией. 1 октября, на квартире моего зятя Гоги Таубе<sup>69</sup>, морского офицера и помощника начальника порта, совершен был почтенным старцем — пастором Фальтин<sup>ом</sup><sup>70</sup> обряд крещения над ней, а на следующий день мы уже втроем вернулись в Смильтен.

Два года спустя, а именно 24 мая 1909 года, при несравненно более легких условиях родился уже в Смильтене у нас сын, названный Леонидом<sup>71</sup> в честь брата моей матери.

Его рождение ознаменовалось в деревне всеобщим торжеством. Всем служащим был выдан лишний месячный оклад, а арендаторам сбавлен некоторый процент их годовой аренды.

Вспоминая о тех временах, не верится, что мы могли жить в столь удобных и счастливых условиях, распоряжаться своим имуществом как неограниченные владельцы и направлять свою жизнь, как нам хотелось. Наш лес на площади около 100 квадратных верст охранялся 16 лесными сторожами, с тремя пожарными вышками, соединенными сетью телефонов с лесничеством.

Кроме самой мызы — Смильтен, нам принадлежали окружающие мызы — большой и малый Бильскенгоф, Гротус, Танненгоф, Кенге и около дюжины крестьянских усадеб. Книги по всему этому хозяйству вел счетовод нашей конторы под руководством управляющего, т.к. я лично мало увлекался сельским хозяйством и не особенно верил в счетоводство. Кроме того, были лесопилка и электрическая станция.

Наш дом стоял на высоком берегу мельничной запруды на маленькой речке Аббуль, на другом берегу которой, на сравнительно холмистой местности вокруг церкви, разрастался поселок в 2000 жителей. Находясь в трех верстах от Псково-Рижского шоссе, на скрещении дорог из Вендена, Вольмара и Валка в Мариенбург и Пebaльг, Смильтен представлял собою некоторый торговый центр, с лютеранской и православной церквями, почтовой, телеграфной и телефонной станцией, канцелярией младшего помощника уездного начальника и с конечной станцией Вольмарского под[ъездного] пути.

Число жителей с каждым годом увеличивалось, и строились все новые дома. Почти все дома освещались нашей силовой станцией электричеством, и несколько мастерских были оборудованы электрическими моторами. После долгих исканий необходимого облигационного капитала удалось учредить общество Вольмарского под[ъездного] пути для сооружения такого от Смильтена через Вольмар до порта убежища Гайнаш на Рижском заливе, длиной в 114 верст. Вложив большую часть акционерного капитала, я произвел изыскание всего пути и состо-ял начальником участка Смильтен—Вольмар при его постройке.

Только в 1912 году было открыто движение на всей линии, а уже в 1914 году, при начале войны, опасаясь высадки неприятеля, пришлось отшить и снять рельсы на 12 верст от конечной станции Гайнаш, и я лишился возможности убедиться в пользе моей работы.

Все эти работы занимали большую часть моего времени, т.к. предвиделось продление Вольмарского п.п. за Смильтен до соединения с Мариенбургским п.п. на ст. Шваненбург. Кроме того, по дорожной части мне часто приходилось совершать поездки по двум уездам и ездить в Ригу за 130 верст. В этом отношении большую пользу сослужил мне автомобиль "Humber", который я купил в 1908 году одним из первых в губернии.

Теперь, конечно, мой автомобиль показался бы допотопным. Шины тогда постоянно рвались, и проезд в Ригу в 130 верст я, кажется, ни разу не совершил без починки оных в пути. Тогда еще не было [ни] стартера, ни электрического освещения, верх был складной брезентовый и скорость не превышала 40 верст, но тем не менее в год я проезжал до 5000 верст и был очень доволен. [...]

Трудно на словах дать подробное и верное описание нашей жизни в период от 1906 по 1914 год, я могу только сказать, что эти годы были полны работы, беззаботного счастья и радужных надежд.

Было решено, по случаю двухсотлетия присоединения Лифляндии Петром Великим к Российской империи, воздвигнуть ему памятник в Риге, на открытии коего государь обещал лично присутствовать с императрицей летом 1910 г. В назначенный день императорская яхта "Штандарт" прибыла в Ригу и бросила якорь посреди Двины, против замка. Была чудная погода, и город был не только разукрашен по-праздничному, но все население города было на улице в каком-то восторженном настроении. Вблизи собора, вокруг покрытого парусиной памятника, была сооружена эстрада с флагами и гирляндами. Раздался звон колоколов, и точно в назначенный час послышались приближающиеся и все возрастающие крики "ура" и к собору подъехала коляска, из которой вышли государь с государыней и, отвечая на приветствия собравшихся обывателей, вошли в собор.

По окончании службы все присутствовавшие пешком прошли к месту сооружения памятника и за владыкой<sup>72</sup> последовала нескончаемая вереница священников. Столыпин с министрами и высшие сановники, все в белых, длинных сюртуках и с белыми фуражками, двинулись шествием за государем, и вскоре вся эстрада была занята до последнего места. Памятник, как таковой, был очень красив, в стиле венецианского всадника, но он столько же мог изображать Петра Великого, как, например, Юлия Цезаря или любого героя истории. Но памятник служил безусловно украшением города, что и требовалось доказать; дальнейшая его судьба, о которой, конечно, никто тогда ничего не мог знать, была очень печальна. Не прошло и пяти лет, как грянула война, и, опасаясь, что в случае взятия Риги неприятелем памятник мог бы быть им применен к другой цели, он был снят с цоколя, погружен на корабль и отправлен в Петербург. Но по дороге судно было потоплено, и памятник оказался на дне морском. Говорят, будто бы латыши его потом подняли, но проверить мне этого не удалось<sup>73</sup>.

После открытия памятника государь с государыней вернулись на "Штандарт" и государыня больше на берег не сходила, а приняла у себя жен предводителя и депутатов дворянства. В назначенный час к набережной подъехал катер со "Штандарта" и все приглашенные дамы в белых платьях и шляпах с перьями, усевшись в нем, отчалили к императорской яхте.

Была чудная погода, и широкая Двина со всеми кораблями вдоль набережной, разукрашенной флагами, "Штандарт" на якоре посреди реки и катер, нагруженный белым букетом наших дам, направляющийся к нему, была прелестная картина, которую трудно будет позабыть.

В тот же день в Дворце дворянства (Ritterhaus) был устроен прием, где государю представлялись все члены ландратской коллегии и верхи местной администрации. Мы выстроились в длинный ряд в зале, стены которого были украшены гербами всех фамилий лифляндского дворянства.

Когда настала моя очередь и государь подошел ко мне и спросил, кем был мой отец, я ему ответил, что в 60-х годах прошлого века он был предводителем дворянства, а потом состоял обер-церемониймейстером высочайшего двора при государе Александре II, на что государь заметил, это было до нашего времени, и пошел дальше. Впечатление произвел он на меня самое заурядное, кроме глаз, которые мне показались глубокими и добрыми.

На следующий день вечером был устроен раут в Дворце дворянства, на который государь дал согласие явиться. Полиция не была к этому подготовлена и предводитель дворянства бар. Пилар взял на себя ответственность за охрану государя.

Вечер этот прошел с большим успехом. Все дамы явились в своих лучших туалетах, мужчины в мундирах и фраках, и государь был в лучшем настроении духа. Лили, долго жившая в Москве и имевшая много общих знакомых со Столыпиным, вступила с ним в очень оживленный и продолжительный разговор. Она была очаровательна в открытом вечернем платье, окаймлявшем ее прелестные плечи, и выражение ее умного и милого лица придавало всею ее существу особую прелесть и шарм, и я был горд, имея такую очаровательную жену.

В это время из молодых людей при входе и вокруг дома была устроена добровольная охрана, и когда государь стал возвращаться на свою яхту, они, окружив его коляску, сопровождали его до набережной Двины.

Но и этим достопамятным дням настал конец. Императорская яхта подняла свои якоря и ушла, мы с Лили вернулись в Смильтен, а жизнь — в свою колею.

За эти годы местечко Смильтен стало так разрастаться, что наша электрическая станция не могла удовлетворять все разрастающейся потребности в электрической энергии и нам пришлось перестроить всю систему.

Подняв водонапорную дамбу на 10 лишних футов, мне пришлось прокопать канал к новой станции, снабженной новой турбиной под напором воды 14,5 метра, включив в сеть и лесопильный завод, где имела мощная паровая машина, — на случай недостатка воды.

Наконец наступил и 1913 год, в котором решено было отпраздновать 300-летие дома Романовых. Полагалось от дворянства каждой губернии по два представителя, и на мою долю выпало в качестве уездного депутата сопровождать нашего предводителя бар. Пилара в Петербург. Это был первый и последний раз, что мне пришлось быть на выходе государя в Зимнем дворце и быть на придворном балу, данном петербургским дворянством.

Собравшихся депутатов в Зимнем дворце было слишком много, чтобы государь мог лично поговорить с каждым отдельно, но впечатление получилось неудовлетворительное, когда, дефилируя мимо государя и государыни Марии Федоровны, [мы видели, что] ни тот, ни другая не подавали нам руки, не говоря даже слова. Всем представлявшимся был тут же выдаваем особый знак в память юбилея, со свидетельством, но, к сожалению, я в дальнейших моих странствиях его потерял.

Зато бал в Дворянском собрании был удивительно интересен и красив, и я ужасно жалел, что мы не устроились с Лили вместе приехать в Петербург, я провел бы с ней менее одинокий вечер, чем в этой роскошной толпе, где я встретил как знакомого только доктора Боткина, с которым я встречался в Мукдене.

Богатство драгоценных камней и роскошь платьев великой княгини и собравшихся дам были изумительны. Кучи цветов, несмотря на зимнее время года, разносились лакеями на носилках.

Когда приехали государь и государыня, князь Салтыков<sup>74</sup> прочел в качестве предводителя им адрес, и бал начался. Мне стало очень одиноко и скучно среди этой чужой мне толпы, будто попал не на свое место и, найдя свое пальто в передней, я ушел в гостиницу — два года спустя начался другой бал. Летом того года я был занят перестройкой нашей электрической станции, а ранней весной мы решили поехать с детьми в Рапалло на берегу моря на юг от Генуи. [...]

Летом того же года Лифляндский автомобильный клуб устроил гонки, в которых я не участвовал. Между прочим, великий князь Кирилл Владимирович<sup>75</sup> с супругой Викторией Федоровной<sup>76</sup> специально приехали, чтобы принять участие в гонках, по окончании коих в их честь был устроен вечер в Доме дворянства в Риге, куда и мне пришлось явиться.

Нас всех выстроили в длинный ряд, и бар. Пилар останавливался перед каждым из нас, представлял нас великой княгине, которая, говоря каждому несколько общих слов, протягивала свою обнаженную руку для поцелуя.

По окончании этой церемонии наш губернатор Звегинцев<sup>77</sup> неожиданно подошел ко мне и сообщил, что только что получена телеграмма с объявлением домобилизационного периода и что мне следует неотлагательно ехать в Венден в качестве председателя Присутствия по воинской повинности.

Я ушел в гостиницу и, переодевшись, завел свой "Humber" и уехал в Венден. В 4 часа утра постучался ко мне в комнату полицейский урядник с телеграммой:

"Германия объявила нам войну".

Тут мне следовало бы закончить свои записки, ибо с этого момента оборвалась навсегда наша мирная счастливая семейная жизнь довоенной эпохи. Некоторое время мы жили по инерции в убеждении и принципах старого времени, как закатившееся солнце долго еще освещает небо по-



гасающей зарею, но одно событие за другим в бездушной и жестокой последовательности учило нас:

Что прошло, не вернешь уж обратно.

Что упало, того не поднять,

Нас куда-то несет безвозвратно.

Но судьбы нашей нам не понять.

Я [...] получил телеграмму из Главного правления Кр. Креста явиться в Петербург. Очевидно, того сам не зная, я со времен Японской войны, вероятно, значился в списке призываемых на случай войны. [...]

**Окончание следует**

### ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ливен (ур. Пален, по матери Чернышева) Наталья Федоровна (1842-1920), статс-дама.
2. Редсток Гренвил (1831-1913), английский проповедник-евангелист, в середине 1870-х гг. был принят в некоторых петербургских салонах.
3. Пашков Василий Александрович (1832-1901), отставной полковник, последователь Редстока, основатель внутрироссийского евангелического движения ("пашковцы").
4. Корф Модест Модестович (1842-1933 или 1934), сын пушкинского товарища по Лицею, переводчик, юрист, проповедник-евангелист. В начале века посетил Ливенов в Лифляндии, где установил и в дальнейшем поддерживал связи с представителями местных общин евангелистов и баптистов, публиковался в их изданиях, во второй половине 1920-х гг. в Риге были напечатаны на латышском языке его воспоминания.
5. Конференция состоялась в 1884 г.
6. Ливен Павел (Пауль-Герман) Иванович (Иоганнович) (1821-1881), лифляндский предводитель дворянства, обер-церемониймейстер.
7. Гагарина Вера Федоровна (1845 или 1846-1923), редстокистка.
8. Гагарин Сергей Сергеевич (1832-1890), шталмейстер, коллекционер, меценат.
9. Шувалов Петр Андреевич (1827-1889), государственный деятель, дипломат.
10. Шувалова Елена Ивановна (1830-1922), редстокистка.
11. Гаугребен (в замужестве Ливен) Шарлотта (Шарлотта-Маргарита) Карловна (1742-1828).
12. Демидов Анатолий Николаевич (1812-1870), потомок известных уральских горнозаводчиков, владетель кн. Сан-Донато близ Флоренции, меценат.
13. Брейтигамы — владельцы Петербургской экипажной фабрики.
14. Ливен Анатолий Павлович (1872-1937).
15. Ливен Мария Павловна (1877-1907).
16. Ливен Александра Павловна (1879-1974).
17. Ливен Софья Павловна (1880-1964).
18. Правильное написание: Классовская.
19. Очевидно, Гарфункель Яков Борисович (1843-1888).
20. Всемирная выставка 1893 г., приуроченная к 400-летию открытия Америки.
21. Кайгородов Дмитрий Никифорович (1846-1924), фенолог.
22. Каупо (ум.1217).
23. Пленные русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
24. Юз Джон (1814-1889), английский предприниматель, концессионер.
25. Браун Георг (1698-1792).

26. Лемониус Вильгельм Христианович (1817-1903).
27. Кеммерлинг Александр Анатольевич (ум. не ранее 1917), учитель младших классов 3-й Петербургской гимназии, "наиболее классической из классических гимназий"; ученики Кеммерлинга о нем: "близко к детям подпускать было нельзя", "полуумный деспот".
28. Черткова Елизавета Ивановна (1832-1922), редстокистка.
29. Чертков Григорий Иванович (1828-1884).
30. Чертков Владимир Григорьевич (1854-1936).
31. Вреде Матильда (1864-1928).
32. Пален Константин Иванович (1833-1912).
33. Керних Владимир Михайлович (1840-1917).
34. Ливен (ур. Салтыкова) Серафима Николаевна (1875-1898).
35. Ливен Серафима Анатольевна (1898-1967).
36. Мамонтов Савва Иванович (1841-1918), предприниматель, меценат.
37. Имеется в виду Красин Леонид Борисович (1870-1926), инженер, советский дипломат.
38. Гагарина Татьяна Сергеевна (ум. 1922?), фрейлина.
39. Мейендорф Фридрих (Александрович) (1839-1911).
40. Эттинген Арвед (Николаевич) (1857-1943), очередной ландрат с 1903 г.
41. Кузнецовы — владельцы фабрик по производству фарфорофаянсовых изделий, в том числе в Риге.
42. Среди владельцев рижских бельевых магазинов начала века "Шейбер" не зачится, вероятно речь должна идти о магазине Г.Шнейдера.
43. По старому стилю военные действия начались в ночь на 27 января.
44. Кро(а)поткин Николай Дмитриевич (1872-1934), князь, владелец имения "Зегевольд". мировой судья, позднее вице-губернатор Курляндский, Эстляндский.
45. Скалон Алексей Александрович, гв. капитан.
46. Подробнее см.: Крамер А. Краткий очерк деятельности Рижской общины сестер милосердия Красного Креста по снаряжению Лифляндского полевого лазарета. Р., 1904.
47. Дараган Осип (Иосиф) Федорович (1849 — не ранее 1917).
48. Эттинген Рудольф (род. 1861). Воспоминания сопровождавшей его на Дальний Восток жены см.: E. von Oettingen. Unter dem Roten Kreuz im russisch-japanischen Kriege. Leipzig, 1905.
49. Фиргуф Вильгельм Готгардович (1868 — не ранее 1916), врач Рижской гор. больницы, позднее — частнопрактикующий врач в Москве.
50. Александровский Сергей Васильевич (1863-1907).
51. Боткин Евгений Сергеевич (1865-1918), лейб-медик, расстрелян вместе с семьей Николая II.
52. Родзянко Михаил Владимирович (1859-1924), будущий председатель III и IV Гос. думы.
53. Бенниггаузен-Будберг Андрей (Андреас) Александрович (1867-1926), врач, синолог.
54. Таубе (в замужестве Ливен) Наталья Николаевна (1876-1964).
55. Здесь — из Лифляндии, необязательно латышской национальности.
56. Таубе Николай Эрнестович (1847-1920 или 1921).
57. Таубе (ур. Келлер) Софья Артуровна (род. 1855).
58. Пашков Михаил Александрович (1853-1908), лифляндский губернатор.
59. Пилар фон Пильхау Адольф (Адольфович), ландмаршал с 1908 г., принимал активное участие в событиях 1917-1919 гг. в Лифляндии, был объявлен предателем Латвийского государства, эмигрировал в Германию, возвратился в Эстонию, где и скончался.

60. Ливен Александра Петровна (1861-1929), член Московского дамского тюремного комитета, ряда других попечительских обществ.
61. Келлеры — родственники семьи невесты; вероятно, имеются в виду братья Виктор (род. 1863), Василий (род. 1866), Леон (род. 1868) Викторовичи.
62. Орлов Александр Афиногенович (1865-1908), генерал-майор, в конце 1905 — начале 1906 г. командующий войсками по поддержанию порядка в Северной Лифляндии.
63. Врангель Петр Николаевич (1878-1928), известный впоследствии участник гражданской войны.
64. См. посвященный М.П.Ливен памятный сборник "Ausgelertn", Dusseldorf, 6/г.
65. Ливен (ур. Фиркс) Эльза Августовна (1873-1941).
66. Дамберг Давид (1841-1919), учитель Смилтенской приходской школы; о нем и некоторых других упомянутых в воспоминаниях обитателей Смилтене см.: P.Egmanis. Atmiņu vija. R., 1935.
67. Бергман Ойген (Евгений Эрнстович) (1857-1934), поэт, автор сказок, одна из которых посвящена жене мемуариста.
68. Кнорре Георг (1864-1916).
69. Таубе Георгий Николаевич (1877-1948), в 1913-1917 гг. начальник торгового порта во Владивостоке; активный участник событий 1918-1919 гг. в Латвии.
70. Фальтин Эрнст Карл (1829-1918).
71. Ливен Леонид Павлович — офицер Британской армии, сотрудник ВВС в период второй мировой войны, адвокат, переводчик.
72. Агафангел (Александр Преображенский) (1856-1928), архиепископ Рижский.
73. Памятник был обнаружен в 1934 г. в прибрежных водах Эстонии, поднят и перевезен в Ригу, но вновь установлен не был по разным причинам, в основном политического характера.
74. Салтыков Иван Николаевич (род. 1870), с.-петербургский губернский предводитель дворянства.
75. Кирилл Владимирович, вел. кн. (1876-1938).
76. Виктория Федоровна, вел. кн. (1876-1936).
77. Звегинцев Николай Александрович (1848-1920).

#### ТОПОНИМИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В дорожниках Лифляндской губернии географические названия указывались на трех языках (русском, немецком, латышском или эстонском); как правило, они совпадали, исключений было немного. Массовое переименование или упразднение немецких и русских названий было произведено в Латвии в начале 20-х гг. Приводим переименования (по всему тексту публикации) по всем бывшим Прибалтийским губерниям.

Аа — Лиелупе, Аа Лифляндская — Гауя, Аббуль — Абулс, Альтбилькенсгоф — Вецбилска, Венден — Цесис, Вержболово — Вирбалис, Вильно — Вильнюс, Волковышки — Вилкавишкис, Вольмар — Валмиера, Гайнаш — Айнажи, Гротус — Гротузис, Двина — Даугава (Западная Двина), Динабург — Даугавпилс, Зегевольд — Сигулда, Кенге — Кенги, Кибарты — Кибартай, Кипзале — Кизбеле, Ковно — Каунас, Кремон — Кримулда, Кубецель — Кубесельское городище, Курляндия — Курземе, Либава — Лиепая, Лигат — Лигатне, Лифляндия — Видземе и Юж. Эстония (Ливимаа), Мариенбург — Алуksне, Мезотен — Межотне, Митава — Елгава, Ревель — Таллинн, Нейбад — Саулкрасты, Пebaльг — Пиебалга, Роденпойс — Ропажы, Смильтен — Смилтене, Танненгоф — Межмуяжа, Трайден — Турайда, Шваненбург — Гулбене, Эзель — Сааремаа, Экау — Иецава, Энгельгардсгофская мыза — Энгларте.

# ЧЕЛОВЕК, ОТРЕКШИЙСЯ ОТ ТРОНА

РОМАН ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ

*Эту запись рассказов графини Людмилы Николаевны Воронцовой-Дашковой о вел. кн. Михаиле Александровиче я сделал в конце 1936 года в Париже. Я приходил к Л.Н. в отель "Наполеон" (Авеню Фридланд), где она жила. Подавался чай и начинались рассказы, которые я записывал скорописью. Дважды для уточнений рассказанного Л.Н. приглашала на эти "чаи" генерала кн.Бекович-Черкасского, быв. командира Татарского полка Дикой дивизии и быв. командира Дагестанского полка генерала кн.Амилахвари той же дивизии, которой во время войны командовал вел. кн. Михаил Александрович. Оба князя оставили у меня самое приятное впечатление. Не помню, чем занимался эмигрант Бекович-Черкасский, но Амилахвари зарабатывал на жизнь как парижский таксист. В своей записи я старался точно передать не только факты, но и тон рассказов Л.Н. Текст моей записи был напечатан в июне 1937 года в газете "Сегодня" (Рига), но с редакционными сокращениями. Так как эта газета теперь вряд ли кому-нибудь доступна, считаю правильным опубликовать мою запись в "Новом Журнале", как ценный документ. Л.Н.Воронцова-Дашкова скончалась в Лондоне во время второй мировой войны.*

Роман Гуль

В 1912 году брак великого князя Михаила Александровича, брата Николая II и бывшего наследника престола, наделал в России не меньше шума, чем брак герцога Виндзорского в наши дни в Англии.

Браку великого князя предшествовал длительный роман.

Младший сын Александра III великий князь Михаил Александрович в 1908 году командовал эскадром кирасирского ее величества полка, шефом которого состояла мать великого князя, вдовствующая императрица Мария Федоровна.

Полк стоял в Гатчине, под Петербургом. Там на одном из полковых праздников великому князю в числе других жен офицеров была представлена Наталья Сергеевна Вульферт.

Это, казалось бы, мимолетное знакомство перешло быстро в длительный роман, закончившийся браком и отречением великого князя от всех присущих ему по положению прав.

Наталья Сергеевна Вульферт была женщиной красивой и образованной; происходила она из очень интеллигентной семьи. Ее отец, С.Шереметевский, был известным адвокатом. Первым браком Наталья Сергеевна вышла за музыканта С.Мамонтова, вторым за кирасирского офицера Вульфerta. В третьем браке с великим князем Наталья Сергеевна получила фамилию Брасовой.

Брака великого князя и Н.С.Вульферт не желали ни император Николай II, ни мать, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Когда император узнал о намерении великого князя все-таки жениться на Н.С.Вульферт, он вызвал великого князя во дворец и отдал краткий приказ:

— Черниговские гусары!

Великий князь назначался командиром Черниговского гусарского полка, стоявшего в Орле, куда он должен был немедленно отправиться.

Гатчина, кирасиры, Н.С.Вульферт, все было покинуто. Но мягкий по своему характеру великий князь в данном случае проявил непреклонную волю, решив жениться на любимой женщине, даже несмотря на противодействие императора.

Великий князь уехал в Орел. Но роман продолжался. По настоянию великого князя ротмистр Вульферт согласился на развод с женой. И в 1912 году великий князь и Наталья Сергеевна покинули Россию, уехав за границу, в Вену, где великий князь в строгой тайне предполагал совершить обряд венчания.

Но даже в Вене при заключении брака великий князь вынужден был действовать с крайней осторожностью. Он нашел в Вене не русского, а сербского православного священника, дабы заключенный им брак не подлежал расторжению со стороны святейшего синода.

Так, в 1912 году в Вене в православной церкви великий князь Михаил Александрович обвенчался с Натальей Сергеевной Вульферт.

## В ОПАЛЕ В ЛОНДОНЕ

Как только император узнал о заключении брака, в ответ последовал указ, в котором, как мера репрессии, над всем имуществом великого князя устанавливалась опека, в составе трех назначенных государем лиц, а великому князю запрещался въезд в Россию.

Великий князь, как частное лицо, остался жить за границей. Из Австрии в 1913 году он вместе с женой и родившимся сыном Георгием переехал в Англию в замок Небворт, недалеко от Лондона.

Здесь под Лондоном и проводил свои дни опальный великий князь, лишенный возможности вернуться в Россию. Для великого князя такая вынужденная разлука с родиной была нелегка. И в особенности она стала тяготить его, когда в 1914 году вспыхнула война и когда долг военного звал его вступить в ряды армии. Но великому князю, не подчинившемуся воле императора, возвратиться в Россию было нелегко.

1914 год я проводила во Франции, в Ницце. Но незадолго до объявления войны я выехала в Россию, и здесь в нашем крымском имении "Форос" получила, от моего мужа (тогда еще жениха) графа И.И.Воронцова-Дашкова телеграмму, вызывавшую меня в Петербург.

Я быстро собралась и двинулась в путь.

Мой муж граф И.И.Воронцов-Дашков был ближайшим к великому князю Михаилу Александровичу человеком. Семья графов Воронцовых по древности своего рода и по положению при дворе была одной из самых близких к династии. Великий князь и граф Воронцов вместе росли, их связывала дружба детских лет. И в Петербурге из разговоров с мужем я узнала, что великий князь в замке Небворт в эти дни чрезвычайно тяжело переживает свою оторванность от родины.

Об этих чувствах граф Воронцов был осведомлен из писем и, как истинный друг, мой муж взялся хлопотать о разрешении великому князю вернуться на родину.

Просьба к императору, а также к вдовствующей императрице была обращена от имени отца моего мужа, наместника Кавказа, генерал-адъютанта графа

И.И.Воронцова-Дашкова, с чьим мнением считались государь и двор.

С письмом старого графа Воронцова мой муж был принят императором и вдовствующей императрицей. И в это же время государь получил от великого князя телеграмму, в которой тот просил о разрешении вернуться на родину. Великому князю было дано разрешение вернуться.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГ

В конце августа 1914 года великий князь приехал в Петербург, где временно остановился в "Европейской гостинице". Но от мужа я узнала, что все-таки "лед" между великим князем и государем (а главное, между ним и государыней) еще не разбит.

На приеме у государя великий князь, раньше командовавший кавалергардским полком, просил дать ему в командование какой-нибудь полк в действующей армии, но государь приказал оставаться в Петербурге, то есть быть фактически в бездействии.

Великого князя, никогда не любившего придворной жизни и ее этикета и мечтавшего поскорее вырваться на фронт, такое положение чрезвычайно тяготило.

Муж рассказывал, что когда ему приходилось провожать великого князя во дворец на официальные приемы, тот часто говорил своему шоферу: — "Тише... езжай тише..." — Великий князь всегда старался приехать во дворец уже к моменту приема, дабы сделать свое пребывание там возможно более коротким.

Чтобы спасти его от вынужденного бездействия придворной жизни, на помощь ему во второй раз пришел старый граф И.И.Воронцов-Дашков, очень любивший великого князя.

Незадолго до этого у наместника Кавказа генерал-адъютанта графа И.И.Воронцова-Дашкова возникла идея сформировать из всех кавказских народностей кавалерийскую дивизию. И теперь граф телеграфно обратился к государю с просьбой о назначении великого князя начальником этой дивизии.

На такую телеграмму отказа быть не могло. И великий князь стал начальником Дикой дивизии.

## МОЕ ЗНАКОМСТВО С ВЕЛИКИМ КНЯЗЕМ

В сентябре 1914 года формирование Дикой дивизии заканчивалось в маленьком городке Винница на Украине. Здесь я и познакомилась с великим князем Михаилом Александровичем.

Я приехала в Винницу провожать моего мужа перед выступлением на фронт. Никогда не бывав в этом городке, я ехала, окруженная целым штатом прислуги, не подозревая, что в этом местечке, занятом сплошь войсками, мне негде будет не то что разместить мою прислугу, но даже разложить привезенные вещи.

На вокзале меня встретил муж, сказавший, что великий князь уже несколько раз спрашивал, приехала ли я, и очень хочет со мной познакомиться.

Разумеется, и мне хотелось познакомиться с Михаилом Александровичем, о котором я так много слышала, но меня, очень молодую женщину, смущало одно обстоятельство. Я была еще тогда не разведена с моим первым мужем, развод бесконечно тянулся, и это положение при знакомстве с великим князем меня, естественно, смущало, хотя граф и успокаивал меня тем, что жена великого князя была дважды разведена, что "на такие пустяки великий князь не обращает ни малейшего внимания".

В Виннице я остановилась в единственном существовавшем там небольшом отеле с громким названием "Савой". От крошечных размеров номера и от всей

обстановки я была в отчаянии. И вот, когда только что приехав, я с помощью горничной кончала свой туалет, в мой номер раздался стук, а затем на пороге появился великий князь.

Никогда не забуду первого впечатления: высокий, стройный, как все офицеры Дикой дивизии затянутый в черкеску, с ласковым открытым лицом английского типа (в семье великого князя было много черт, близких английской королевской семье) с большими серыми глазами.

— Здравствуйте, Людмила Николаевна, — проговорил он, — простите, пожалуйста, что я так стремительно ворвался к вам, но я так хотел поскорее познакомиться с невестой моего лучшего друга, что, надеюсь, заслуживаю снисхождения.

Прощаясь, великий князь пригласил нас с мужем приехать к нему обедать. И в шесть вечера мы подъехали к небольшому скромному домику, где он жил со своей женой.

За простым обедом кроме нас были секретарь великого князя Н.Н.Джонсон и его адъютант хан Эриванский и Н.Н.Абаканович. Михаил Александрович много рассказывал о своей жизни в Англии, которую он очень любил и в которой, по его словам, "чувствовал себя как дома". Я знала еще от мужа, что великий князь был большим англоманом и не только поклонником английского характера и быта, но и сторонником политических форм Британской империи. Эта любовь к Англии была привита ему еще в детстве англичанином-воспитателем мистером Хет.

Я не преувеличу, если скажу, что мое первое знакомство с Михаилом Александровичем положило начало большой и долгой дружбе. В течение месяца, что я пробыла в Виннице, мы виделись с великим князем ежедневно. Мы вместе обедали, вместе выезжали на прогулку, а иногда по вечерам он играл у нас с мужем, князем Вяземским и Н.Н.Джонсоном по маленькой в карты, в "тетку".

Великий князь был самым богатым из великих князей и одним из богатейших людей России. Кроме личного состояния к нему перешло и состояние покойного брата Георгия Александровича, но Михаил Александрович был человеком, не замечавшим своего богатства. Я никогда не могла удержать улыбку, видя, как в Виннице он за карточным столом по-детски радовался, если выигрывал 15 копеек, и становился расстроенным, если проигрывал такую же "сумму".

## ПОДАЛЬШЕ ОТ ПРИДВОРНОЙ ЖИЗНИ

В характере великого князя было много прирожденного умения очаровывать людей. Но в отличие от некоторых других членов династии, в Михаиле Александровиче прежде всего резко бросались в глаза его простота и какая-то особая скромность, переходившая даже в застенчивость.

Всего, что было связано с пышностью, парадностью, этикетом, великий князь избегал. Всему, что было связано с проявлением каких-нибудь бурных чувств, он был чужд, ровен, спокоен, уравновешен. И в полной гармонии с такой уравновешенностью были вкусы великого князя. Михаил Александрович любил искусство, музыку, спорт, животных, цветы.

Великий князь Михаил Александрович был блестящим наездником. В понимании коня великому князю было мало равных. В Гатчине великий князь не раз скакал на скачках. Но самым большим удовольствием его высочества было оседлать своего кабардинца и совершенно одному скакать по полям и лесам.

Кроме конного спорта великий князь любил автомобиль, которым прекрасно правил; любил гимнастику на приборах; и очень любил физический труд, в особенности пилить дрова, чем и занимался часто вместе со своим адъютантом князем В.А.Вяземским.

Любя музыку, великий князь сам немного сочинял. Особенно любил он на-

родную восточную музыку. И в Виннице при нем был знаменитый зурнач Зубиев, который подолгу играл ему кавказские заунывные напевы.

Однажды на фронте в Австрии, в Тулстуместе, когда Дикая дивизия стояла в резерве в лесу, всадники-кабардинцы пели свои национальные песни. Присутствовавший тут же, сам кабардинец, помощник командира Татарского полка князь Бекович-Черкасский приказал пение прекратить. Но великий князь удивленно обратился к нему:

— Почему вы прекратили пение, князь?

— Мне кажется, что для европейского уха оно просто ужасно.

— Нет, нет, — запротестовал Михаил Александрович, — напротив, это прекрасные напевы, я в них чувствую что-то древнее, похожее на индусское, пусть поют...

И он не только продолжал слушать, но даже попросил князя Бековича перевести ему слова песен, чтобы записать их.

— Я могу перевести, — ответил князь, — но это песни про национального кабардинского героя князя Кучук-Аджигиреева, сражавшегося в 1830 году против русских.

Михаил Александрович засмеялся и настоял на переводе песен.

### ПОЧЕМУ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ НЕ ХОТЕЛИ НАГРАЖДАТЬ ОРДЕНОМ СВ. ГЕОРГИЯ

В октябре 1914 года, повенчавшись с графом Воронцовым, я поселилась в Петербурге на Английской набережной. Но из Петербурга я часто ездила в прифронтовую полосу к мужу, командующему Кабардинским полком Дикой дивизии, и я всегда, конечно, в эти приезды встречалась с Михаилом Александровичем. От мужа, от князя Бековича-Черкасского, князя В.А.Вяземского, Н.Н.Джонсона и командира Дагестанского полка князя Амилахвари я узнала многое из жизни на фронте.

Всему ближайшему окружению, начальнику штаба генералу Я.Д.Юзефовичу и командирам полков было много хлопот с вел. князем, желавшим быть возможно ближе к линии огня. Удерживать его было нелегко. Таков был характер Михаила Александровича. Вместе со скромностью он был чрезвычайно самолюбив, и одна мысль, что, пользуясь своим положением, он может держаться в тылу, заставляла его делать все обратное.

В начале 1915 года, когда корпус генерала Баяровича двигался к Перемышлю, на долю отряда великого князя выпала серьезная задача: задержать наступавшую немецкую кирасирскую дивизию. Задача была выполнена образцово, и Михаил Александрович лично был под огнем.

По статусу ордена св. Георгия член императорской фамилии, бывший под огнем, получал Георгиевский крест, и командир корпуса хан Нахичеванский представил его к этой награде. Но представление показало, что при дворе осталось чувство нерасположения к великому князю, доставившему много хлопот своимmorganатическим браком. Николай II оставил без движения представление к ордену. Говорят, это было сделано под влиянием императрицы.

Но война шла. За дела на Сане великий князь был вторично представлен к той же награде. Но и это представление не получило движения.

Тогда, после нового дела, по которому Михаил Александрович заслуживал награждения Георгиевским крестом, генерал Брусилов, командующий 8-й армией, взял на себя провести награждение через Георгиевскую думу своей армии. Дума признала великого князя достойным и постановление ее пошло на высочайшее утверждение. В этом случае отказа быть не могло, и Михаил Александрович получил, наконец, Георгиевский крест, привезенный флигель-адъютантом полковником Дерфельденом.



## СВЯЩЕННИК ВОЗГЛАШАЕТ МНОГОЛЕТИЕ ИМПЕРАТОРУ ФРАНЦУ-ИОСИФУ

Желание "быть в тени" было характерно для Михаила Александровича. Мне запомнились многие случаи, иллюстрирующие это.

Самым большим удовольствием для Михаила Александровича было снять с себя погону и накинуть простой полушубок, идти со своим адъютантом князем В.А.Вяземским в солдатский кинематограф. Как рассказывал князь, там в толпе, никем не uznанный, он чувствовал себя великолепно.

— Вот в таком состоянии, князь, я совершенно счастлив, — говорил Михаил Александрович.

А когда во время войны великому князю в местечке Язловец надо было посетить женский монастырь, в замке князей Понятовских, где воспитывались аристократические молодые девушки, он, зная, что на него будет обращено большое внимание, попросил своего начальника штаба сообщить, что вместо великого князя приедет начальник штаба. Сам же он в этом посещении взял на себя роль адъютанта. И на приеме великий князь радовался, когда все обращались к генералу Я.Д.Юзефовичу и никто не обращал внимания на адъютанта, под видом которого скрылся Михаил Александрович.

Это желание "быть незаметным" соединялось в нем с конфузливостью. Князь Вяземский рассказывал смешной случай, происшедший с Михаилом Александровичем и моим мужем.

Из Петербурга я посылала мужу посылки на фронт, но из-за переходов дивизии они задерживались, и однажды в местечке Копыченцы в Галиции муж получил сразу множество посылок. Над таким изобилием плодов земных смеялись окружившие мужа друзья. Муж же мой, большой шутник, тут же на воздухе, словно торговец разложил все продукты и, стоя за импровизированным прилавком в одном бешмете, был сильно похож на "духанщика".

Михаил Александрович и приближенные стояли здесь же, все без черкесок, без погон, в одних бешметах. Как раз в этот момент мимо проходила воинская часть, от нее отделился военный врач и, приняв "прилавок" моего мужа за полковую лавочку, а Михаила Александровича за приказчика, начал, обращаясь к великому князю на "ты", необычайно хвалить его за расторопность, за организацию такого прекрасного прилавка.

— Вот это ты молодец! — кричал доктор, хлопая по плечу Михаила Александровича. — Две недели мечтаю выпить чаю с лимоном! Нигде нет, а у тебя, братец, все есть!

Порывистостью военного врача Михаил Александрович был так смущен, что ничего не мог выговорить... Улыбаясь, указывая на мужа, он только говорил: — Да нет, это он не продает... Это он для себя...

Но доктор не унимался, пока князь Вяземский не шепнул ему, кто перед ним. Доктор оторопел, но Михаил Александрович уверил доктора, что ровно ничего не произошло, и в виде подарка завернул ему с "лотка" моего мужа пакет с фруктами.

Вспоминаю еще эпизод, рассказанный мне князем Бековичем-Черкасским.

В декабре 1914 года Дикая дивизия шла по Галиции и подходила уже к Карпатам. Из штаба дивизии по телефону передали во все полки, что 6 декабря приказано устроить парад и отслужить молебен по случаю именин Николая II. Во всех полках шли приготовления к службе и параду. В расположении Татарского полка нашелся русинский священник, взявший с отслужить службу.

Во время службы мусульмане Дикой дивизии собрались во дворе церкви, ку-

да съехались муллы, а в церкви собрались христиане, организовав из офицеров и солдат импровизированный хор. Все шло гладко, но когда хор пропел многолетие, управлявшему хором офицеру Вырубову показалось, что-то странное в возгласах русинского священника. Офицер вслушался — и подумайте! — о, ужас! Русинский священник возглашает многолетие не императору Николаю II, а императору австрийскому Францу-Иосифу.

Призошло замешательство. Священника арестовали. Он оправдывался, что, как подданный австрийского императора, сделал это по привычке. Через командира полка дело дошло до Михаила Александровича, но тот только рассмеялся, приказав забыть этот инцидент и отпустить испуганного священника.

## ПОЛКОВНИК ЯКИМИДИ, ПО ПРОЗВИЩУ "ДУШКА"

В кругу близких Михаил Александрович часто любил подшутить.

Однажды в комнате одного своего нервного адъютанта Михаил Александрович привязал все вещи веревками и привел ночью в испуг адъютанта, когда в его комнате вещи задвигались "сами собой".

Помню, как подцудил он еще над приближенным к нему офицером бароном Врангелем. За столом великого князя подавалось вино и водка, но сам он ничего не пил. И как-то шутя предложил со всех пьющих брать штраф в пользу раненых и завел для этого кружку.

Барон Врангель любил выпить, но был скуп\*, дабы не платить штрафа, под разными предлогами стал во время обеда выходить из-за стола в свою комнату и там, выпив изрядно, возвращаться к столу. Однажды Михаил Александрович застал Врангеля на "месте преступления" и... барон должен был опустить в кружку великого князя целых 50 рублей!

Но вскоре эти шуточные "штрафы" были упразднены. Чтобы никого не стеснять, великий князь приказал подавать всем вино, а для себя вместо красного вина клюквенный морс и вместо белого — жиденький чай.

Однажды пехотный офицер, приехавший в дивизию и приглашенный к завтраку, сказал оказавшемуся его соседом моему мужу: — Смотрите, говорят, великий князь не пьет! Да он уже два стакана хлопнул! — А не хотите ли попробовать вина из великокняжеской бутылки? — спросил муж. — Отчего же, с удовольствием, если это удобно, — проговорил офицер, и муж обратился к Михаилу Александровичу за разрешением. Тот, улыбаясь, разрешил. Смутившемуся гостю пришлось выпить большой бокал кислого клюквенного морса.

Раз к завтраку был приглашен офицер Дикой дивизии полковник Якимиди, известный под прозвищем "душка", ибо всех встречаемых и поперечных Якимиди называл "душка", и притом был большой любитель Бахуса.

При поездке товарищи предупреждали Якимиди, чтобы он не забывал и не вздумал назвать "душкой" Михаила Александровича. Якимиди уверял, что все будет хорошо. Но Якимиди вскоре совершенно позабыл, с кем имеет дело, и после завтрака великий князь, смеясь, рассказывал, что Якимиди называл его "душкой" три раза.

## ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ

В 1915 году я встречала Михаила Александровича в Петербурге, когда тот приезжал с фронта в Гатчину. В эти приезды он часто заезжал за нами в своем открытом паккаре, и мы вместе уезжали на охоту под Гатчину. Там мы останавливались в охотничьих царских домиках: муж мой, большой специалист в кулинарии, готовил сам замысловатые блюда, и время чередовалось между охотой и беззаботным весельем.

Возвращаясь с охоты в Гатчину, Михаил Александрович любил показывать нам мрачный Гатчинский дворец, где протекли его детские годы.

Однажды, показывая гимнастические комнаты дворца, он сбросил с себя черкеску и, оставшись в одном бешмете, стал на турнике и параллельных брусьях делать самые отчаянные упражнения, взвываясь, как птица.

В начале 1916 года Михаил Александрович покинул Дикую дивизию, будучи назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса, а незадолго перед революцией переехал в Гатчину, получив назначение генерал-инспектора кавалерии.

В связи с этим назначением предполагалось, что Михаил Александрович встанет во главе особого крупного конного отряда, предназначенного для самостоятельных действий на фронте. Но этому не суждено было осуществиться. Разразилась революция.

## ЗАГОВОР ПРОТИВ АЛЕКСАНДРЫ ФЕДОРОВНЫ

К концу 1916 года, когда Михаил Александрович жил уже в Гатчине, атмосфера при "большом" дворе, в связи с неудачами на фронте, начинавшимися волнениями в Петербурге, а главное в связи с делом Распутина, становилась все нервнее.

Я не ошибусь, если скажу, что подавляющее большинство придворных считало императрицу виновницей всех несчастий. Мне пришлось близко знать многое, чего не знали широкие круги, и я должна сказать, что императрица под влиянием постоянного страха за жизнь наследника Алексея в это время была тяжело больным, впавшим в мистицизм человеком. Но обладая от природы сильной волей, императрица все же подчиняла своему влиянию государя. И многими великими князьями и людьми, близкими ко двору, это влияние считалось пагубным.

Попытки отдельных лиц (Балашов, Орлов) повлиять на государя, дабы парализовать влияние императрицы, успеха не имели. И в придворных кругах против императрицы началась закулисная борьба, подчас переходившая в заговоры. К этим конспирациям имели отношение многие из великих князей. И только Михаил Александрович оставался вне этой борьбы.

Это не значит, что он был индифферентен к тому, что волновало тогда людей, близких к престолу. Но в Михаиле Александровиче отсутствовало желание борьбы. Он по-прежнему хотел оставаться "в тени" и не принимал активного участия в политической жизни страны.

Вспоминаю характерный разговор с Михаилом Александровичем на тему об одном придворном заговоре, о котором мне пришлось узнать совершенно случайно.

Это было в конце ноября 1916 года. Меня вызвал по телефону мой близкий родственник, прося приехать к нему по важному делу. Я приехала и в его кабинете застала эффектную даму г-жу Т., носившую громкую фамилию мужа, но не принятую в петербургском свете из-за своего образа жизни и из-за своего происхождения. Тем не менее (я это знала) г-жа Т. имела знакомства среди великих князей и с некоторыми из них была хороша. Мой родственник рассказал, что, зная мою дружбу с Михаилом Александровичем, он вызвал меня, дабы я сама услышала из уст г-жи Т. рассказ о предполагаемом заговоре, связанном как будто косвенно и с именем Михаила Александровича, и из этого рассказа, как друг великого князя, сделала бы любое употребление.

Г-жа Т. рассказала следующее. Недавно она виделась с князем Игорем Константиновичем, который рассказал г-же Т., что он узнал, что в особняке на Мытинской набережной происходят по четвергам весьма конспиративные собрания и что слухи об этих собраниях уже дошли до Николая II и тот поручил Игорю Константиновичу достать список всех участвующих там лиц.

Не находя иного пути, Игорь Константинович предложил г-же Т., с которой был хорош, не узнает ли она, что собирается на Мытнинской. При этом Игорь Константинович сказал, что государь этого еще не знает, но он-то, Игорь Константинович, знает, что там ведется заговор против императрицы, в котором участвуют многие великие князья, и собирающиеся там хотят обратиться к царю с петицией об устранении императрицы от влияния на государственные дела и даже о заточении ее в монастырь, а в случае отказа государя на собраниях дебатруется вопрос о попытке переворота с отстранением государя, причем некоторые высказываются за Михаила Александровича.

Я ответила, что ничего подобного от великого князя ни я, ни мой муж не слышали и, зная характер великого князя, я уверена, что он никогда на это не пойдет.

На этом мы расстались.

Тем не менее от своего родственника я узнала, что на следующий день ранним утром г-жа Т. поехала прямо к великому князю Сергею Михайловичу, прося его о приеме. Великий князь в приеме отказал. Но г-жа Т. так настаивала, что ей нужно видеть великого князя по делу чрезвычайной важности, что тот, наконец, принял ее.

Г-жа Т., сделав условный знак заговорщиков и тем войдя в доверие великого князя, сказала, что получены сведения, что все собирающиеся на Мытнинской будут на ближайшем собрании переписаны и единственное средство избежать этого, это сейчас же предупредить всех по телефону, но чтобы великий князь не делал этого из своей квартиры, ибо за его аппаратом следят. Поверивший г-же Т. великий князь дал телефонные номера, по которым нужно было позвонить, написав их собственноручно. И с этим списком г-жа Т. прямо из квартиры Сергея Михайловича поехала к Игорю Константиновичу, а последний со списком выехал в ставку к государю.

Вскоре после этого мне пришлось читать письмо Игоря Константиновича к одному из своих друзей, в котором тот писал, как он в ставке встретился с вызванным туда Сергеем Михайловичем, который "белый от злости" подошел к Игорю Константиновичу, сказав: — Как ты смел передать государю какой-то список? — А зачем же вы, дядя, его писали? — спросил Игорь Константинович.

На одном из обедов у нас я рассказала Михаилу Александровичу о всей этой истории с г-жой Т., спросил его, не знал ли он об этом?

— Не только не знал, но и совершенно всему этому не сочувствовал бы, — ответил князь.

— То есть чему бы вы не сочувствовали? — желая уточнить ответ, переспросила я.

И, улынувшись, он прибавил: — Переходу короны ко мне, графиня. Вы ведь знаете, до чего меня никогда не соблазнял трон...

Через некоторое время я узнала, что результатом сборищ на Мытнинской набережной явилось то, что многим из великих князей и высокопоставленных лиц было велено покинуть Петербург.

## УБИЙСТВО РАСПУТИНА

Как-то после моей встречи с г-жой Т. у нас обедал великий князь Дмитрий Павлович. Будучи еще под впечатлением рассказа о заговорщиках с Мытнинской и думая, что уж если многие великие князья бывали там, то Дмитрий-то Павлович там должен был быть, я, шутя, предложила великому князю погадать по руке.

Взяв руку Дмитрия Павловича, я начала "гадать", но вскоре, сделав испуганное лицо, сказала: — Ваше высочество, я вижу у вас на руке — кровь...

Каково же было мое изумление, когда Дмитрий Павлович изменился в лице и

отдернул руку, а вскоре, внезапно вызванный своим адъютантом Шагубатовым, извинившись, куда-то уехал. Мое "гадание" оказалось пророческим: в тот же вечер произошло убийство Распутина.

Это убийство можно было предвидеть, и тем не менее оно потрясло многих как удар грома. В свете говорили только о нем. В момент убийства Михаил Александрович находился в Гатчине.

Мы с мужем тут же приехали туда.

Когда мы вошли в домик на Николаевской улице №24, большинство гостей были в столовой, мы же с мужем, великим князем и Н.Н.Джонсоном прошли в гостиную.

Помню, как сейчас, наш короткий разговор и всю обстановку, в которой он произошел. Н.Н.Джонсон сидел у рояля, что-то наигрывая. Великий князь оказался мне крайне взволнованным. Здороваясь со мной, он проговорил:

— Ах, графинюшка, как жаль, что не я убил эту гадину...

— Ваше высочество, но разве все зло в нем? — сказала я.

— А в ком же? — проговорил великий князь.

— Вы не знаете? Распутинщина слишком глубоко пустила корни...

— Не будем об этом говорить, графиня, — изменившись в лице, проговорил Михаил Александрович.

Через несколько недель вспыхнула революция.

## **МЫ УЗНАЁМ О РЕВОЛЮЦИИ НА ОХОТЕ**

Мой муж был страстным охотником, за свою жизнь убившим более 50 мѣдведей, на которых иногда ходил и с рогатиной. О революции мы узнали 27 февраля 1917 года во время охоты в нашем имении "Шапки" под Петербургом.

По иронии судьбы, наша последняя охота в "Шапках" была на редкость удачной. К нам съехались князь Лопухин-Демидов, кн.Эриванский, лейб-гусар Смицкой, граф Павел Шувалов, князь Гагарин и мн.др. Все были в самом хорошем расположении духа, в особенности муж, убивший трех рысей.

Был прекрасный зимний день. По окончании охоты вдруг к моему мужу подскочил один из наших слуг и сказал, что в Петербурге стрельба, министры арестованы и солдаты переходят на сторону восставших.

Несмотря на то, что все мы, близкие ко двору, весь 1916 г. жили в напряженной атмосфере всевозможных слухов и заговорах и конспирациях, однако никому из нас в голову не приходила мысль, что революция так близка к нам!

От нашего имения "Шапки" в Петербург на протяжении 20 верст шла наша собственная железнодорожная ветка. Через полчаса мы были уже в поезде. Когда мы остались с мужем в купе вдвоем, меня охватило предчувствие чего-то непоправимого. Когда поезд подошел к Николаевскому вокзалу, все было полно солдатами в красных бантах.

Нашего шофера у вокзала мы не нашли. Кое-как на извозчике добрались мы до нашего особняка на Английской набережной. Везде слышалась стрельба. Нелись переполненные людьми грузовики.

## **Я ПЫТАЮСЬ УЗНАТЬ, ГДЕ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ**

Два дня, 28 февраля и 1 марта, прошли в лихорадке.

С первого же момента беспорядков беспокоились за судьбу Михаила Александровича. А когда узнали об отречении государя в его пользу, наше беспокойство перешло все границы. Ведь мы даже не знали, где он сейчас находится.

Телефоны бездействовали. В город было выйти нельзя. Но мне во что бы то ни стало хотелось узнать хоть что-нибудь о великом князе, который в этот момент становился как будто императором.

У меня был преданный шофер. Я просила его во что бы то ни стало поехать к знакомым, дабы узнать: где Михаил Александрович?

2 марта 1917 года рано утром запыхавшийся шофер вбежал ко мне, рассказав, что Михаил Александрович здесь, в Петербурге, и находится сейчас у князя Путятина на Миллионной. Я и муж решили сейчас же ехать туда. Я хотела, чтобы ближайший к Михаилу Александровичу человек, мой муж, в этот ответственный момент был подле него. Я знала хорошо характер великого князя, знала его скромность, но в этом характере я знала и большое самолюбие.

Через двадцать минут во дворе нашего особняка стояла машина. Я второпях кончала свой туалет, как вдруг в передней послышалась возня, звон разбитых стекол и прямо к моему будуару раздался шум шагов.

Дверь в будуар распахнулась. В этот момент я стояла перед зеркалом с распущенными волосами, одна из горничных заплетала мне волосы, другая застегивала платье. Я только успела повернуться — на пороге были два матроса.

Машина уже ждала, чтобы ехать к князю Путятину. Понимая, что тут нельзя показывать испуг, я закричала:

— Что вам здесь надо?! Вы врываетесь в дом! В спальню! Что это такое?!

Увидев перед собой совсем молоденькую безоружную женщину, матросы смутились.

— У вас в доме скрылся городской, — проговорил первый из них.

— Что?! Городской?! — перебила я его. — До сегодняшнего дня я не приняла у себя в доме городских! И никогда бы не впустила вас, если бы вы не ворвались силой!

Свой монолог я закончила тем, что предложила искать где угодно. Но это так подействовало на матросов, что они ушли, а после их ухода наш швейцар слезно благодарил меня за спасение своего брата, скрывшегося у нас в доме городского.

## **В КВАРТИРЕ КНЯЗЯ ПУТЯТИНА ПЕРЕД ОТРЕЧЕНИЕМ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ОТ ПРЕСТОЛА**

Через пять минут мы уже мчались с мужем к Миллионной №12, к князю Путятину. Мы приехали туда часов в 9 утра. Но даже в этот ранний час ехать по Петербургу было опасно. Стреляли, летали шальные пули. Нашу машину обстреляли дважды, пули пробили шины задних колес, и мы доехали уже на ободах. В этот день при таком же обстреле автомобиля был убит ехавший с военным министром Временного правительства А.И.Гучковым племянник моего мужа князь Д.Л.Вяземский.

Мы поднялись по знакомой лестнице в квартиру князя Путятина. В парадных комнатах, выходящих на улицу, никто не сидел, ибо на улице стреляли и сидеть здесь было небезопасно.

Нас провели в столовую. В столовой стоял бледный, одетый в китель Михаил Александрович. Вид его был чрезвычайно болезнен, я уже знала, что великий князь давно страдает приступом болей язвы желудка. В этот момент у него был такой вид, словно он еле держится на ногах.

Михаил Александрович рассказал нам с мужем, что, узнав о чрезвычайно напряженном положении в Петербурге, он уже 26 февраля приехал сюда из Гатчины, ибо многие политические деятели просили великого князя предупредить государя о серьезности надвигающихся событий и переговорить об этом с ним по прямому проводу.

26 февраля из Главного штаба Михаил Александрович вызвал ставку и через начальника штаба ставки генерала Алексеева просил государя подойти к проводу, дабы переговорить с государем о делах чрезвычайной важности. Но государь к проводу не подошел, несмотря на то, что великий князь дважды настаивал на этом. Оба раза государь ответил, через генерала Алексеева, что не видит никакой надобности в каком-либо спешном разговоре, и предложил великому князю соединиться со ставкой завтра. Но назавтра Петербург был уже во власти революции. А через два дня государь отрекся от престола. Для Михаила Александровича было полной неожиданностью, что Николай II отрекся от престола не в пользу своего сына Алексея, а в пользу Михаила Александровича.

27 февраля в Главном штабе великий князь оставаться уже не мог из-за стихийно развивавшихся событий. Со своим секретарем Н.Н.Джонсоном он проехал в Зимний дворец. Будучи чрезвычайно голодным, Михаил Александрович просил коменданта дворца Ратиева дать ему что-нибудь поесть. Но в то время как великий князь начал есть, комендант вбежал, сказав, что он должен сейчас же покинуть дворец, ибо с минуты на минуту в него могут сюда ворваться. И Михаила Александровича с Н.Н.Джонсоном через Эрмитаж дворцовая прислуга вывела на Миллионную, где Михаил Александрович и Н.Н.Джонсон нашли приют в квартире князя Путятина.

В то время как Михаил Александрович рассказывал нам об этом, в столовую вошли Н.Н.Джонсон, управляющий делами великого князя А.С.Матвеев и украшенный красным бантом великий князь Николай Михайлович. Мне казалось, что все окружавшие великого князя охвачены нерешительностью. В нерешительности был и сам князь, часто морщившийся, превозмогая боли в желудке.

В мыслях всех был один вопрос: что делать Михаилу Александровичу? Отказаться от престола и тогда вся власть перейдет к Государственной думе, или взять на себя бремя власти?

— Ко мне приходили члены Думы, но и у них нет единодушия, — обращаясь к нам, сказал великий князь тоном человека, чувствующего всю тяжесть ответственности.

Муж спросил великого князя, когда он должен дать ответ.

— Не позже завтрашнего дня. События идут страшным темпом. Я должен решать немедленно.

Надо сказать правду, никто, даже мой муж, ближайший человек к великому князю, не нашел в себе в этот момент мужества поддержать колеблющегося Михаила Александровича. Напротив, большинство говорило о том, что события зашли слишком далеко, что "великий князь не доедет до Думы", что толпа "поднимет его на тычки".

Я была очень молода и, может быть, несдержанна. Но по-своему чувствуя всю трагичность момента, вразрез с общим настроением, я стала умолять Михаила Александровича, говоря, что он не имеет права в такой момент отказаться от трона.

— Ваше высочество, я женщина и не мне давать вам советы в такую минуту, но если вы пойдете сейчас же в Думу, вы спасете положение!

Михаил Александрович проговорил:

— Нет, я думаю, графиня, если я так поступлю, польется кровь и я ничего не удержу. Все говорят, если я не откажусь от трона, начнется резня и тогда все погибнет в анархии...

Я до сих пор уверена, что нерешительность Михаила Александровича выявилась только потому, что ни в ком из окружавших его он не видел железной решимости идти до конца. Одни молчалим подтверждали правильность его отрицательного решения, другие открыто это поддерживали. Думаю, что момент фи-

зического страдания играл тоже роль в принятии отрицательного решения. Боли по временам были настолько сильны, что Михаилу Александровичу было трудно говорить.

## ОТРЕЧЕНИЕ

С тяжелым чувством уезжала я в этот день от князя Путятина, решив во что бы то ни стало приехать завтра утром, а за это время попытаться убедить мужа переменить свое решение и повлиять на Михаила Александровича в обратном смысле.

Я была абсолютно уверена в том, что муж, ближайший друг Михаила Александровича, мог повлиять на него в смысле положительного решения. Но мужем, как другом великого князя, владело прежде всего чувство беспокойства за его жизнь. Возражая мне, он говорил, что принятие престола Михаилом Александровичем означает необходимость тут же попытаться силой усмирить революцию. Но в преданность войск веры не было.

Конечно, в этом была своя правда.

К сожалению, на другой день, 3 марта, мы только к 5 часам дня могли приехать к князю Путятину. Меня поразила картина внутри особняка. Из передней я видела, что в гостиной, сидя в креслах, спали штатские люди; кажется, председатель кабинета министров князь Львов и другие общественные деятели, проводившие ночь в переговорах с Михаилом Александровичем.

Его не было. Я прошла в столовую, где возле стола стояли Н.Н.Джонсон и А.С.Матвеев.

— Все решилось, графиня, великий князь отрекся, — сказал мне Н.Н.Джонсон, один из самых преданных ему людей, через полтора года разделивший его трагическую участь — расстрел в лесу под Пермью.

Н.Н.Джонсон рассказал, что в последние минуты перед отречением Михаил Александрович, все еще колебавшийся, спросил с глазу на глаз председателя Государственной думы М.В.Родзянко: может ли он надеяться на петербургский гарнизон, поддержит ли он вступающего на престол императора? Родзянко ответил отрицательно и добавил, что если великий князь не отречется от престола, то, по его мнению, начнется немедленная резня офицеров петербургского гарнизона и всех членов императорской фамилии.

После совещания с министрами Временного правительства великий князь удалился в соседнюю комнату и там, оставаясь один в течение 15 минут, принял решение отречься от престола.

Принять положительное решение Михаила Александровича уговаривали только два министра Временного правительства — П.Н.Миллюков и А.И.Гучков, но голоса их были одиноки.

Для меня, казалось бы, уже вчера было ясно, что Михаил Александрович отречется от престола, и все-таки, когда я услышала от Н.Н.Джонсона о совершившемся факте отречения, я была во власти страшных предчувствий.

В этот момент вошел Михаил Александрович. Бессонная ночь не прошла для него даром. Он казался восковым, только на губах играла прежняя улыбка.

— Стало быть, такая судьба, графиня, — тихо проговорил он.

— Но я уверена, что Учредительное собрание призовет вас, ваше высочество, — проговорила я, чтобы подбодрить присутствующих.

— Не думаю, — ответил Михаил Александрович и, улыбнувшись, добавил: — После отречения А.Ф.Керенский назвал меня благородным человеком и протянул мне руку не как великому князю, а как гражданину...

В этот же день Михаил Александрович, разбитый всем пережитым за эти три дня, уехал к себе в Гатчину, где его ждала жена Н.С.Брасова.



Помню наше последнее свидание с великим князем Михаилом Александровичем. Это было в Гатчине 4 апреля 1917 года. Мы приехали туда с мужем и оставались у великого князя весь день. В это последнее свидание Михаил Александрович рассказал мне, что, оказывается, Николай II после своего отречения послал Михаилу Александровичу телеграмму, адресованную "Императору Михаилу I" и подписанную "твой верноподданный брат Николай", в которой убеждал Михаила Александровича принять корону. Но этой телеграммы Михаил Александрович так и не получил. Она не дошла до великого князя. О ней великий князь узнал от Николая II на свидании в Царском Селе, которое имело место с разрешения А.Ф.Керенского, в момент, когда отрекшийся царь находился под арестом.

Я спросила Михаила Александровича, могла ли телеграмма, если бы она была получена вовремя, изменить принятое великим князем решение?

— Могла бы, — ответил он.

Говорить дальше о своем отречении от престола он не хотел.

Мы разговаривали в бильярдной комнате. На бильярде лежало несколько фотографий Михаила Александровича. Я попросила у него одну из них. Это был большой портрет в генеральской шинели. Он написал на портрете "Михаил, 4.IV.1917. Гатчина" и передал мне. Этот портрет я храню до сих пор.

## СМЕРТЬ

Революционные события развивались стремительно. Уже в мае 1917 года я была вынуждена уехать из Петербурга в Крым и оттуда на Кавказ.

Вспыхнувшая гражданская война разорвала Россию на два лагеря, и на Кавказе мы с мужем оказались отрезанными от Михаила Александровича. Но мы, конечно, не думали, что отрезаны навсегда. Сведения о Михаиле Александровиче до нас доходили редко.

До нас доходили слухи, что после боев под Гатчиной, когда красные разбили войска Временного правительства, Михаил Александрович будто бы обратился с письмом к Ленину, прося оставить его в покое, дав возможность жить в стране как обыкновенному гражданину. Ленин будто бы оставил это письмо без ответа. И живя в Гатчине, Михаил Александрович продолжал быть под угрозой ареста, а может быть, и смерти.

От своего брата я узнала о попытке офицерской организации вывезти великого князя из Гатчины. Мой брат, артиллерийский офицер, был командирован к нему с этой миссией.

Михаил Александрович принял брата, но от побега категорически отказался, сказав, что бежать никуда не хочет, а если бы бежать все-таки пришлось, то комиссар Рошаль с глазу на глаз гарантировал в нужную минуту побег.

Было ли это искреннее желание Рошалья спасти ему жизнь, или это была ловушка — я не знаю.

Судьбе было угодно, чтобы Рошаль вскоре погиб на румынском фронте, где он, как комиссар, был расстрелян по приказу генерала Щербачева, а великий князь арестован в Гатчине и увезен в Петербург, в Смольный.

До последней минуты Н.Н.Джонсон был неразлучен с великим князем. Это была давняя дружба. Вместе с Михаилом Александровичем Н.Н.Джонсон окончил Михайловское артиллерийское училище и, выйдя в офицеры, всегда оставался его личным секретарем.

Когда в Гатчине арестовали Михаила Александровича, Н.Н.Джонсону заявили, что он свободен и может ехать куда угодно. Джонсон отказался от свободы, сказав, что поедет с великим князем.

— Я хочу разделить все, что ждет Михаила Александровича, и прошу меня считать арестованным.

Великого князя и Н.Н.Джонсона повезли сначала в Петербург в Смольный, где они долго оставались заключенными, а потом из Смольного повезли далеко на Урал, в Пермь, где первое время их поместили в гостиницу "НОМЕРА КОРОЛЕВА".

Там, в небольшом провинциальном городе, Михаил Александрович и Н.Н.Джонсон сначала жили довольно свободно. Ежедневно от неизвестных лиц они получали передачи.

В 1920 году, когда я вместе с мужем уже покидала Россию, по пути за границу я узнала об ужасном конце Михаила Александровича и Н.Н.Джонсона.

Мне рассказали, что отправка в Пермь произошла будто бы по личному приказу Ленина и что Ленин якобы выслал охрану во главе с чекистом, лично перед Лениным ответственным.

Но в это время по всей России действовала "власть на местах", и в Перми осуществлял эту "власть на местах" кровавый коммунист Мясников. Этот коммунист стал добиваться расстрела Михаила Александровича во что бы то ни стало. Мясников ночью явился к Михаилу Александровичу, обьявив ему и Н.Н.Джонсону, что их сейчас увезут, потому что на город наступают белые.

Михаила Александровича и Н.Н.Джонсона под сильным конвоем повезли из Перми по направлению к близлежащему фабричному поселку Мотовилиха. Но по дороге, в лесу Мясников внезапно выстрелил, ранив Михаила Александровича. Тот, уже раненый, бросился на него, но силы были чересчур неравны, и Михаил Александрович и Н.Н.Джонсон были брошены в плавильную печь на заводе в Мотовилихе.

По жестокой иронии революции, теперь в Париже живут как эмигранты жена великого князя Михаила Александровича графиня Н.С.Брасова, в 1931 г. потерявшая разбившегося на автомобиле единственного сына Михаила Александровича Георгия; и там же в Париже живет убийца великого князя Михаила Александровича коммунист Мясников, превратившийся в "контрреволюционера".

Вспоминая трагическую судьбу Михаила Александровича, я всегда задаю себе один и тот же вопрос: почему он не воспользовался еще в Гатчине услугами людей, предлагавших ему бегство?

В Гатчине предлагали три серьезных плана бегства. Один план предлагал приближенный к нему генерал Врангель. Второй план от имени офицерской организации предлагал мой брат. В третий раз летчик предлагали бегство на аэроплане. Но все три раза Михаил Александрович отклонял бегство, говоря: "Мне не нужно и я не хочу бежать из своей страны".

---

Сдано в набор 24.09.91  
Подписано к печати 07.11.91.  
Регистрационное удостоверение № 0502.  
Формат 60x84/16.  
Типогр. бумага №1. Печать офсетная.  
12,0 + 0,25 усл.печ.л., 12,50 усл.кор.отт.,  
16,75 уч.-изд.л. Тираж 16 000.  
Заказ № \_\_\_\_\_ Подписная цена 90 коп.

Адрес редакции: 226081, Рига, ГСП,  
Баласта дамбис, 3.  
Телефоны: г.л. редактор 466049,  
отв.секретарь 465996,  
отделы 464025,  
зав.редакцией 465993.

Технический редактор  
Мудите АРАЯ

Компьютерный набор и верстка РКФ "БЕК".  
Текст проверен ОРФО 2.0.

Корректор  
Любовь СОКОЛОВСКАЯ

Отпечатано в тип. Дома печати,  
226081, Рига, Баласта дамбис, 3.

**ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ,  
ИЗДАТЕЛЬСТВ,  
ПРЕДПРИЯТИЙ И ФИРМ**

**ЖУРНАЛ "ДАУГАВА"  
ГОТОВ ОПУБЛИКОВАТЬ  
ВАШУ РЕКЛАМУ**

**(3 и 4 страницы обложки)**

**Оплата наличными и по перечислению**

**Телефон 465993.**

**Адрес редакции см. на с.192.**

ISSN 0207-4001, «Дружба», 1991, №5-6, 1-192

